

Избранное. Приключения провинциальной души



18+

Ахтман Татьяна

Татьяна Ахтман
Избранное. Приключения
провинциальной души

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69553717
SelfPub; 2023*

Аннотация

Это книга о сложности и красоте нашего мира, о поиске своего пути, о семье, о добрых и злых людях, о любви и ненависти. Книга автобиографична в том смысле, что отражает историю жизни автора, как историю развития личности, становления характера и построения своей системы нравственных координат.

Содержание

| | |
|---|-----|
| От редактора | 8 |
| Жизнь и приключения провинциальной души | 10 |
| Фиговый листок | 14 |
| Чистая сила | 24 |
| Маятник | 38 |
| Рабыня | 52 |
| Шарманка | 61 |
| Суета | 74 |
| Иллюзии | 86 |
| Вечный приют | 98 |
| Живые души | 112 |
| Толпа | 123 |
| Крест | 139 |
| Песочные часы | 154 |
| Свято место | 165 |
| Эпилог | 176 |
| Иероглиф | 178 |
| Пасхальный детектив | 200 |
| Рассказы | 255 |
| Калитка | 255 |
| Милосердие | 269 |
| Си | 275 |
| Автопортрет в синем | 281 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Любовь с собачкой | 291 |
| Трио | 294 |
| Кибитка | 306 |
| Элегия | 316 |
| Реквием по генеалогии | 323 |
| Пульс | 331 |
| Театральный день | 338 |
| Этюды | 348 |
| Возвращение | 348 |
| Шепот | 350 |
| Звезда вифлеемская | 353 |
| Белый ящик | 355 |
| Шах и мат | 358 |
| Гусь с яблоками | 361 |
| Не нужно меня любить | 364 |
| Красный блюз | 366 |
| Ложь | 368 |
| Материнство | 370 |
| Патриаршие пруды | 374 |
| Прощание | 378 |
| Пауза | 382 |
| Эссе | 384 |
| Иерусалим | 384 |
| О литературе | 390 |
| Впечатление о жизни | 399 |
| Братья и сёстры | 405 |

| | |
|---|-----|
| Жили-были | 416 |
| Эскизы | 425 |
| К читателю | 425 |
| Об истории... | 481 |
| Лирическое отступление... | 504 |
| Антисемитизм | 512 |
| О христианстве... | 514 |
| О ментальности | 522 |
| О воспитании чувств | 524 |
| О мужчине и женщине | 526 |
| О ребёнке | 533 |
| О равенстве людей... | 537 |
| Пьесы | 540 |
| Офелия, Гертруда, Дания и другие | 540 |
| Пасхальная история, не уместяющаяся на столе | 593 |
| Стихотворения | 645 |

Татьяна Ахтман
Избранное. Приключения
провинциальной души



От редактора

“Fuimus...”

Бессмертие души, как я это понимаю, заключается в том, что идеи, мысли и чувства человека, покинувшего этот мир, продолжают жить в других людях, будучи ими восприняты и воспроизведены. Мысли эти и чувства адаптируются, частично растворяются, какие-то из них развиваются, образуя новые непредсказуемые структуры. Так продолжается жизнь человека разумного. Люди не всегда помнят, откуда пришла мысль, да это и не так важно. Мысль по праву принадлежит тому, кто её в данный момент думает.

К сожалению, рукописи горят так же хорошо как картины, храмы, музеи и даже люди. Михаил Афанасьевич преувеличивал бережливость мироздания. Людям надлежит самим позаботиться о сохранении того, что представляется им ценным. Мне дороги эти тексты, оставшиеся после Татьяны, и я хочу, чтобы они продолжали жить, а с ними продолжала жить её душа. Она была необычным человеком, обладавшим независимым и острым, часто ироничным, взглядом на окружающий мир и обострённым чувством справедливости.

Я читал, что в старые времена шахтеры брали с собой в забой клетку с канарейкой. Канарейки очень чувствительны к наличию метана в воздухе. Они умирают при concentra-

ции, которую человек совершенно не чувствует. Когда шахтеры видели, что с канарейкой что-то неладно, они уходили из шахты, и это спасало их жизни.

Чувствительность людей к добру и злу очень различается. Есть люди, чувствующие зло задолго до того, как оно начинает ощущаться большинством, не принимающие фальшь в любых её проявлениях. Это дар, но это и мука. Повышенная чувствительность влечет беспокойство, которое часто раздражает окружающих вполне разумных и благонамеренных людей. Люди ищут покоя и не любят, когда их тревожат по пустякам. Мне выпало прожить жизнь рядом с таким чувствительным человеком. Татьяна покинула этот мир, сохранив до последнего дня присущую ей остроту восприятия жизни, и оставила нам пожелания удачи и свои необычайно живые и искренние тексты.

Татьяна не была профессиональным писателем. Она писала только тогда, когда не могла не писать и только то, что не могла не написать. Это была её форма самовыражения – способ общения с миром.

Я постарался собрать здесь всё то, что мне представляется целесообразным сделать общедоступным. Большая часть этих текстов была опубликована в разное время в Интернете и различных периодических изданиях.

С уважением и лучшими пожеланиями

Л. Ахтман

Жизнь и приключения провинциальной души

«Скучна, как истина, глупа, как совершенство»
А.С. Пушкин

В начале

В начале было слово. Потом я вышла погулять в заснеженный дворик. Из закоулков между самодельными сараями, из пещеры под глухой лестницей, ведущей на террасу второго этажа, вытекали сумерки. Я покопала лопаткой нависшие брови сугроба, и у него стал удивлённый вид. Волна тени холодно лизнула моё лицо, тихо сместились, приблизившись, стены, и я увидела себя на дне синего колодца отражением слабой звезды. Вспомнила всё, но не словом, а теснением души и побрела прочь от двери дома, скользя варежкой по снежным перилам – прочь. Обо мне вспомнили совсем поздно и нашли дремлющей в объятиях старого сугроба – из тех, что последними отдают весне свою несложную жизнь.

Опять не знаю, возвращаюсь в точку, сжимаюсь в мысль, и синюю звездой рассеянно свечу себе самой в незнание безграничном. Свечей ли в Храме, огоньком

болотным, свечу, морочу ли себя, других – не знаю...

Родители пережили войну, и, как казалось тогда, победили. Они были не юны, красивы, как любимые актёры той поры, и хотели счастья. Она была врачом, он – инженером. Когда Сталин умер, она ощутила потерю, а он – облегчение. Она плакала, а он говорил ей, что эта смерть – спасение, но они не слышали друг друга. Они были очень разные, но не знали этого и верили, что все люди – одинаковые, продолжая жить вместе и страдая от чуждости. Как вдова погибшего комиссара, мама получила квартиру, из которой пришлось выселять Варвару Степановну – мою будущую первую учительницу.

Отец сказал: «Решай сама» – и мама пошла через сквер к роддому номер один, где работала акушеркой её старшая сестра. Красивая голубоглазая блондинка решительно шла по пустому заснеженному скверу «Пионеров» мимо гипсовых барабанчиков и горнистов. Тётя Аня убедила оставить ребёнка: «Если ты хочешь сохранить семью...» – произнесла нехитрую фразу, принятую в подобных случаях, а жаль: подавленный протест проникает в жизнь, как это случилось с нами.

На белый свет я появилась задком, должно быть, сопротивляясь своему рождению в сплетённую без меня паутину жестокостей и безумств. Впрочем, теперь прошлое уже не кажется мне столь выдающейся драмой – обычная провинциальная женская судьба второй половины двадцатого века.

Вначале я протестовала бурно. Вся улица знала, что Тяню ведут, вернее, тащат волоком в детский сад, из которого я сбегала, как потом из пионерских лагерей, с уроков, лекций, «работ»... Теперь, когда марафон позади, смотрю на свою фотографию в восемь лет. Я помню, как мы зашли с папой в фотоателье на углу Ленина и Чекистов рядом с Большим гастрономом. Папа долго причёсывал мои буйные кудри наверх своей круглой без ручки пластмассовой щёткой, и я терпела и терпела – на фото вышла с гладкой гривкой: милое, открытое лицо. Тогда же меня приговорили к чему-то «хроническому», и все каникулы я проводила в больнице, где работала мама, в палате для «своих» вместе с товарищем по несчастью – сыном маминой коллеги. Тихий рыжий мальчик лежал по другой статье, видимо, более лёгкой и не предполагающей пыток. Мой же диагноз требовал проглатывания длинного резинового шланга с металлическим накопником. Приближение пыток я чувствовала по мельтешению фальшивых улыбок. Потом меня переставали кормить, затем заставляли выпивать стакан горькой соли и, наконец, тащили, дрожащую и мокрую от ужаса, в пыточную – к койке с рыжей клеёнкой. Там начиналась возня и крики: "глотай, дыши" – сестры знали своё дело... Но помню, как однажды, оттолкнув стакан с горечью, я выскользнула мимо белых халатов и, вбежав в туалет, закрыла дверь на швабру на долю секунды раньше, чем на неё обрушилась погоня...

Я вглядываюсь в семейное фото. Слышу шум облавы,

ужас, возбуждённые крики, угрозы, страстное желание исчезнуть – не быть... Лица мужчины и женщины на фото приветливы и хороши. Все в зимних шапках, улыбаются, нежна большеглазая девочка...

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК

Первый этаж дома, где была наша квартира, был основательный, дореволюционный и сохранил достойный вид даже после того, как пристроили на него беспородный второй этаж и прибили железку "ул. Свердлова". На фасаде было крылечко и семь высоких окон со ставнями. Пять из них принадлежали нашей квартире, вход в которую был со двора через железные ворота, мимо страшной, особенно по вечерам, подворотни с покосившейся туалетной будкой – уборной, в которую отец, в ответ на указ о сдаче личного оружия, бросил свой именной пистолет.

В доме жили шесть семей. Три еврейские – кушающие и три русские – пьющие. К «кушающим» мне разрешали ходить, и я видела дни их жизни, кипящие как сытная похлёбка, которую неустанно готовили и съедали. Все семейные события, разговоры, планы, мечты, казалось, подчинялись служению еде. У «пьющих» мне строго-настрого запрещено было бывать, и я знала только, что дома они «пьют», и так себе и представляла, что и они, как первые, ходят по очередям, возятся на кухне, но варево – жидкое, как вода. За столом можно обходиться без вилок и ножей, и это плохой пример для детей. Все были в хроническом перемирии, прерываемом запойными приступами с декларациями в адрес "жидовских морд" и яростным побитием своих – родных. В

дни погромного зуда еврейская половина прекращала ехидничать друг с другом, пакостить, сплетничать и демонстрировала коллективную мудрость и выдержку. Пока у соседней зеленели, желтели и бледнели морды, наши мужчины встречались за шахматной доской, и я стояла рядом в ожидании сбитых фигур, которые одевала в припасенные лоскутки. Но вот, опухший враг вежливо стучался и просил занять рубль, перемирие смещалось в межнациональную сферу, а между нашими женщинами словно чёрная кошка пробежала – они ссорились, переставали разговаривать, и шахматы надолго переходили в моё владение – до следующего запоя.

Недавно смотрела по ТВ советскую хронику пятидесятых, то есть, приблизительно того времени, к которому относятся мои воспоминания. "Новости дня" показывали в кинотеатрах перед началом фильма, и их никто не принимал всерьёз. Там, в однообразном сером мельканье суетились передовики и ударники, сыпалось зерно, аплодировали стоящие в зале человечки. И вот, я впервые вглядываюсь в лица и руки тогдашней жизни. Молодые работницы какой-то новой автоматической линии, не прекращая что-то там хватать и переворачивать, улыбаются в камеру. Должно быть, им кажется, что в ней живёт сверкающая птичка счастливого будущего, и их улыбки добры, горды и нежны как отблеск их несостоявшихся судеб. Улыбки, посланные в никуда – отнятые у младенцев, как и молоко, сгорающее в перебинтованных грудях Мадонн-великомучениц. Улыбки, замученные за решётками

из серых морщин, платьев, волос. Автоматические линии по пересылке улыбок в вечность...

В нашей семье жили домработницы. Это были беженки из гибнущих деревень. Они за еду и ночлег нанимались в прислуги к горожанам, которые запутались в послевоенном бытии и, чтобы освободиться хотя бы от самой чёрной работы, с отвращением пускали в свои убогие «углы» чужих, пахнувших утерянной жизнью женщин. У нас домработницы не задерживались, и среди хоровода лиц я помню только тётю Полю – свирепую работающую старуху, которая держала в страхе всех, включая маму, и потому, должно быть, задержалась у нас надолго.

Население СССР состояло из москвичей и тех, кто мечтал о Москве и стремился в неё. «Союз» выживал, а Москва жила. В Москву ездили за колбасой и апельсинами, зрелищами, справедливостью, святыми местами, сексом, карьерой, авантюрами, знаниями – короче, за счастьем. В Москву ездили одеться. Одежда со времён Евы стала ближе к телу, чем собственная кожа, и раскрывает то «тайное», что может скрыть голый человек: свою способность увидеть себя со стороны. Фиговый листок, как материализованный стыд, возник раньше, нежели звериная шкура, спасающая от холода. Чтобы прикрыться фиговым листком, нужно увидеть себя со стороны – отлететь сознанием от созданных (Бог знает из какого праха) бёдер и плеч и на свободе увидеть себя. Одеваясь, человек обнажает свой внутренний мир, если он свободен,

конечно, не в СССР, где хорошая одежда требовала отдачи всех сил и времени, погружения в хамский мир дефицита – подлый, жестокий. Помню, хорошо одетый мужчина (женщин я интуитивно прощала) вызывал во мне неприязнь, как принадлежащий к блатному миру, и так, скорее всего, и было. Можно было ещё "по случаю" купить костюм, но чтобы ещё и подходящую к нему обувь – это уже должно было стать основным делом жизни. Безденежная система не прощала компромиссов – платили натурой: за одежду – душой, мыслями, телом; за сохранение души и свободных мыслей – нищетой, неустроенностью. Как на карнавальных ходулях, по улицам городов, в трамваях, больницах, школах и магазинах прыгали миллионы распятых атеистов. Мужчина «порядочный» презирал одежду, не знал шампуней и дезодорантов, как и его несчастная женщина, и они утешались презрением к "стилягам".

В 90х появились воспоминания «шестидесятников» – тех, кому в «оттепель» 60х годов было уже двадцать, и я узнала подробности бунта стиля. На моей памяти «стиляги» существовали в контексте "тех, кто позорит нашу молодёжь". И действительно, то, что могла видеть я в своём окружении, было уродливым: утрированным, гротескным. Если в Москве плечи стильных пальто были широкими, то у нас – очень широкими, если брюки узкими, то у нас – ещё уже... Провинциальные стильяги были убогой пародией на столичных, не имели живой связи с первоисточником – Западом

– и, конечно, их отношения не прорастали тем новым, чему сопутствовала столичная суета со стилем. Впрочем, весна обманула всех – поманила и бросила. Оттаяли только те, кто смог удрать на реальный Запад или окопаться в переулках Арбата. А прочие физики – лирики: кто – помер, кто – опять заморозился, но уже в более комфортной упаковке – "под музыку Вивальди".

Должно быть, там – в раю – было две женщины. Должно быть, яблоко надкусила только одна, а другая не отведала от плода познания, потому что ей было безразлично от чего вкушать, лишь бы было сладко. Но изгнаны были и умница, и дурочка, потому что Шестой День истек в свой срок, и человеку, каков он ни есть, пришло время спуститься с небес на землю – хочет он того или нет. А там уж – жить ли, выживать ли, быть или не быть – это уж как кто сумеет. Вот такую сказку придумала я для себя, и она смиряет меня, пересылая часть моих претензий к жизни за пределы моего ума. И на этих каторжных пересылках матерее душа, а моя философская ипостась, получая во владение идеальную бесконечность, свободно кувыркается в волнах вечного потока мыслей и прекращает терзать свою хозяйку. И, пожалуй, мне довольно – достаточно. Я долго-долго шла к этой достаточности – прочь от губительного обмана об утерянном рае.

Помню, к нам приходила, озираясь, женщина с кошёлками, которую называли спекулянткой, и, вытаскивая шерстяные кофты, потряхивала ими, как это делают с драгоценны-

ми мехами. В пору конфликта ума и одёжки, она была презираемым и вождленным пришельцем из другого мира, и с ней были связаны надежды на тряпичное чудо. Я, как могла, боролась со своей одеждой. Широкая ночная рубашка из полосатой бумазеи была короткой – чтобы зимой её можно было поддевать под коричневую школьную форму. Нижний этаж моего «Зимнего» занимали красные шаровары с начёсом. На них школьные учительницы реагировали наиболее доброжелательно. В почёте были и линияые толстые чулки в гармошку, а, вот, вишнёвый в горошек капроновый бант, чудом возникший однажды на моей голове, был в первый же день сорван добросовестной мстительницей Варварой Степановной.

Конечно, я была серьёзно отравлена своей одеждой, но не смертельно. Я боролась и иногда побеждала. Красные шаровары снимала, выходя из дома, и прятала их во дворе в укромном месте. С рубахой было больше возни. Однажды, когда нам объявили медосмотр, я бросилась домой (три квартала по улице Дзержинского) и взломала, резко дёрнув, мамин полированный шкаф. Там лежала моя розовая комбинация – "на выход" – шёлковая, с кружевцем поверху. Я успела отдышаться и зайти в медицинский кабинет, где ещё по-нуру стояли девочки в унылых исподних, увидеть их взгляды на моём розовом трофее и одобрительную улыбку на лице незнакомой докторши. Это происшествие стало моим посвящением в Евы. Я совершила тогда поступок, вернее, про-

ступок против насилующего меня бумазейного уroda и прислуживающих ему людей, не знающих, что есть добро и что зло. И они слепо гнали меня, а я бежала прочь, падая и цепляясь за недостижимые идеи – прочь...

"В человеке всё должно быть прекрасно..." – тупо зубрили коричневые формы. Я десять лет проучилась в одном классе и знаю судьбы многих бывших одноклассников – ни одного счастья. Позади толпа знакомых, сослуживцев, соседей – нагромождение обломков из беспокойных лиц, напряженных глаз, запутанных отношений, бессильных слов, изболевшихся душ, вялых мыслей и тесных жилищ, среди которых застряли колыбели, брошенные на произвол счастливого будущего...

Не знаю спокойного дружелюбия. Правда, был дядя Миша. Меня часто оставляли у тётки, и я очень любила бывать у них. Мне было там легко. У тётки Шуры было большое сердце, и мама часто спасала её, делая укол в вену и снимая приступ. Но их отношения были мучительными. Тётка с семьёй жила в маленькой квартирке "без удобств" – в одноэтажном муравейнике с разномастными жилищами и лепящимися к ним пристройками, высокими заборами, заплатами крыш, частоколом печных труб и трогательными цветочными клумбами. В квартире у тётки было две маленькие, уютные комнаты. В одной из них стояла этажерка с книгами и керамическими зверушками: собачками, курочками, слониками. Тётка пекла коржики – сердечками, ромбиками, кружочками. Мне было

очень хорошо там, и до сих пор воспоминания окрашены в светло-зелёные тона. Она была детским доктором, а её муж – бухгалтером. У него были сильные очки и дергающиеся, стремящиеся закрыться веки. Потом я узнала, что дядя Миша был сыном раввина, знал иврит, имел два университетских образования, считал себя толстовцем и совершал паломничество в Ясную Поляну. Видимо, тётя не могла простить ему непротивление убогому быту, и я слышала, как они ссорились.

Со мной дядя Миша был внимателен, добр, серьёзен – единственный, кто видел во мне человека, и потому, должно быть, и я в минуты нашего общения отзывалась, как человек, и в безграничной смутности моего тогдашнего осознания жизни яркими, чёткими картинами возникают наши встречи. Помню счастье нашей прогулки вдвоём по казавшемуся мне огромным лугу в сине-зеленом смешении травы, небес. Над головой и под ногами плыли белые узоры. Я жмурилась и жалела, что нет у меня ста глаз, что, задирая голову вверх, пропускаю земные чудеса. Потом дядя Миша открыл сумку и разложил на расстеленном полотенце печку – игрушечную какую-то печечку и такую же сковородочку. Я опустилась на колени и вся превратилась в глаза. Он достал большие белые таблетки, чиркнул спичкой, и они загорелись под сковородочкой. Затем появилось яичко. Дядя, не торопясь, аккуратно разбил его, и оно, улыбаясь, плюхнулось в уже шипящий кусочек масла и расплылось там жарким сол-

нышком. Это солнышко навсегда осталось со мной – светило, грело, спасало... Помню, когда мы возвращались, я прижалась к дядиной ноге, должно быть, была ещё совсем маленькой. Когда я по дядиным представлениям превратилась в барышню, лет, должно быть, в пятнадцать, он стал говорить мне «Вы», но человеческое достоинство тогда само «просило подаянье» и ему было не до меня.

Я сидела за столом у тёти Шуры над тарелкой золотого бульона с макаронами и косилась на маму. Я ждала, когда она, наконец, попросится и уйдёт в свой театр. А я займусь бульоном, то есть, стану через белую макаронину потихоньку вытягивать его, наблюдая, как круглая блестящая лужица жира станет вытягиваться и плыть в мою сторону, а в последний момент я дуну на неё и она – ах – взмахнёт крыльями и улетит к себе на лампочку под оранжевый абажур.

Мама всё сидела, выдерживая положенные для приличия минуты, чтобы не просто так, мол, забежала оставить ребёнка, а нанесла визит. Все уже тяготились, стыла моя золотая птичка, и тут я ощутила смутное страдание – страдание прозапас – на тот чёрный день, когда сумею осознать его, но уже ничего не изменишь. Мама нервно приноживалась, подрагивая тонкими ноздрями, озиралась с брезгливой гримаской. Эта пантомима означала, что она, в своём вечернем платье, страдает от близости дворового туалета, который, кроме неё, похоже, никому не в тягость – и как только неприхотливы люди...

Я видела, как каменели лица дяди и тётки, чувствовала, как каменеет моё лицо, и что я сейчас сделаю что-то ужасное, чтобы все-все закричали, и прекратилась бы эта мука. Наверное, в эту ночь у тётки Шуры был опять сердечный приступ, и мама бежала к ней делать укол, а мне снились мёртвые птицы...

В последние годы дядя Миша стал рисовать акварелью. Это были тщательно выписанные пейзажи. Помню один: поле подсолнухов и вокруг одинаковые пятиэтажки, внизу надпись: "Город наступает". Однажды принесла ему своё стихотворение:

*Как жаль, что люди не цветут весной.
Представьте, что от лба и щёк до самых плеч
роскошных грив разнообразье, в тени которых можно
лечь, закрыть глаза и хоть на миг представить
цветущий луг, жужжащих пчёл, почувствовать тепло
травы и запах, и ощутить покой, которого лишён.
Людей цветенье моде не подвластно – оно питается
из наших душ и сил, и странность внутренних
противоречий в себе бы каждый человек открыл. Наш
тайный мир бы дерзко обнажился, но, наспех обрывая
странный цвет, стремимся от других не отличаться,
от призрачных себя спасая бед.*

Дядя сказал: "Это нельзя... такое не печатают..." Вот и всё.

Чистая сила

Свой крест несу наперевес. Как слон в посудной лавке, крошу, любя, тебя... себя...

Грустная семитская физиономия выплыла из июльского зноя лета начала семидесятых в центре города Энск и причалила к столику на веранде кафе «Снежинка». Бледный молодой человек был в чём-то одеждообразном: светлый верх, тёмный низ, карие глаза изливали осторожную печаль, причём, правый – больше, чем левый. Я пригласила двух школьных подруг отпраздновать окончание института. Мы пили шампанское, когда подрулил разбитной Лёвка – рыжий с... грустным. Теперь, спустя двадцать пять лет, сидя у компьютера и набирая эти строки в ожидании, когда моя машина времени, отзываясь на движение пальцев, причалит прорастающими воспоминаниями к этому далёкому дню, чувствую прикосновение спасения, еще без времени и пространства – для закрытых глаз, бессознания, обмана, веры – не всё ли равно... – спасения.

К своему совершеннолетию я получила классическое советское образование, то есть, была бессвязно нафарширована таблицами умножения и Менделеева, пятилетками, образами Наташ, Павок, дубов, Тань и прочего оптимистически народного. Я знала, что "рождена для счастья, как птица для

полета" и не знала, как происходит зачатие. Знала, что покидая институт, должна забыть все эти кошмарные сопроматы, которые ни к чему теперь. Семейное воспитание обогатило меня чувством необъяснимой вины и безразмерного долга. Был и другой источник образования – художественная литература. Я зачитывалась книгами. Мощный поток прозы естественно и просто промывал мои замусоренные школой и институтом мозги, и они хранили пустоту. Стоило мне, в надежде заслужить одобрение ближнего, с усилием соорудить приличную советскую пасочку, как её лениво слизывала романтическая волна, и я оставалась с пречистым сознанием, гладким, как место, где прежде был нос у майора Ковалёва – жуткое зрелище. Я жила в мире из бестелесных улыбок и слёз, и из тел, неспособных улыбаться и плакать.

Это была эпоха субтильных шербуржских зонтиков. Я была немного длинновата для тех времён, но вполне сочетала заграничную бестелесность с отечественным тяготением к крутому бедру. Как-то мне передали, что мальчишки нашего институтского потока решили, что у меня лучшая среди девочек фигура. Мне пошили тогда (помню, что проявила упрямство) вместо обычного мешка, синее "по фигуре" платье: отрезное по талии и с мини-юбкой "по косо́й". Однако, я была болезненно застенчива, пугающе романтична, насмешлива и серьёзна одновременно, вела себя не по правилам, не отзывалась на принятые тогда позывные, не имела «компаний». Меня можно было брать на опыты в те вселен-

ские лаборатории, где на никелированных распятиях нанизаны Евы-лягушки.

Однажды, на втором курсе института, я возвращалась домой, и на проспекте Ленина ко мне подошёл молодой человек. Красивый, высокий, в отличном сером костюме – короче, принц. И я пошла за ним – к лодке, увитой цветами, которая должна была отвезти нас на корабль под Алыми Парусами. В тот вечер я стояла в тесном кружке, который обходили бутылки с вермутом, на городской свалке возле Дубовой Рощи. Когда бутылка дошла до меня, я, светло улыбаясь, произнесла: "Благодарю, я уже ужинала" – в моё лицо дул лёгкий бриз...

Мальчики и девочки искали счастья и любви, обещанных им родителями, но не находили. Одни ожесточались и разрушали всё без разбора, другими овладевало равнодушие, третьи находили прибежище в иллюзиях. А в конце восьмидесятых всех смыло исторической волной, и обломки судеб пристали к иным берегам.

Рыжий Лёвка ходит теперь в синагогу в Австралии, куда привёл его собственный сын – рыжий Боря. "Боря делает карьеру раввина" – звонят нам с далёкого континента. С Лёвкой у меня было шапочное знакомство. Он учился на вечернем факультете, знал, что я еврейка из *порядочных*, то есть *родня*. Был он крепыш небольшого роста, очень энергичный, ругал всех «хазерюка», мог за Сион дать в ухо, обожал пышных блондинок, которых называл «блонды». Однажды, мы

каким-то образом очутились вместе в кино. Скорее всего, встретились в очереди у кассы и купили билеты рядом. Это был фильм Феллини "Ночи Кабирии". В сцене у обрыва, когда героиня ещё счастлива, я прошептала: "Неужели он её обманет?", и Лёвка ответил: "Конечно, он же мужчина".

Лёвкина мама – целеустремлённая суровая женщина – истово кормила сына. Она ходила за ним по пятам с пирожками и котлетами, возникала в разгар футбольных потасовок и всовывала ему в рот куриную ногу, ловила в школе, на дворовых сборищах и вмазывала в сына кусок медовой коврижки. Маленький, худой Лёвка злился и сопротивлялся, но годам к тринадцати окреп, смирился, проникся уважением к несокрушимой материнской воле, и «идише-мама» стала слонами и китами его мироздания. Женился он не на блонде, а на молодой идише-маме. Котлеты укоренились, дали мощные побеги и плодоносят теперь в Австралии кошерным урожаем. Пишет нам Лёва письма. Ругает австралийских хазерюк и мечтает о встрече в хронически незабвенном Иерусалиме.

Думаю, человек рождается со своей судьбой и волен лишь в том, чтобы осознать её, Мир, в котором очутился, и связать в «Я» эти данности. Вот и книга, которую пишу теперь. Не знаю, есть ли она в моей судьбе, как мой дом, моя эмиграция... Мне кажется, что есть, я чувствую её, без неё судьба моя кажется мне ущербной как, если бы, я была бездомной или не смогла бы начать новую жизнь в Израиле. И вот, ищу

слова, пытаюсь освободить их из небытия, перенести на белые листы, совершить то, что, быть может, положено мне по судьбе. И тогда, возможно, я и сама стану свободней и полнее почувствую свой дом, сад, яблоки в траве, серьёзного пса в будке и почтальона, принесшего смешные письма от моих детей из их судеб, в которых летают на Боингах и назначают встречи под парижскими каштанами.

* * *

Одноклассник Вадик был далёким родственником. Он был неглупым, добродушным, открытым парнем. В классе его звали Слон – Бог знает почему – и он злился на кличку, хотя, по-моему, не было в ней ничего обидного. Лично меня звали «Лесок» от ничейной фамилии Лесовская, которой папа заменил свою несносно еврейскую, прожив с ней сорок два года. Должно быть, меня пожалел. Потом он говорил, что хотел взять «Ларин», и тогда я была бы Татьяна Ларина, а мой брат – Шурик Ларин. В школе меня бы дразнили Таня Ларина, и я бы, наверное, злилась, как Слон.

Теперь я понимаю, что «оттепель» побывала и в Энске – просто, мы были ещё молоды и безнадёжно глупы, чтобы заметить её. Она пришла к нам маленьким молодым учителем математики Владимиром Ароновичем по кличке Арон. В лютый холод он ходил без шапки и являлся в класс с пылающими ушами и пугающе белыми кулачками. Мы – без-

образные акселераты – беззвучно тряслись от хохота, размазывая чернильные разводы по необузданным физиономиям. Мы любили Арона. Он философствовал с нами и водил к реке и в лес. Потом он исчез, и больше никто уже нас не очеловечивал, но осталась какая-то канва бесед "о смысле жизни". Брошенные, мы не справлялись с ними, но последним, пожалуй, сдался Вадик.

Вадик был... Нет, это бог знает что... Его отец работал на советском «Мясокомбинате». Мне не приходилось там бывать, однако я, как и всякий советский инженер, посещала овощную базу, где участвовала в триллере в жутком облике, который в складчину разыгрывали все близкие и знакомые в соответствии с коллективным сознанием того времени. Центральным номером мероприятия было уворовывание чего-нибудь: морковки, капусты или лука – что попадетсЯ в сетку, с которой советский человек никогда не расставался, как с надеждой. Фирменная вещь в наполненном виде казалась настолько социально близкой для тамошней охраны, что не ловилась её органами чувств.

Так вот, представьте, похожее учреждение, только вместо подстилки из гнилой морковки под ногами и текущего сока давленных слив – истерзанные останки того, что Бог создал на пятый день, и в центре этого беспредела папа Вадика – иудей, оптимист и образцовый семьянин. Мясо через проходную проносили на теле под одеждой, пеленаясь в него. Тело у папы было обширным, и он снабжал многочисленных

родственников этой манной небесной по умеренной цене, и никто не считал это катастрофой.

Да, замужество... Родители решили нас поженить и так, без особых хлопот, решить кучу проблем. Так сказать, у вас товар (не бог весть), у нас купец (как-никак) и, посемейному, договоримся.

Меня в это время не брали даже на работу. Я мечтала уехать, и по распределению попала, к своему счастью, в другой город... Но вот, мои документы возвращаются с отказом принять меня на работу и правом самостоятельного трудоустройства. Всё было просто: фото, которое получили в далёком строительно-монтажном управлении, где нужен был мастер-электрик, сулило трагические перспективы, так как та, что смотрела с него, и сама была не жилец, и других ввела бы в грех. У меня есть это фото – могу показать. Оно – на удостоверении народного дружинника – прекрасно сохранило для истории выражение идиотской наивности и беспомощности юной провинциалки начала семидесятых.

Сватовство набирало обороты. Парочку несчастных придурков заботливо подталкивали к брачному месту, где они, к облегчению родных и близких, благополучно бы изнасиловали друг друга, смирились бы – слюбились и стали бы выживать – проживать, коротать и что там ещё... Меня отправили на семейное застолье к Вадику, на котором я, при виде мясных деликатесов, заботливо придвигаемых ко мне со всех сторон, упала в обморок.

Бедное моё сознание бежало от жуткого вида оживших на блюдах языков и колбас – членов большого благодушно-го семейства, устроившего мне смотрины. Я бежала, а Вадик остался. Я встретила его потом – лет через десять, и едва узнала в незнакомце с несуразно сложившейся жизнью, о которой охотно рассказывал с насмешливым равнодушием. Он был искренне рад автобусной встрече, а я вышла на остановке – словно выпрыгнула из поезда, несущегося к катастрофе...

Должно быть, моё сознание вообще пребывает в постоянной готовности слетать куда-то: то ли посмотреть, как выгляжу со стороны, то ли отвернуться и сделать вид, что не имеет ко мне отношения, то ли просто кувыркнуться в обморок. Когда очевидное становилось невыносимо, то только меня и видели: начальник ещё орёт – распинается, а я – уже в свободном сползании на пол, где всё тихо и мирно...

* * *

Грустный молодой человек был безработным владельцем диплома физика-теоретика. После университета его отправили в армию, где он два года наблюдал цепную реакцию распада Хомо Сапиенс. А потом пошёл вон по отделам кадров родного города Энск начала семидесятых, где в евреях-физиках чуяли врагов на атомном уровне – и не зря: адское пламя Чёрной Полыни осветило их затылки, удаляющиеся на

Ближний Восток, а энчане остались расхлёбывать катастрофу.

Он сказал мне, что я была похожа на солнечный зайчик и выглядела так невозможно, что постарался, было, забыть. Но потом, в случайной встрече на улице, был потрясён тем, что я признала его, поздоровалась, как со знакомым, а значит, оказалась реальностью одного с ним мира. Мне так хочется довериться словам "солнечный зайчик". Да, да... Всё так... и не было железобетонного бокала, на доньшко которого я падала в единственно возможном мне свободном движении – в обморок – прочь от осознания мира, в котором жила.

Мы любили, родился мальчик, а потом ещё мальчик. Отец был Пьером Безуховым, а мать – пляшущей лужицей тёплого света на стене комнаты – нашей комнаты, где поселилась чистая сила. Да, да – в городе Энск в начале семидесятых появилась чистая сила и поселилась в доме по улице Красногвардейской, в однокомнатной квартире на четвёртом (последнем) этаже.

Познакомились мы значительно позже, почти через четверть века, в Израиле, где, преломляясь в немыслимом географическом компромиссе, воспроизводится человеческая история и возникает шанс услышать слово, что было в начале – не во сне и не в обмороке. Мы мучительно возвращались в сознание, приходили в себя и искали друг друга. Болели ампутированные иллюзии. Материализующийся мир был пугающе незнаком, мы боялись смотреть друг другу в глаза.

*Не бойся, муки большие нет, чем страх внушать.
Опять тонуть, опять бежать. Так страшно видеть
позади твои глаза и в них себя не узнавать.*

Я заболела. После работы ноги несли меня на базар, и я в тоске бродила по рядам, помня лишь, что должна что-то купить... Потом покупала нечто бессмысленно дешевое и тяжелое и дальше уже, страдая от неудобства и тяжести сумок, спасительно тупела и механически перемещалась к ночлегу.

В то время мы жили уже в небольшом городке неподалёку от Иерусалима. Вернее, не жили, а встречались иногда, потому что муж нашёл работу инженера на юге и снимал там комнату, старший сын был в армии, а младший – в школьном общежитии. Квартира была пустой и холодной. В большой комнате стояли подобранные на свалке стол, диван и ёлка в ведре. На стене висел портрет Жанны Самари Ренуара, с которым я не расставалась много лет.

Мы были похожи: Жанна, я и моя бабушка, что умерла родами за тридцать пять лет до моего появления, а мне достался её портрет с лёгкой улыбкой понимания и достоинства, которой так не доставало мне. В те дни я попыталась забрать себе улыбку Жанны. Я нарисовала её губной помадой на чистом листе в ореоле розовых бликов румянца, платья, облаков, цветов и унесла с собой. Я хотела владеть ею. Моё собственное лицо со сломанной улыбкой, расплзлось в гримасе отчаяния.

Постель лежала на полу в маленькой комнате и пахла

нежитью. Я грела на газе кастрюлю воды, поливала себя из кружки, последнюю кружку заваривала чаем, выпивала с таблеткой снотворного и уползала в сырые одеяла. Будильник звонил в пять, я натягивала джинсы, свитер и мчалась к автобусу. Лицо, потерявшее улыбку, катастрофически рвалось на лоскутки – я не владела им больше и стала бояться зеркал. Но зеркала, как убийцы, преследовали в витринах, туалетах, автобусах, и из них я молила о смерти.

Молчу, болтаю, путаю, играю словами, выраженьями лица. Я виртуозно в речь вплетаю сложность в компании скучающих невежд. Таращусь простодушно с недалёким, поддакиваю важно всем, кто ждёт. Я отражаю лики (верно – криво) случайно пришлых и во мне живущих, плутая в отражениях, пугаясь, увидеть, вдруг, опять незащищённым, своё лицо.

Мысль о смерти овладела мною полностью. Я думала о ней, как о спасении, со всей оставшейся во мне страстью. Засыпая и просыпаясь, в автобусе и на работе за микроскопом. Я искала способ бесследного самоуничтожения, но чтобы смерть была зафиксирована страховой компанией, и семья получила бы страховку.

Появились ошеломляющие головные боли. Муж приезжал поздно вечером в четверг, я сбегала вниз, садилась рядом в его старенький жучок – это были четверть часа отдыха между страхом, что он не приедет и страхом, что не при-

дёт из армии старший сын и не отпустят на выходной день младшего.

Все химеры из прошлого, от которых спаслась в бессознание, дождались своего часа, и я принимала их, стоя обнаженной на возвышении, в центре огромного зала, залитого светом без теней. Бесконечным потоком шли уже почти истлевшие проклятья, сплетни, злобные взгляды, стоптанные каблуки, дырявые колготки, хамские окрики, мертворождённые предательства...

С сосны и крыши полнолуния свет стекал в мой дворик. Лунные капли в безмолвии струились и белели у моего окна. В янтарной глубине волшебных фонарей, в немыслимой дали протянутой руки – вновь Каин. Немилосердие приходит в срок – двенадцать раз в году платок – и мне, и Фриде... Чем совершенней, Господи, твоя Луна, тем безнадежнее моя вина – один ты – один ущерб у всех...

В январский, особенно ветреный и слякотный вечер я застряла в луже по дороге домой. Тропинка шла через свалку и в дождь превращалась в болото. В свете молний были видны скелеты старых машин. В руки впивались мешки с мятой хурмой. Танкообразные боты рванулись в последний раз и стали. Меня окружала абсолютная темнота, затем вспыхнул свет и осветил комнату, стол с книгами, за которым сидели мои муж и дети. В углу лежала раскрытая солдатская сумка с прислоненным к ней автоматом. Нужно было стирать – те-

перь долго сохнет. Я вышла из кухни с горячей кастрюлей фасолевого супа. Сидящие за столом ожили навстречу.

Сынок, не нужно меня жалеть: я – это не я. Должно быть, я – погонщик волн. Поверь, бывает и так. Я дразню штиль, покалываю его красными каблучками, щекочу подолом царского платья, которое, помнишь, ты так любил... Которое и теперь на мне... на дне.

О-кей, буду считать, что я умерла и не живу, а просто... ещё немного помогаю своим детям. О-кей, какая удача: больше я не на доньшке жизни, а высоко-высоко над ней и не отражаюсь в зеркалах. О-кей, я варю суп моим голодным мальчикам, и это получше, чем маленькая страховка, которую ещё получить надо, а все так заняты...

О-кей... и я умерла.

Фамилия доктора была Пушкин. Он был в чёрной кипе, упитан и подозрителен. Я предположила, что истощена и плохо сплю оттого, что слишком устаю на работе. Пушкин брезгливо объяснил, что так не бывает – кто много работает, тот хорошо спит и ест. Образ Пушкина троился в моих глазах: он говорил одно, думал другое, делал третье – видимо, был из идеологически подкованных... Жаль, что мой папа не взял фамилию Ларин, и встреча Пушкина с Таней Лариной так и не произошла в поликлинике на земле колена Дана, куда я принесла подготовить своё тело для сверхзадачи.

Я сижу на колене Дана...

*Нет, это звучит игриво —
ни одно колено в мире не выдержит моей пустоты.
Я сижу на земле Дана – были такие люди.
Говорят, всё им было мало, наверное, я не из них.
Мне – всего много: излишние сини,
обнажённые пестики маков, готовых к любой весне,
десять сортов кефира...
Я бежала, чтоб быть свободной.
Я, должно быть, своё получила.
Я свободна от всех надежд.*

Маятник

В восьмидесятом году мы переехали на окраину города. Это была новостройка на правом берегу Реки. Природа ещё не пострадала тогда от надвигающегося города, и первое лето мы были счастливы от её близости. Мы нашли пляжик, где в будни не было ни души. Я пошила себе сарафан из вишневого ситца, на мальчиках были оранжевые в горошек трусы, и рано утром мы, почти не переговариваясь, чтобы не нарушить важности происходящего с нами и не спугнуть обыденностью сборов ждущее нас чудо, сбегали по тропинке вниз.

*Светлая заводь, тени стрекоз, замок песочный,
башни в зубах, мост нависает над рвом, и вода
льётся из детских ладошек туда... Стены в ракушках,
вал крепостной, наездник со шпагой мчится лихой.
Струйка песка от тяжёлых копыт, мост осыпается,
лошадь храпит. Пёстр и наряден речной перламутр,
створки распахнуты – милого ждут... В замке
волшебном принцесса живёт. Всадник приблизился,
громко зовёт. Солнце в зените и тень коротка. Мальчик
уснул. Тихо дышит река...*

Муж пропадал на работе с утра до ночи, а я была с детьми. Старшему было шесть, младшему – четыре и, конечно, нужно мне было быть дома, но жить на одну зарплату стало невозможно. Мы совсем обнищали. Я перешивала одежду

детям из старых вещей, и мальчики ходили зимой в розовом и голубом. Куртки были драные и в пятнах, которые невозможно было отстирать. Но самое печальное было с обувью: старший донашивал сапоги сердобольной бабушки, а косолапый малыш сминал в лепёшку новые ботинки за месяц, а затем бодро передвигался на подмятых голенищах, и зрелище это было – не из лёгких.

Я устроилась в проектный институт, который был далеко от дома – на другом берегу реки. Детей мы определили в садик, и продолжилась нормальная советская жизнь...

Однажды, в конце декабря, промозглым слякотным утром, забросив детей в садик, я бежала через пустырь к автобусной остановке. Звуки, силуэты проносящихся мимо людей, искаженные чёрным туманом... мне показалось, что я – в царстве теней. Зачем я вытащила своих сопротивляющихся тёплых сонных мальчиков в ночь – зачем бегу по чавкающей грязи всё дальше от них, цепляюсь за железный бок автобуса... Нет, это не может происходить со мной... – это... просто... волшебный фонарь – я делаю фильм. И то, что происходит в этот момент – съемки на натуре... Туман прекрасен – он слегка серебрится в предчувствии утра... камера плывет к лицу, и видно, как непросто мне бежать по ледяной каше и думать о новогодних костюмах для мальчиков, и что, должно быть, монолог о заячьих ушках из накрахмаленной марли – в мире теней – потрясет зрителей – все заплачут и мир станет лучше...

Я не сошла с ума – произошла обычная вещь: жизнь становится невыносимой, и человек уходит в иллюзию... Я сумела найти вполне безобидную для семьи форму своего ухода, слава богу, некий холостой ход для своей души, сознания... Хотя всё происходящее казалось отражением в разбитом зеркале, я не могла позволить себе игру с осколками – увлечь детей во взрослые фантазии... Часто думала: а если бы у Маргариты был ребёнок... или у Иешуа? Я позволила себе мироощущение сказки, в которой жили стойкие оловянные солдатики, и от слёз Герды таяла льдинка в сердце Кая. Я была абсолютно свободна в своём творении и иногда счастлива, а иногда не становилось сил. Иногда я владела массовой, иногда – нет – и тогда меня опрокидывало, выбрасывало в беспредел реальности, и я, вступая с ней в контакт, всегда только теряла. Даже река и балка отступали в своё небытие, и тогда я верила, что и у них есть своё зазеркалье, и оно спрятано в моём волшебном фонаре – присутствием, которое ощущала только я.

Теперь мы живём в Израиле. Жесткий марафон позади, и постепенно материализовался мир моих иллюзий. Чувствую себя колдуньей – иначе как могла возникнуть моя комната с компьютером и окном в свой двор, где растут сосны и начинают цвести в конце декабря алоэ, а у забора перед пустыней стоят эвкалипты, и дальше – за далёкие холмы, по вечерам, на розово-голубых волнах уплывает солнце.

Шатры в пустыне. Негев рыж, как древний

истоптанный ковер – Извечного Жида наследный замок, облагороженный фамильной тайной и призраками праотцев. Палим огнем соперника – восточного владыки, тирана Солнца. Сам упрям и дик – парадоксальный иудейский Храм. Покоится на зыбкости – пучине горько соленых вод. Невидимого Бога рыжий отблеск... нагромождение камней, как вызов суетному барокко, рококо и готике надменной... Мой Негев за калиткой, где стоят два старых эвкалипта – дар чудесный их тень и аромат.

* * *

Быть может, тот пляжик, что мы облюбовали много лет назад, чудом сохранился в своей тогдашней прелести на большой теперь чернобылем и разрухой Реке... Все эти годы мне кажется, что в полнолуние там возникают тени: моя и моих маленьких сыновей, какими мы были тогда – во времена первозданного речного рая, хранимого теперь только нами. И исчезни я... мой фильм... ряды сомкнутся, как и не было, – хлынет нежить горьких воспоминаний о насилии, оскорблениях прожитых лет, как это бывает в минуты слабости... и исчезнет под железобетонным хламом чистый песочный островок, захлебнётся в сточных водах русалка...

Я не была *оторванной от жизни*. Напротив, мало позволяла себе свободы в повседневности – покладисто бежала в

своей упряжке: семья, работа. Правда, однажды отправилась на поиски моря – вдруг стало страшно, что нет его вовсе. Я взяла три дня отгулов (выплакала у начальника – подлеца Серёни, которого все терпели и даже любили за то, что раз в году на день электрика он напивался, вставал перед коллективом с бокалом и говорил: "Я – г...но!").

Отгулы были за субботы на овощной базе, где при минус десять – под снегом без навеса – мы вытаскивали из мёрзлой кучи стеклянные капусты, обрубали по непонятной схеме и бросали в новую кучу – в свежий снег... Так вот, я бросилась на вокзал, приехала в курортный город и вышла на берег, похожий на постель в публичном доме... Села на катер, отправлявшийся прочь, и сошла в посёлке с названием «Морской». Затем от причала ушла на восток – мимо базарной площади – туда, где за виноградником виднелся скалистый мыс, и за ним угадывалось море – настоящее, великолепное, лазурное и чистое, каким и создал его Господь – *я видела это...*

В начале девяностых действие моего фильма переместилось в Иерусалим. Мы попали туда случайно – не по рангу – не будучи ни сионистами, ни религиозными, ни богемой, ни столичными людьми. И всё же мы были редкостью этой эмиграции – мы признавали себя беженцами. Опять происходило великое переселение народов, и мы были в процессе. Пульсировали страны, шевелились границы, непрерывно хлопали двери, летели, ехали, плыли люди. Но всё это они

продельывали сидя и даже лёжа в креслах, и потому слово «бег» не возникало, как не возникало и слово «трагедия», и только я, быть может, тащила в себе эту допотопную пару.

Мы висели в крохотной кабине лифта между этажами, как в точке отсчёта, когда мир делится на то, что было прежде, и что будет, а остановившееся мгновение ужасно – прошлое затягивает первобытный туман, где с трудом различимы контуры моего я, а впереди ждут бездомность, унижения, болезни, предательства...

За нами не гнался багаж, и здесь нас никто не ждал. Мы поместились в маленьком гостиничном лифте – вся моя семья с чемоданами и гитарой. Мы висели, оттолкнувшись от прошлого и не коснувшись будущего, без связи со временем – пусто... ноль... но ноль, тяготеющий к плюсу, хотя бы потому, что прошлое я определила, как минус...

Я – сама – своими руками разорила всё, что составляло прежнюю нашу жизнь: продавала, дарила, пока не остался один час до отъезда, семь чемоданов в углу и последняя вещь, которую ещё предстояло отдать соседке – карамельно-жёлтый телефон. Я лежала на полу, на старом полотенце, совсем без сил и смотрела на часы. Без сил и почти без надежд уползала со своего минуса, чтобы добраться до нуля, где можно было бы оставить детей одних в безопасности нормальной связи времён.

В первые дни в Иерусалиме мы искали квартиру – кружили по одним и тем же улицам религиозного квартала на се-

верном полюсе столицы, где собраны, несколько пристрастно, все прелести человеческого жилища: красная черепица, веранды и балкончики, кружево решёток, палисадники, дворики, лесенки, полукруглые и стрельчатые окна, фонари и цветы, цветы... С толстых деревянных балок свисали сетки с цветочными горшками. Глиняные кувшины с геранями и кактусами выставлены на подоконниках и у дверей. Дома здесь поднимаются на холм террасами и оплетены розами и бугенвиллиями. Сияет сине-зелёное смешение травы и неба, апельсиновые и лимонные деревца изобильны, как на старинных натюрмортах. Наше появление было здесь предопределено, и без нас бы пропали все эти прелестные декорации, как пропал бы без Адама речной рай, лунный от серебра плакучих ив.

* * *

У магазинов и на столбах были приклеены листочки о сдаче квартир. Мы находили там цифру «3», что означало три комнаты, и списывали телефон. Нас не брали – мы были иначе одеты, не соблюдали обычаи – чужаки.

Однажды вечером, поднимаясь по переулку, я увидела чуть выше глаз освещённое окно-фонарь комнаты, в которой по периметру стояли полки с книгами, а у компьютера, лицом ко мне, сидел отрешенно сосредоточенный человек. Лицо его было освещено то ли светом экрана, то ли счастьем

умиротворения. Он был благообразно бородат, в белой рубашке, какие носят здесь религиозные евреи. Мы прошли мимо на расстоянии вытянутой руки... невидимые из его волшебного фонаря, как тени – не всё ли равно – из сейчас, было, будет... Так могли пройти здесь тени праотцев или его собственная тень с автоматом из прошедшей или будущей войны.

Этот человек переживал прекрасное остановившееся мгновенье, принадлежащее только ему. Никогда – ни прежде, ни потом я не чувствовала бездомность так полно: острой тоской рук, глаз, души по своим стенам, книгам, чашкам. И прежде и потом одиночество являлось своими бесчисленными ипостасями, но уже укрощённое, измеренное библейским «йовом» – единицей одиночества, принятой мной тогда у волшебного фонаря с картинкой из чужой жизни.

* * *

Я не переношу беспредела. Мне необходимо знать границы своего «Я», и потому приходится всё время самой кроить мироздание, ограничивать безответственный рок, предугадывать траектории кем-то брошенных судеб, опасных, как Летучий Голландец. Иногда чувствую себя Джокером в колоде карт...

Очерчен мною круг. За ним подробность, которой я,

пренебрегая, не знаю. Как одиночество её я вижу – всё ближе...

У Иова был Бог, который знал больше, был сильнее и которому он верил, даже потеряв детей. Мне дано иначе: входить в детскую, затерянную на окраине империи зла, в ситцевом сари с красным пятнышком на лбу и рассказывать очарованным мальчикам восточную сказку, а потом утащить их на реальный Восток. Увы, в своей бездомности я была не одинока. Я решила так: пять лет будет длиться мой марафон и возникнет свой дом, а эмиграция останется в волшебном фонаре. В его луче фигуры мужчины, женщины и двух мальчиков будут казаться статической частью сцены из чудесной сказки, которую можно смотреть у себя дома... среди своих чашек и книг.

Цветы и бабочки, зелёные лужайки, львы, томные от неги куропатки – всё в утопическом экстазе небытия – шарманки механической фигурки, заведенные мастерской рукой. Всё: щебет, крик диковинный и запах, блеск звёзд морских, сиянье лун в движении застыло и плывёт корабликом в потоке, фонарём волшебным, где замерли прекрасные мгновенья в предчувствии всех будущих грехов.

Через пять лет я уволилась со своей последней (по каторжному списку) работы, и возникла запись в дневнике: "Я сижу в белом пластиковом кресле, завернувшись в вишнёвый плед, на своей веранде. Рядом, в глиняном кувшине рас-

пускается давно ожидаемая светло-золотая роза. От стебля протянулась к толстой деревянной балке нежнейшая паутинка, и слово «деревянный», безусловно, пишется с двумя «н». Паутинка – от осени, «нн» – от правил грамматики, а квартира со своим двором, в котором растут сосны, кактусы, эвкалипты и розовые кусты в кувшинах – от судьбы, в которой прилежно убиралась все эти годы».

Жаль, в Израиле нет крыжовника. Я предпочла бы розе куст крыжовника. Он, пожалуй, родней, что ли, и, потом, тарелка спелых ягод... после всего пережитого... Тридцать лет тому назад я получила пятёрку за сочинение, где досталось от меня чеховскому обывателю. Не маячила ли тогда рядом моя, укутанная в вишнёвый плед, тень...

Я пёстро прожила эти годы в поисках заработка и понимания мира, в котором очутилась. Дурные сны белых гор из рубашек, которые гладила в домах ортодоксальных привидений; ночные костры на военных капищах, где мои дети давали присягу; одиноко висящие под небесами Самарии поселения с несостоявшимися европейцами, ждущими прихода Мессии; обшарпанный школьный класс с двадцатью подброшенными Россией подростками, недоверчиво слушающими мои рассказы о еврейской истории, и, конечно, бесчисленные лики *наших* на разных стадиях переодевания, осмысления и отупения. Кривое зеркало зла разбилось... и каждому достался осколок, попавший в глаз или сердце...

Сохранилось первое, самое сильное впечатление об Изра-

иле, как о заповеднике всех природ, культур, вер, социальных структур, сознаний, характеров, этносов, одиноко сосуществующих в терпимости, словно в смирении перед вечностью... Израиль уходит – последнее царство четырех тысячелетий еврейской истории. Восток сомкнёт ряды, поглотив всё не самостоятельное, слабо мыслящее, как уже поглотил Хевронские могилы Авраама и Сары, и их посмертное перемещение – тоже – *великое переселение народов*... и мы – в процессе...

Пророчество невыносимо – может каждый из правды вырвать клоч и, как палач, толпе представить тусклые глаза гармонии умершей. Но незримо, уже иная, словно бы из пепла, в обличии ином воссоздаётся и правит миром, несколько иным, свободная от всех пророков суть. Свободная в подъёме и в паденье, готовая исчезнуть без борьбы, из ничего возникнуть, просочиться по капле в бисер, годный, чтоб метать его ловцам извечных истин...

Кривое зеркало зла разбилось, и каждому достался осколок для одинокого осмысления – покаяния: исхода, который невозможен в толпе. Вся человеческая история – осознание одиночества диалога Человека с Богом. Израиль моего века – материализованный блик из зазеркалья, последнее усилие иудейского Бога, сделанное им за пределами обещаний своему народу – нечто из области милосердия для "посетивших мир в его минуты роковые". Страна одиноких... Госу-

дарство для беженцев, с законом... из поправок к... скри-
жалям? Мерно качается маятник компромисса между выжи-
ванием и бытием, между нежеланием принять земных ца-
рей и невозможностью сохраниться иначе. Столетие единого
царства династии Давида, взорванного изнутри... Тридцать
лет царства Иошиягу... восемьдесят лет Хасмонеийской ди-
настии, десятилетие "Золотого века" Александра... Государ-
ство Израиль, в котором мои дети, спасшиеся от советской
армии, взяли автоматы... – пятьдесят лет? сто?..

Думаю, эмиграция – это страна, наподобие летающего
острова Свифта. Пожалуй, она – самая нормальная в мире.
Главный её закон, возможно, в том, что выжимать из себя
раба нужно не по капле – здесь нет безбрежности, и даже
пустыня кажется кипой, которую после церемонии кладут
в карман. Должно быть, рабство – в отказе от мысли из-за
страха не выжить, поняв Мир таким, какой он есть. Раб мо-
жет существовать не думая, отказавшись от своего челове-
ческого предназначения, которого он тоже... не знает, а зна-
чит и не жалеет, как будто... Спрессованный страх неведе-
нья превращает человека разумного в кролика перед удавом
мучительной и, всё же, желанной Жизни. Судьба становится
злой хозяйкой и жестоко бьёт глупого раба, бросившего се-
бя самого на произвол неосознанных чувств и обстоятельств
– добровольно отказавшегося от дара разумности – ответ-
ственности за себя, своего прошлого и будущего – от свобо-
ды...

За эти годы я прочла много книг, прежде мне недоступных. Мир стал понятней. Приблизилось и перестало пугать одиночество... Теперь поняла, почему прежде бежала в свой фильм – почему прожила жизнь беженки. В "Империи Зла" *материя* и *сознание* препирались в условиях узаконенной коммуналки, рассчитываясь на "первый – второй" в несуществующей иерархии, и неспособные на эту противоестественную склоку, вынуждены были бежать в поисках пятого угла, исход из которого был только в небытие бессознания. Компромиссом было искусство – искусственный мир. В России воздушные храмы волшебной красоты строились на крови – не из мишуры и папье-маше, а из живых людей.

Какое благо в рифме утонуть, довериться причудливым теченьям, реальность потерять и с нею боль – хотя б ненадолго забыться, отдохнуть, в своё творение от Мира убежать. Блуждаем в поисках дурманов, забытья, иллюзий грубых и искусных ухищрений. Из звуков, красок, запахов и ласк, из дыма сигаретного, камней, песка, огней в дрожащем танце, вод, из души, случайно встреченных – живых – ещё свой круг вершащих... Из себя – из тела своего, из голосов и рук, из мыслей и душевного недуга – всё на костёр всегоуничтоженья, забавы злой – Последнего Суда.

Поэт, актёр и любой человек искусства в России – "больше, чем поэт" – властитель душ, не способных на создание собственных иллюзий. Мир искусства стал искусственным миром, в котором обретались бездомные души, пока их бро-

шенные тела выживали кое-как. Увы, "властителями дум" были лицедеи, не осознающие своей миссии. И зрители – па-ломники в «храмы искусства» – не осознавали условности искусства, отождествляли себя с чужой судьбой... Помню, как горько плакала на опустевшей после начала спектакля площади перед Театром на Таганке, когда не сумела купить билет на "Мастера и Маргариту". Шел снег, я ооченела, но не могла уйти. Что ж, на войне как на войне – и моя ожесто-чённая душа выставила на московский мороз в худом паль-тишке уставшую после дня командировочной беготни хозяй-ку. До сих пор помню своё отчаяние... – в один фальшивый йов.

Ищу слова. Я живу на грани реальности и иллюзии, не смея сойти, и, должно быть, есть слова, которые могли бы описать происходящее со мной... Видимо, моя судьба – ви-деть... понимать движение маятника. И я принимаю своё – смиряюсь перед судьбой по своей воле, дабы избежать на-силия, кажущегося роком.

За окошком расцвёл куст розы. Кошка рыжая ест траву. Вчера был хамсин до ночи, и дождик брызнул к утру. Моё кресло – перед окном. Для меня окно – как кино.

Рабыня

Рабыня была не молода и не обучена, но любой товар шёл в ход на невольничьем рынке Иерусалима конца третьего тысячелетия от начала династии Давида. Как рыба на нерест шла долгожданная алия из России, и дешевой прислуги не было только у самых ленивых. Закончился месяц Элул, прозрачный серп цеплялся за башенки Старого Города. Начался Тишрей 5751 года с шестого дня творения, и горожане праздновали день рождения Адама. Не купленным рабам оставалось дожидаться, когда окончится чужой праздник, откроются двери контор и продолжатся торги.

Женщина знала свою цену в пять шекелей – меньше запрещал закон: "Как-никак, мы – в демократической стране, и права человека..." – слова поднимались к синим небесам Вечного города и возвращались неловкой паузой...

Это случилось со мной? – со мной. Обычно с ними: семья обнищала... искали работу... пришлось съехать... заложили в ломбард... голодали...

– А теперь с тобой, – подтвердили небеса голосами Диккенса и Достоевского, – Помнишь, мы рассказывали о муках голода, о бездомности и равнодушии благополучных людей?

– Да, помню... кажется, там было ещё... что-то важное... страшное... для меня теперь...

Женщина бесцельно поднималась по улице, кажущейся

ей обжорным рядом, и вдруг увидела своего сына. Он рано утром, ещё в темноте, ушёл на сбор апельсинов, но запутавшись в чужом календаре, опоздал на место. Высокий подросток стоял у витрины обувного магазина и рассматривал сказочные богатства. Мать испытала боль, похожую на удар в солнечное сплетение, и, задохнувшись на миг, тихонько застонала от жалости к своему мальчику.

Он был одет как клоун – бродяга. Видимо, спросонья натянул что попало: из-под коротких штанов младшего брата, виднелись голые икры и спадающие на калошеобразные туфли самосвязанные салатовые носки. Волосы непричесаны и сбиты набок. В руке болталась оранжевая кошёлка. Женщина подошла и тронула сына за руку: "У тебя будет сколько угодно самых лучших ботинок, штанов, машин. Ты будешь богатым и удивительно счастливым". Он ответил: "Конечно, мама". Боль от удара утихла, но не прошла совсем, а так и осталась, даже когда сын надел нормальные кроссовки, сел за руль машины. Потом она поняла, отчего не излечилась – не услышала в ответ тогда, перед шикарнейшей витриной с отражением двух нищих: "У нас всё будет, мама".

Кажется, случилось то *важное*, о чём предупреждали её литературные голоса, и что выпрыгнуло перед ней вдруг, и о чём лучше забыть, иначе не будет сил жить. Не всегда есть силы осознать своё одиночество, особенно – перед временем, когда прошлое – это то, от чего бежал, а будущее, которое было связано с ребёнком и потому казалось обжитой

вечностью, становится, вдруг, недоступным...

Временные обстоятельства, которые она хотела принять почти как приключение – "представьте, одни, голодные, без языка, искали работу и, надо заметить, весьма профессионально" – не сдерживаемые будущим, о котором мог свидетельствовать только сын, обрели постоянство – данность, ограниченную теперь только малозначащей датой, связанной с собственным дыханием и биением сердца. В этой данности реальностью могла быть, разве что, зубная пломба с гарантией на год. Вот, пожалуй, соломинка в один год для утопающей в стихии времени, не сдерживаемой условностью искусных календарных табличек. Казалось, всё было то же, но не совсем. Да, что-то случилось с Миром, потому что женщина увидела себя в октябре 1990 года в центре враждебно незнакомой истории и географии. В этом календаре близился карнавал Советской Революции, но окунуться в него было уже невозможно, а не произнесённое сыном «мы», не позволило довериться начавшемуся Тишрею шестого тысячелетия. И женщина вспомнила то, что читала прежде о других, и что теперь случилось с ней и увлекло из гаваней множества календарей в открытый океан времени: "Да, да помню – конечно... не сказал "мы будем" – не стало завтра... мгновение остановилось и застало врасплох, протянутая к сыну рука слепыми пальцами тронула горячий воздух.

Принять за данность хаос – выше сил. Стремление к нежизни в этом мире, как главное движение приму.

Шар – в лузу, горы – в море, краски – в ком тускнеющей палитры, где живут последней мыслью серые глаза.

Женщина вспомнила пережитое уже однажды и легкомысленно забытое в годы её двадцатилетнего семейного царства: "Да, конечно, так было уже – была свобода от «мы» – дикая вольница времени, сметающая границы между прошлым, настоящим и будущим". И, как и тогда, захлебнувшись в подхватившем её потоке, ухватилась за сгустившийся в иерусалимском полудне фантом: "Будет, что за безумие зависеть от двух коротких слов – почти восклицания. Он сказал: "Конечно, мама" – он согласился, доверился мне... мой мальчик, заброшенный на пересечение неверных календарей. Я – сама – и есть «мы», и пока люблю – свободна от одиночества: любящий принимает «мы», как данность."

*Пускай в любви мы сущеe Одно,
Приходится признать, что суждено
Нам испытать quinta essentia мгновенья
В трагическом различье Откровенья.*

Думая так, женщина потихоньку успокоилась, осваиваясь и обживая своё спасение, свою новую жизнь, свой незатейливый календарь, где точкой отсчёта опять стала её любовь, когда не жаль себя, в открытость души запросто входит милосердие, и там возникает дом в яблоневоm саду; у окна на столе ваза с цветами, стопка школьных учебников, белая чашка, тикают ходики в едином ритме с усмиренным временем.

Рисунок диковатый – белый с синим – на вазе с жёлтой, чуть усталой розой. Загадок полон дворик за окном, необитаем стол, и занавеска неслышно дышит. В лёгкой тишине значительны минуты, вещи, звуки.

"Календарь от прекрасного мгновения" – и время обессилело, подчинившись незатейливой выдумке – так матёрый волк отступает перед красными флажками и бежит, не в силах выбраться из мистического круга.

Я остановилась на Перекрёстке Мира и посмотрела на позолоченные часики завода «Чайка». Скорей, иначе включится красный светофор, и я не доберусь до тротуара. В центре Иерусалима – на перекрестке Кинг Джорж и Яффо – начертана фигура, по сложности своей не уступающая Маген-Давиду, и по ней прибоем, глядя в никуда и не сталкиваясь, устремляется увлекающая меня иерусалимская толпа.

Автобус, зевая, вяло полз по затерянному миру чёрных лапсердаков, пейс и париков квартала Меа Шаарим – безысходного "города ста ворот". Жизнь в нем расписана, как ноты в механической детской шарманке, чья музыка слышна по всему миру: «Ла-лала-лала». Плывут пыльные витрины с иудейскими лебедями, толстые и худые человечки в мятых футлярах выглядывают на белый свет, как рыба из заливного.

Где-то здесь, в святая святых добровольного рабства, маленькая кондитерская, где, может быть, купят и меня, ослабевшую от голода и, кажется, на всё согласную беженку. «Ла-

лала-лала» – какая славная мелодия. Я буду печь булочки за 4,5 шекеля в час плюс харчи и чистые объедки, которые можно брать домой и варить суп, суп... суп... лала-ла...

Ну, кто-нибудь, пожалуйста, молю, скажите мне, молю,
в чём виновата?

*Я карандаш взяла и лист пустой – судите:
сил нет не знать, что для меня – не жить...*

Скажите, в чём виновата?

Может быть, горда, и скромность – паче гордости?

*Судила? Да, но я не убивала – понять хотела,
уходила – в том вина?*

*В недоубийстве? Слишком я любила? Не точно
мыслила?*

*Стихи писала? Предала... с детьми своими, с речкой и
стихами?*

*Я верила: мы заодно с русалкой и с клёном в огненной
короне,*

и свечой, и музыкой

– никто, никто не скажет, не жду...

*Никто и никогда, ни прежде, ни теперь не прикаснётся,
ничего не скажет, ни в утешенье, и ни в осужденье.*

Не жду, не верю, нет надежд, живу.

*Должно быть, приговор суровой, чем просто смерть,
чем просто небыть...*

Круглые шарики из теста катаются парами – двумя руками. Это не просто: берёшь два кусочка, отрезанных Шломо

от пухлой колбасы, и быстро уминаешь подушечками на ладонях у большого пальца. Правая рука крутится по часовой стрелке, а левая – против. У двух Моше всё мелькает, шарики выпрыгивают из рук и сами собой укладываются на противень. А я отплясываю Святого Вита и, стыдясь, подсовываю в общую кучку кособокие пасочки.

Коллеги демонстрируют бесконечное великодушие. Похоже, они не против, чтобы я сидела себе в сторонке и смотрела на них преданными собачьими глазами. Видимо, эти подвижные, похожие на среднего возраста Хоттабычей, пекари видят во мне печальную приبلудную суку диковинной породы и, пытаясь откормить, подсовывают съедобные кусочки, огорчаясь, когда я не сглатываю на лету. Ещё они учат меня выполнять команды. «Кемах» – звучит выпадающий из общей тональности глас вопиющего, и я приношу, как раз, наоборот – «Хему», а в компенсацию изображаю такую сцену раскаяния, что ошеломлённые зрители забывают про свои шарики. Ошеломляющее впечатление производит на них, когда мне удаётся произнести всё же слово на иврите. Это вызывает у них мистический восторг, азартное хлопанье в ладоши и, возможно, почтение к далёкой великой России, посылающей своих дочерей...

Главный кондитер Моше любит философствовать. Он, действительно, классный мастер, и хозяин, рыжепейшая двухметровая бочка, считается с ним. Моше держит в голове сотни рецептов, у него глаз – алмаз и всё остальное тоже.

Моше работает как фокусник, и вообще, он – не из Меа Шаарим, и кипу надевает, как каску – только на работе. Потому, если Моше остановился пофилософствовать, то это его право, и даже хозяин не смеет перебить и ждёт с приятным лицом.

Два Моше и Шломо вот уже четверть часа пытаются объяснить мне что-то для них очень важное. В ход идут рисунки на муке, пантомима и многоголосье, где, поначалу, понятно для меня лишь слово «Израиль». Ребята очень стараются – похоже, они хотят посвятить меня во что-то глобальное. Долго ли, коротко, мысль, индуцированная Моше, приобретает доступную для меня форму и потрясает своей силой и простотой: "Израиль, бедная Тания, это – мусорное ведро, куда ссыпают со всего мира разную дрянь".

В подсобке стоят пирамиды маргаринов, бочки с орехами и шоколадом. Но меня, почему-то, тревожит метровая стопка яичных лотков. Возможно, из-за узнаваемости ячеистых подносов из серого картона – совсем как в гастрономах: по тридцать штук. Яйца бесхитростны и беззащитны передо мной, смущают простотой и доступностью, и я уже третий день смотрю на них вначале задумчиво, а затем азартно. Мне кажется, все заподозрили недоброе и провоцируют меня, оставляя с ними наедине и всё чаще посылая в кладовку. Все знают и ждут, когда я цапну то – покрупнее, и ворвутся с рыжепейсым, и закричат "Каха?!", что означает всё, что неопишимо словами.

Кровь новая, вульгарная, струится по старым жилам. Черных лун, страстей пора – метаний толп, себя не видящих, глаз жадных, насытых ртов прискорбного конца тысячелетия последнего. В смятении душа и мысль, в разрухе плоть, и вер неясный лепет слаб, почти не слышен. Вновь, утеряна в мой старый сад калитка, где среди лип столетних утонула в листве осенней мокрая скамья.

Тряпичная голубенькая косметичка проглатывает яичко и становится похожей на сытую жабу. Я дрожащими руками укладываю её на дно сумки, притряхиваю вещичками и в полуобмороке выхожу на публику. Хохочет, хлопая себя по тощим ляжкам, Антон Павлович, Лев Николаевич угрожающе размахивает косой, блудливо отводят глаза Шломо и два Моше. "Ну же, ну, господа, где ваше "Ка-ха?! Ату, меня, ату. Ну же, где разверзшиеся небеса... на помощь, мама, пожалуйста, мне так плохо... я потерялась..."

"Отпустите эту женщину, Мессир" – вздохнула Маргарита, и я на негнущихся ногах отступаю под барабанную дробь ошалевшего сердца и – ап! – кладу яичко на прежнее место...

Шарманка

Только что я подавилась обидой, как глотком яда, сжигающим все росточки сентиментальности, которые так тщательно выращиваю. Опять я на донышке, вокруг – тусклый блеск сужающегося кверху бокала, и толпа небесных зевак отрешенно созерцает, как буду плести слова и карабкаться по ним прочь... Многоглазые небеса сонно моргают высоко на галёрке, партер недобр, а в царской ложе – моё напряженное лицо. Я не слышу суфлёра, несу отсебятину: от себя... себя... я... лишь бы не хлопнула дверь в высокой ложе... и там не возникла бы пустота...

Вновь настигла тревога, и чаша простыла.

с ещё не допитой судьбой.

Дорога вела вдоль солёного Мёртвого моря,

где лучше назад не смотреть,

но я не смогла,

и подёрнулась теплом белесым больная душа.

Настала луны половина,

Млечный Путь над Содомом застыл,

словно грешников вечных толпа,

и усталость всех тысяч веков настаивает,

теснит грудь, виски...

Пальцы, веки сковало кристаллом

из библейского моря упавшей зачем-то звезды.

Открыла томик Цветаевой. Неловко за клише "Ахматова – Цветаева"... "Вам кто больше нравится – Ахматова или Цветаева?" – спросил меня организатор какого-то коллективного творческого процесса... "Сравнительный образ Натальи Ростовской и Татьяны Лариной" – действительно, кто бы из них лучше работал на *Каве*?

Середина девяностых годов, пустыня, свежее испеченный прибыльный заводик на дешёвой земле, рабочей силе и хитроумной налоговой политике. Огромный ангар, колючая проволока с видом на горизонт – классика. Работаю по 12 часов на "каве", то есть конвейере, где люди сидят в затылок (чтобы не разговаривали – не отвлекались), выполняя в общем ритме каждый свою операцию: пайку, сборку, упаковку. Каждый последующий проверяет работу предыдущего и об ошибке докладывает надсмотрщику – единственное позволенное отвлечение от остервенелого дерганья в машинном ритме.

Разумеется, доносы превращается в самоценность. Кипят страсти вокруг интриг местных злодеев. Русский язык в запрете. Впрочем, запрещено любое свободное общение. На *Каве* работают не евреи и не израильтяне, а непримиримые русские и марокканцы. Надзиратели – из марокканцев, что усиливает межнациональную рознь. Зона перевыполняет план: яростно падают гильотины электрических отвёрток, дымят крематории раскалённых паяльников, захлопывают

ся крышки ящиков, хозяин считает денежки... Многорукий *Кав* – отвратительный, шипящий от ненависти, робот-самоубийца. *Кав* – экспозиция «мы» в израильском музее социальных структур. Пока *Кав* на глазах потрясённых зрителей переваривает мышцы, кости, лёгкие, глаза и прочее, что Бог дал, я пишу: "цветы и бабочки... зелёные лужайки..." и думаю: "Мог бы работать на *Каве* Антон Павлович?.." Я открываю единицу человеческой устойчивости в один "*Кав*".

Александр Сергеевич, могли бы Вы работать на «*Каве*»? Сколько пришлось Вам терпеть? Я старше Вас и мне неловко за своё многотерпение – стыдно изображать в моё время Таню Ларину и тихо, благоразумно... писать письма: "...львы, томные от неги куропатки – всё в утопическом экстазе небытия, шарманки механической фигурки, заведенные мастерской рукой..." – записываю на обрывке упаковки от диодов в туалете под звуки спускаемой воды, чтобы *Кав* не догадался.

Мне – Тане – легче. Я умею создавать свои иллюзии и исчезать в них. Куда хуже Вашей Наташе, Лев Николаевич, с её живостью и обнаженностью, когда всё на поверхности, и каждый косой взгляд ранит душу, заставляет биться сердце, задыхаться, краснеть, бледнеть и плакать. Вы, Лев Николаевич, непрофессионально косили сено, и это осложнило жизнь Ваших читателей. Вам не следовало отлынивать на росистый лужок, а следовало домыслить: как это можно не противиться злу насилием. Формулу или хотя бы простенький алгоритм для бедных птичек: как же не клюнуть, если

злой мальчик мучает тебя в клетке? Мол, он в тебя тычет палкой, а ты ему, тихо улыбаясь: «Формула Л.Н.», и он, пристыженный, открывает клетку и уходит косить сено и читать книжку.

– Ты увлеклась – недовольный смешок, вишнёвый плед скользнул с плеча, был пойман и одёрнут зябким движением. Ты – просто невежда и повторяешь пошлое клише из школьной хрестоматии про ошибки Толстого. Лев Николаевич додумывал, и это гнало его вон из европейского платья в холщовую рубаху, от монологов Пьера – к азбуке... в поисках истоков, аксиом... здоровой российской системы... идеи... внятной простоты, но мысль тонула, не находя опоры, безбожно. Была "Ясная Поляна" – не было "Ясной России" – его профессиональному уху была невыносима фальшь, смутность – Россия, как ненастроенный инструмент, роковым образом искажала гармонию партитуры. Рукопись была совершенством только на рабочем столе в присутствии автора, несущего, как крест на Голгофу, систему координат России.

– Ну и зря. России его сизифов труд не пошёл на пользу. Незачем человеку таскать такую тяжесть. Что хорошего? Почтенный старик, вельможа, литератор – хиппует, как подросток, бежит из дома. Мудрец, прекрасно произнесший, что мир можно улучшить только через себя... суетится до последнего вздоха. Нет, граф не сумел бы работать на *Каве* как я – *не отождествляя себя с ним*.

Этим летом я тоже сбежала из дома и неделю жила, сни-

мая койку – забавно, что не скажешь «кровать» – у нечистоплотной и вздорной старухи, которая пыталась при расчёте взять с меня больше денег, чем договаривались, но это отдельный рассказ... Сидела я тогда утром в сквере Беэр Шевы, и увидела старика – бомжа. Выглядел он чрезвычайно жалко. Должно быть, спал под кустом и теперь пытался умыться у фонтанчика с питьевой водой. У него была баночка из-под йогурта, которую он подставлял под струйку и сливал на руку, хотя удобней было просто подставить под струйку руки... Видно, и прежнюю свою жизнь этот человек строил с таким же пониманием вещей. Лицо у него было отчуждённо суровое, как на портрете старого Льва Николаевича. Я достала зеркальце и заглянула в него – не видать ли уже следов всех моих побегов...

У Сонечки-беленькой (её так и прозвали «Соня-беленькая», в отличие от "Сони-рыженькой") немного детская фигура, милое открытое лицо, прелестная улыбка, чуть лукавая от сознания того, какая она хорошенькая. Глядя на неё, незлому человеку хочется улыбнуться, а злому – задеть, чтобы не нарушалось абсолютное безобразие *Кава*. Сонечке за тридцать, но выглядит она совсем юной. Недоразумения по поводу возраста превратились для неё в спасительную игру, которая обезоруживает атаки *Кава*. Ошибка в десяток лет заставляет расплыться в улыбке самую тупую физиономию, и потом эту улыбку нельзя уничтожить даже последующей свирепой гримасой – она остаётся сама по себе и гуляет по

Каву, как нос майора Ковалёва по Невскому проспекту.

Сонечка прожила свою затянувшуюся молодость беспечно и приятно, не утруждая себя, радуясь и радуя своей нестервозностью. Она без особого усердия в образовании и прочих интеллектуальных хлопот причисляла себя к интеллигенции и была, в главном, права – чтобы считаться интеллигентом в восьмидесятых, достаточно было иметь корочку диплома.

Жить с родителями было не радостно. Мама Сонечки ребёнком стояла в толпе расстреливаемых немцами евреев у вырытой могилы, чудом спаслась и прожила пришибленную жизнь, раздражая дочь хроническим непотребством, которое само становилось злом – злила безропотность перед убогим бытом, хамством, болезнями. Бесило вечное ожидание беды, побитый вид, уродливая одежда, запас мыла и соли, упрямое смирение перед самой злостью: скандальными интонациями в голосах детей, которые не могли принять свою короткую – в два поколения – родословную, начавшуюся в братской могиле.

О том, что было прежде, о дядях и тётях, дедушках и бабушках, Израиле и его двенадцати сыновьях, об Аврааме и Саре, Симе, Ное, Адаме и Боге – Сонечка не знала ничего, как не знала и её мама, как не знала я – всё сгинуло в *той могиле*, и наступили времена катастрофы – безумия забвения. К концу восьмидесятых запасы непотребления совсем иссякли. Национальным героем России оконча-

тельно стал турецко-поданный мосье Бендер, духовным спасителем – Вельзевул, пришествие которого было описано в московском завете. А Родина виделась, как "вечный приют... дом... каменистый, замшелый мостик... венецианское стекло и вьющийся виноград, поднимающийся к самой крыше" – там... – в Америке... в Иерусалиме... Замученные российские мастера тысячами потерянных душ шли за пособием от дьявола, отдавая *Каву* своих Маргарит. Звучал хор: "До встречи в Иерусалиме". Сонечка вышла замуж за энергичного и чрезвычайно уверенного в себе молодого человека, увлекшего её обещанием *всем задать*, и молодые стартовали в Шереметьево-2.

Первый год прошел в привычном тусовочном ритме. Все были ещё «свои», но где-то под ложечкой уже росла тошнота от хлипкости новой жизни. Сонечка устроилась на работу – пришла к *Каву*, как слонёнок Киплинга к крокодилу: "Здравствуйте, уважаемый *Кав*, очень хотелось бы знать, что едят *Кавы* за обедом". Ну, и далее, по сценарию: "Га-ам, *Кавы* едят за обедом Сонечек". И в слезах потёрла укушенность Сонечка, удивляясь злобности и хищности *Кава*, а потом... задумалась, запечалилась и больше уже ничего не спрашивала.

Соня-беленькая и Соня-рыженькая были моими подружками. Нас сближала травоядность и, разумеется, поиск смысла жизни на *Каве*. Я ощущала себя бывалым каторжником, заматеревшим на пересылках, и учила молодых и неопытных

Сонечек "никому не верить, никого не бояться и ничего не просить".

Соня-рыженькая была *порядочным* человеком, и сменить в одночасье порядок ей было не просто. Поэтому ей пришлось жертвовать себя и *Каву*, и бесчисленным родственникам и близким, густо исходившим из деградирующих Энсков. Помощь энчанам казалась естественным порядком вещей – исходила община, а Соня была устроена: работа, квартира, машина. То, что это "*машиканта*", "*Кав*" и "*овердрафт*", воспринималось как и сотни других чужих слов – новый порядок не осваивался в коллективных зубрёжках: "Мы не рабы, рабы не мы". Упорствующие в этой абракадабре, не задерживаясь в стране, текущей молоком и мёдом, отправлялись на круги Вечного Кава.

Из горестей двух счастья не собрать. Две бедности в достатке не пребудут. И одиночество лишь полное наступит – из половинок одиноких. Вдруг – толпы доверчивые веры не обрежут – их смертны идолы. И простодушие – знак, скорее, не души – ума простого... О, не взыщи за тон мой поучительный, скорее, сама перед незнанием робея, у рифмы я ответ ищу. Из слов, в стихах запутанных, прочесть пытаюсь смысл... Как на кофейной гуще угадать тень скрытого от прочих диалога. Зачем? – Да так, игра: как будто слышу что-то и отвечаю – будто... и не одна я вовсе – во всей вселенной...

Собственно, *Кав* был каторгой не для всех. Естественные

его обитатели – придонные жители Израиля, отнюдь не были мучениками и, традиционно тасуясь между хилыми зарплатами и пособиями по безработице, были тоже порядочными и законопослушными относительно *их порядка*, который нарушила иммиграция из России.

Придонные жители были замечательно невозмутимы. Как правило, это были молодые женщины восточных корней с неспособностью к абстракциям, не преуспевшие в знаниях таблиц умножения и Менделеева, а также римского права и прочих европейских выдумок. Зато они умели вести себя независимо, раскованно, терпимо, умели говорить «нет» и владели придонной философией. Их мужчины работали в мастерских, полиции, торговали – «крутились» и не очень рассчитывали на заработки своих жён, что хранило семейный очаг. Большая их часть приехала в Израиль из Марокко в пятидесятых годах и, изрядно намучившись и не преуспев на европейский манер, освоила чрево Израиля.

И вот, наступают девяностые, и господь насылает "тьмы и тьмы... азиат" ... Золотыми зубами еврейские русские перемалывают свиные сосиски, проклиная безденежье, покупают дорогие машины, израильтян называют аборигенами и, что самое ужасное, – вкалывают, как автоматы, выкладываясь на полных оборотах, остервенело следя, чтобы и другие рядом не отлынивали. Готовы работать семь дней в неделю – без выходных и праздников, по 15 часов – за гроши и... гордятся (!) этим... Вот именно – эти люди каким-то дьявольским

образом связаны с *Кавом* помимо денег – внутренней зависимостью... Они твердят о культуре, образованности, но ничего не знают о жизни и о себе... Они отдаются насилию "по любви" – со страстью, как не станет это делать последняя шлюха! Дикари или безумцы, но им удалось нарушить заведенный порядок рабочего дня – ужесточить его, подкрутить гайки на наручниках и кандалах, завести пружину на новый виток агрессии.

Русские оказались золотой жилой. Дармовые рабы редкой выносливости терпели всё и были смышленными: знали устный счёт, быстро запомнили десяток основных инфинитивов, отзывались на любые клички. Ими было невероятно легко руководить. Они сами охотно и умело вязали себя в *Кав*, как дети верили обещаниям прибавок к зарплате, улучшению условий работы, а если им не обещали, то они сами придумывали добрые слухи, чтобы было во что верить. Пустячному подарку к празднику радовались, как чудесному подтверждению своей веры в *Кав*. *Вера* была в основе их жизни. Верили, что хозяин – добрый; верили, подписывая векселя под высокий процент, что как-то образуется и кредитор простит. Но при этом не верили своим близким, подозревая в обмане и хитрости своих детей, родителей, мужей, жён и потому, при столь щедрой вере, носили жесткие и угрожающие лица.

Новые придонные были больны безумной верой в равенство, братство и счастливое будущее рабов.

Кто был никем, вновь стал никем, так ничего и не поняв, продолжая жить на манер, как будто был всем, выкладывая перед каждым встречным свои амулеты: дипломы, магендавиды, кресты и медали, фото и мифы про свою духовность, интеллигентность, бывшее величие и победы. К счастью, их никто не слышал – все были заняты собой: своими диетами и распродажами – и не обращали внимания на десяток инфинитивов, произносимых страстно и невнятно, словно в бреду...

Зинаида была из профкома Заэнска или даже Подзаэнска, что в смысле профкома было ещё лучше. Она заматерела на своём поприще и Израиль «имела в виду». Поэтому по приезде подсуетилась взять все ссуды, а их было немало вместе с бабушкиными, и скупилась на полную катушку. В подробности ссуд они с мужем не врубались, так как муж тоже был из профкома. Когда долги превысили банковский минус, супруги решили известить бабушек, потому что слышали, что и бабушкины долги хоронятся здесь бесплатно. Только было приступили с профессиональным размахом, как новый слух, мол, это относится только к молодым бабушкам до пятидесяти лет – вроде самой Зинки. Супруги тормознули насчет бабушек, приносящих, как выяснилось, чистый доход в виде пенсий, и, стараясь не брать в голову, что было привычной всего, разбрелись по *Кавам*.

Не иначе, как сам *Кав* вселился в Зинку. Видно, вся её не растроченная на бабушек энергия явилась рабочим энту-

зиязмом. Казалось, у неё четыре руки и все вращаются, как лопасти вечного двигателя, и растёт гора готовых деталей, с которыми не справляются *сокавники*, и Зинка вначале шипит на них тихо, а затем всё громче и яростней. На "русское чудо" пришел посмотреть Хозяин. Действительно, измождённая старуха в яркой вечерней косметике, в невиданном темпе расправляется с деталями и тычет ими, матерясь, в отстающих. Зинку похвалили, назначили *Лучшим по Каву*, и она испытала знакомый по профкомовской молодости восторг власти и острое желание поймать и поцеловать дарящую счастье руку. Денег, правда, не прибавили, но Зинка уже слышала медные трубы. Хмель избранности закружил Зинаиду – она делала карьеру. Ей охотно давали дополнительные часы, оплачиваемые на два шекеля больше, а по ночам – на целых четыре. Через три месяца Зинаида отдала *Каву* душу – с глухим стуком упала прямо на рабочий стол... Не стало Зинаиды, но её дело – новый порядок *Кава* – живёт и побеждает!

Фрида родилась и прожила всю жизнь в Прибалтике, работая там в статистике – сказочном мире, наподобие балета "Лебединое озеро" – красивом и, казалось, вечном. Родилась она в конце сороковых, перевалив за черту, делящую жителей на коренных и пристёгнутых. Таким образом, милая еврейская семья, могущая украсить собой любую европейскую столицу, оказалась вне закона на родине, как выяснилось, не своих предков. Законопослушные незаконные со-

брали чемоданы и, чтобы больше не промахнуться, уехали на свою историческую родину, предоставив прибалтийским отцам свободно объедаться кислым виноградом.

Огромный ангар в пустыне. На перекрёстке дорог, через который проходит *развозка*, среди стрелок – указателей есть название «Содом» – библейский город грешников, ставший теперь такой же реальностью, как и колючая проволока вокруг барака, где работает теперь Фрида, как и кроссовки хохочущей негр-девицы, громыхнувшие на обеденный стол рядом с Фридиным стаканом чая. Фрида отодвигает стакан, её лицо невозмутимо приветливо, в глазах, обращённых на пустыню за колючей проволокой, отражение готики.

...Маргарита работала на *Каве* несколько часов. Её поставили на упаковку, где нужно было прибор положить в коробочку, закрыть её, затем коробочки сложить в большую коробку и запечатать. Она оглядывалась нервно, недоверчиво, движения были неловкими, затем встала, сняла рабочий халат и, не объясняясь, ушла...

Что ж, у неё не было детей...

Суета

Каньон в Бэер Шефе – средоточие вселенского вокзала. Все пришли за счастьем – продаётся счастье: платья, конфеты, прохлада, шум, невесомость, безразличие, защищённость, соучастие, ритм, движущиеся лестницы... Присела к столику и заказала кофе. Слегка приглушила вселенную, заткнув уши свёрнутыми в шарик бумажками, оторванными от пакетика с лекарствами (от мигрени, бессонницы), немного убрала свет, прикрыв ладонью глаза. Теперь можно сосредоточиться и постараться понять, *как быть...*

Принесли стакан с кофе и молоко в отдельном кувшинчике. Теперь можно здесь сидеть сколько угодно и, для начала, вспомнить историю моих побегов. Рядом сладкая лавка: орешки, конфеты, финики и много ещё чего. Всё время кто-то таскает – *пробует*. У молоденькой продавщицы напряженные глаза. Нет, я ни за что не хотела бы работать там – о-кей, из сладкой лавки я уже сбежала – чудная страна, здесь можно легко сбежать! Правда, до отдельного номера в гостинице я не дотянула и сняла комнату у двух стариков из России. Вчера ложилась спать и, вдруг, показалось, что не было двадцати пяти лет, и я опять в квартире у родителей: то же отчуждение, у женщины жесткий взгляд, а у мужчины его вообще нет – слишком долго отводил и однажды *взгляд не вернулся*.

Жаль, что так и не выбралась в гостиницу – не сумела себе позволить. Духу не хватило (или его в избытке?), но тело осталось за порогом. Так и протопчусь всю жизнь на пороге своей комнаты, не сумев крикнуть: "Это моё".

Приятельница, с которой делимся своими обидушками, воспламенилась в мою пользу: "Позвони немедленно домой и крикни: "Это моя квартира! Чтобы духу вашего не было!!!" О-хо-хо, господа, был бы там дух – не сидела бы я с бумажками в ушах, не писала бы историю своих побегов... Господи, неужели это со мной? – вот именно, обычно с ними: "Позвольте, как же это?.. Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль какой-то бутафорской вещи! Не... не понимаю... Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!"

Увы, Антон Павлович, я, похоже, только это и вижу и, вот, всё бегу, бегу... Вся жизнь – история побегов, и теперь этот каньон, кстати, на чьём колене он стоит, то есть, из двенадцати колен Израиля... Господи, при чём тут это...

Итак, история моих побегов – не всё ли равно от чего, и какой сюжет послужил очередным пинком... кто что сказал, сделал или не сделал... Главное, одни бегут, другие догоняют, а затем – наоборот, и каждому его бег кажется "глумлением над личностью", должно быть. Плачет бедная Лиза, не догнав любовь, рыдает красотка в перьях, перегнав своё счастье, роняет слёзы загнанная прачка, бежит к пруду графиче-

ня...

Тело, вытеснившее меня в каньон, про мои духовные старания сказало, что, мол, описываешь, какая ты несчастная. А я: "Позвольте, как же это? Вся мировая литература за исключением шлягеров про вечную весну – о человеческих несчастьях. Например, прошу внимания: "Быть или не быть – вот в чём вопрос" или, там, "у попа была собака", или "ко мне пришёл мой чёрный человек". Но за этим нечто иное, уважаемые, этическое... о смысле жиз..." – бормотала я вслед угасающим глазам – не догнала: не догнала, перегнала... бежала – не всё ли равно: "Назовите меня каким угодно инструментом, – вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете." Вот именно: "No! You cannot!" – шуршат в ушах бумажные шарики, тоненько льётся молоко в стакан с моим кофе...

"Электричка в Разумовку отправляется со второго пути". Сидела я тогда в своей круглой шляпке на вокзале и писала, как и теперь, мол, у попа была собака... Вокзал был маленький, не центральный – что-то вроде моей шляпки, и публика была, конечно, не такая вальяжная, как в каньоне. Там мало было отъезжающих за счастьем – так, выживающие: пьяные мужики, бабы в коротком ситце на мощных рейтузах с начёсом. Мода тогда была такая – весной семидесятых – для баб деревенских: ситцевый мешок для торса с отверстиями для конечностей и головы дополнялся ватником, платком и иными утеплителями, спасающими в мороз. Жить во всём

этом можно было только растопырив ноги, руки, пальцы и рты, но, всё же, спасало как-то... от чего-то, должно быть: от *быть – не быть в далёком и несчастном датском королевстве, где нет вечной весны.*

Не быть мне было никак нельзя, даже при гарантии прелестных снов в небытие. И явись мне хоть ангел с билетом в рай – мне нельзя – мне надо быть, так как секунды моего свободного побега на исходе, и пятилетний старший, должно быть, уже отобрал сахарницу у трёхлетнего младшего, спрятал её, и тот, в энергичных поисках, конечно, перевернул весь дом.

Но как быть, если у попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса – он её убил!?!

Не всё ли равно, как обхамили... Графиня бежит изменившимся лицом пруду, а я тащу своё семейство прочь – в коллективном побеге – прочь; от притеснителей – в исход – к Новому Храму. Думаю, два Храма – достаточно для одного Бога. Разрушение первого воспринимается, как случайность, второго – как-то настораживает. У меня хватило энтузиазма на третий, и вот, безо всяких "Мене, мене текел"... впрочем, спаси Бог от световых и прочих эффектов: отрекаюсь, господа, ещё не сформулировала от *чего*, но *оно*, кажется, мне не по силам...

Банальности пугающие тени в моих стихах. Всё сказано в начале, но выносит неведомым прибоем мысль и бьёт в бессилии о берег незнакомый, иль

*отрешённо лижет обжиготой. Банальности желанно
постоянство в конце дорог моих. Степи однообразие,
и в небесах, как и вчера, луна... И ключ в замке, и
синий язычок под туркой с кофе, и лёгкость в невезенье,
и утра, как прежде, благодать – до откровения, как
прежде...*

Я сдуру показала однажды свой текст одному советскому литератору. Он сурово нахмурился: "Вы какие стихи любите?" – "Пушкина А.С." – увяла я, оглядываясь на дверь и напрягая мышцы ног. "Так вот, где вы там видели такое? Что там, у вас, например, "синий язычок под туркой?" – "Ну да, – бормотала я на бегу – это у меня там *турка* повесился, и у него, естественно, язычок – синий" ...

...Так, от чего я всё же отрекаюсь – от Третьего Храма, кажется? Чтобы не орать на всю вселенную: "Мой Храм! Вон!!! Чтобы духу вашего..."

О-кей, ещё один побег. Стемнело. Ночь присела на Энск. Я со стёганым ситцевым одеяльцем (весёленький такой ситчик – метр на метр) спускаюсь по невидимой тропинке – в балку – ночевать. Страшно... мерещится нечистая сила. Кинула в какую-то ложбинку одеяло и свернулась на нём, закрыв голову руками. Жутко, от реки ползёт сырость...

Однажды мне дали посмотреть в прибор ночного видения. Человек в нём выглядит совсем беззащитно. Уверенный, что он один-одинёшенек, перестаёт нести себя в массы,

и похож на любопытного суслика, оставившего норку – "Точка, точка, огуречик – получился человечек" – похожий на детский рисунок в зеленоватом свечении и с крестиком для прицела – замечательно приготовленный для окончательного побега от датских проблем... добрый Хомо-человечек.

Я потащила своё одеяло вверх, домой. "Ты чего там, трусила его, что ли?" – спросил Пьер Безухов. "Вам виднее, товарищи, с вашими хитрыми приборами" – не донеслось от мойки с горой храмовой посуды.

О-кей, вперёд, ещё забавней, обхохочешься – про то, как Солнечный зайчик сменял ещё один свой побег на здоровенную солёную рыбу с поминок по начальнику КГБ. Была зима. Поздний вечер. Автобус увозил меня на другой берег, и я слепо смотрела в тёмное окошко с бегущими огоньками и думала, что вот бы так всегда – мимо, мимо, не задевая – прочь... На площади «Металлургов» стояла небольшая очередь, и я послушно стала в хвост. Безумное везение – давали невиданное – деликатес по-дешевке: благородные красные рыбищи по цене рубль с копейками за кило. И очередь была не серьёзная – человек пятнадцать, и денег у меня было рублей пять, и время ничейное – из свободного побега...

Я пристроилась – будто пристанище себе нашла, почти Родину. Действительно, чем не обрётённая, пусть на время, но Родина, приютившая ничейную дочь. Есть всё, необходимое для достойной жизни, чего так не доставало без неё, родимой: есть закон (по-очереди, по-одной в руки, по рубль

тридцать), есть народ, объединенный этим законом и общей идеей... Есть, наконец, вера – вера в Рыбу, подкреплённая чудотворной бочкой, возникшей в металлургических дымах и газах пред глазами всего народа. Мой новый народ казался культурным. Очередь возникла в необычном месте и времени и потому была похожа, скорее, на очередь в театр. Завсегдатаи давно отоварились и перерабатывали продукт на местах, а здесь собрались случайные люди, скорее всего, такие же беженцы как и я. Народ был законопослушный, не агрессивный и даже творческий, судя по красивой и величественной легенде возникновения Родины. Легенда гласила, что бочка с рыбой возникла в честь поминания умершего начальника КГБ тов. Андропова. Разумеется, моя личная жизнь, мой опыт, моё прошлое... мешали мне вполне отдаться плавному движению очереди. И вера моя была еще слаба. Ну, ладно, селёдка иваси, ладно – жирная и в банке, но красная рыба? Ну... не тяну я на красную рыбу, ладно бы, иваси... Когда продавец запустил руку за моей рыбой, я ждала появления уroda с вырванным боком, но возникло нечто идеально совместимое с моими возможностями тащить, платить, и я, в первый и последний раз в жизни, испытала всю полноту счастья состоявшегося гражданина прекрасного отечества. Отечество образовало меня по части рыбы. Я знала, что её нужно повесить на крюк, что и было сделано в коридоре за шкафом с величайшим почтением и любовью, а я, умиротворённая, стояла рядом в своей самой

устойчивой ипостаси "кушать подано."

Что прежде занимала света, там место пусто – свято не бывает. Там властвует и давит пустота. Ни слова божьего, ни искры... В пустоте зияют выбитые чувства, грёзы, мысли... В безмолвии надежды, в забвенье воспоминанья добрые, не чисты там помыслы и редкой страсти всплеск – не солнечный... – подлунный: миром здесь луна владеет – скорбным миром всех бесплодных лет. Теней минувших бед, угасшей суеты, подлунной пустоты бездарные цветы.

Сын попросил нарисовать наше генеалогическое древо. Бедная моя дворянка: уши и хвост – твоё дерево. Ну, да ладно, тебе как? С корнями или так, веточек подбросить? С шестого дня творения – от Адама? Или твоего прадедушки Соломона, от которого сбежал его сын Наум в университет: из синагоги – в лютеранство? Или от праотца нашего Авраама, почтенного жителя вавилонского города Ура, который сбежал от богов своего отца в Израиль, как и ты, малыш? Давай с него.

Род наш древний и благородный. Если бы я придумывала герб, то это были бы ноги, мой мальчик, потому что праотцы наши и отцы были отменными ходоками – мы наследственные бегуны. Помнишь, наш отдых в Друскининкае – снимали комнату в доме посреди яблоневого сада у литовки Дануте?

Так вот, её генеалогическое дерево – яблоня, а наше –

перекасти поле. Растение это древнее, благородное, хотя на взгляд простака – так себе, не симпатичное. Но, сынок, это не просто пыльный шар, гонимый ветром и летящий в степное никуда – нет, у него есть удивительная тайна: если распутать его клубок во всю длину, то выйдет четыре тысячи лет марафона, а если расправить, наподобие дерева, обнажив ствол и расположив вокруг крону, то это кружево покроет собой всю западную цивилизацию, наподобие сетки дорог, и можешь не сомневаться, сынок, все они меряны-перемеряны твоими упрямыми прадедушками – праспасающимися, прадогоняющими. Так что ты не сомневайся, мой милый: мы с тобой – наследственные беженцы.

Наше с тобой дерево удивительно и тем, что само по себе, не имея корней, – может укорениться любой своей точкой, способной прорасти на земле под небесами. Условие одно для всех и навсегда: нужно иметь ещё что-то, кроме резвых ног, Малыш. Что-то, что нельзя изобразить на родовом гербе даже великому мастеру – не говоря уж о мазиле, специалисте по рисованию идей и духов, похожих на окорока и колбасы.

Сегодня ночью я молилась: плакала и шептала, карабкаюсь мыслями вверх, как котёнок по сетке от комаров на нашей двери. Помнишь, мы не хотели впускать приبلудившегося котёнка, а он залезал на самый верх и отчаянно орал? Было невероятно жаль его, себя и того, что ни впустить, ни утопить, а как бы хорошо, чтобы само собой всё как-то обошлось... Я молила о капельке ума и души, чтобы прекратить

безумие изнурительного бега, бесконечную суету ног, чтобы можно было прорасти однажды простотой яблони, и весной белить ствол, а осенью варить варенье и так... из века в век.

Дедушка Копель в семнадцать лет бежал из Польши от фашистов и очутился на лесоразработках за Уралом. Там он схоронил своего отца, женился на Дине – беженке со сложной траекторией: Украина-Узбекистан-Урал-Энск и родил твоего отца, тяготеющего к оседлости. Вскоре семья переехала в Энск, где субтильный, по-польски щеголеватый еврей, стал главным инженером крупного строительного треста. Однако цена яблочного варенья оказалась семье не по карману, потому Дине пришлось покончить с собой за тридцать лет до собственной смерти, а тебе так и не удалось познакомиться со своей бабушкой, преданно любившей математику и балет.

Мой папа – твой дедушка Йосиф – на семейном фото 1911 года сидит на руках у няни и выглядит счастливым, как положено дитяти из семьи с корнями, стволом, ветвями и яблоками, которые вкушают всей семьёй, с каждым кусочком понимая всё ясней, что есть добро, что – зло, что хорошо и что плохо. Действительно, его отец – мой дед Наум – был ближе всех к возвращению в Рай. Он бежал из общины хасидов, чтобы получить естественное образование и самому встать на ноги. Выучившись на врача, он поступил на службу в царскую армию, а затем, получив практику, обзавелся семьей. Но пришли войны – с погромами, революцией, раз-

рухой. Не дожив до тридцати лет, умерла его жена – моя бабушка Галя, портрет которой висит в нашем доме и хранит улыбку понимания и достоинства. Смутное время втянуло семью в пропасть равенства, где нет ничего своего, не за что ухватиться, не на что опереться, и... сломался наш саженец, сынок, прости. Смотри теперь сам, какое дерево тебе нужно и каких плодов ты хочешь отведать.

Наум учился в университете немецкого города Кенигсберга, за который во время Второй мировой войны сражался его сын: капитан советской армии Иосиф. Наум учился, зарабатывая на соляных копиях, и ранки на коже его ног до конца жизни требовали ухода. И у Иосифа тоже до конца жизни побаливали ноги, отмороженные в окопах под Сталинградом. И отец, и сын пожертвовали ногами, но по-разному: первый продавал их, чтобы учиться, а второй пожертвовал за общее дело, что в корне противоположно. Потому прадедушкин плюс да дедушкин минус создали тот исторический ноль, в котором мы и зависли в 1990 году в лифте гостиницы Иерусалима.

*Не суетны деревья. В их объятьях земля и небеса.
Под тенью их хранима, я в ладонь ветвей боль прячу.
Дарована им жизнь без перерыва уродливого тленья.
Даже пни и мёртвые иссохшие коряги несут в себе
таинственную прелесть и новизну грядущего рожденья.
Я лягу на живот и окунусь лицом, душой в цветущее
забвеньё блуждающих огней из мира грёз. Подножие
чуть тёплого гиганта, несущегося ввысь, я обниму.*

*Руками расцарапаю там ямку – в укромнейшем из мест
во всей вселенной – и прошепчу туда свою я тайну,
которую доверить не могу молитве даже.*

Иллюзии

Перламутровая муха дремала в солнечной ванне на уровне моего носа. Выше располагался белый свет, а ниже – густо-зелёный, скрывший мои коричневые сандалики и белые носочки. Надо мной раскачивались вишнёвые колокольчики и тусклые ворсистые листья. Цветы были нанизаны на сочные светлые стебли, из которых текло липкое белое молоко. Медленная капля приминала коротенькую блестящую тропинку и повисала, густея и теряя белизну. Обычно я ловила её ещё в пути, забирая на кончик пальца и осторожно слизывая. Но в тот август, среди пляшущих полуденных бликов, мне было горько и терпко от совсем иного: я всё меньше верила, что заросли на грядке у сарая, которые всё лето менялись, росли и казались мне живыми, видят меня так же как я их – с моими бантами, ссадинами, куклами; что слышали они меня всё это лето – мои "доброе утро", «извините», мои тайны; и что мухи бывают в передничках и пьют с гостями чай из самовара. Безразличное крылатое существо в ложбинке листа не было похоже на Цокотуху в ситцевом платочке. Где-то внутри стало плохо, и я растерянно поплелась домой, не зная ещё, что болит не живот – грустит душа, впервые потерявшая прекрасную иллюзию.

С тех пор утекло много иллюзий, одна прекрасней другой, и я знаю все оттенки боли потерь – и едва ощутимую

прохладу предчувствия, когда ещё можно успеть подоткнуть одеяло обмана, и белую холодную вспышку ясности падения в бездну, когда чувство приходит после знания, не заглушая его и не давая забыться. Не помню, откуда возникла в голове фраза: "жизнь – расставание с иллюзиями" – где-то слышала, или прочла, или придумала сама – не всё ли равно – жизнь продолжается теперь, когда мне отвратительны манящие болотные огни, плотоядные цветы и ядовитые дурманы.

Сосна за моим окном прекрасна сама по себе – без мишуры. Но если я наряжу её в блёстки и зажгу свечи, то лишь потому, что хочу этого сама и сама уберу игрушки, когда мне наскучит играть – до следующего карнавала по моему сценарию. Я знаю теперь, что одна-одинёшенька, слава Богу, языческая мистерия «мы» – позади, и я более не отождествляю кого ни попадая с собой – вселенской идолицей. Я жила непрофессионально, а теперь, когда у меня своя комната и своя книга... или это новая иллюзия?

*Не знаю, одарён иль обречён на зазеркалье —
так дано... мерцаний, таинственных огней лишённый
мир,
как в дни творения прозрачен, прост и ясен.
Свободен от двусмыслиц и притворств;
риторики, двулчья, поз искусных,
излишеств хохота, избытка шумных слёз,
любовий роковых, неискренних сочувствий...
Актёрство невозможно без зеркал —*

*без отражения бессильно лицедейство,
прекрасен ясный миг, безгрешна нагота
и нет злодейства...*

*Калейдоскоп не множит суеты —
толпа не знает зрелищ,
и плоды на яблонях свободно поспевают
и падают в росу земной травы.*

О-кей, "сам гуляю, сам пою, сам билеты продаю". Что там осталось – в сундуках под баобабом? Ящик Пандоры – настежь – так и думала: он полон детских обид и страхов... Стыдно, мне, Хомо неразумной, уж, слава Богу, не мало годов, а всё продолжаю истерику по Цокотухе. О-кей, покаюсь, как будто... Больше не буду, господа, стану паинькой. Думаю, говорю, действую в до мажоре или ля миноре – не важно, какую мелодию сочиню из доставшихся мне нот – пусть это будет гамма одним пальцем, но только, ради Бога, в достойном исполнении.

Книгу "Мастер и Маргарита" мы купили за сорок рублей у соседа – спекулянта. На эти деньги можно было жить неделю до зарплаты, но мы, видно, уже не могли жить без Воланда, и он услышал и надолго вошёл в наши молитвы.

Мы, как раз, только достроили свой Второй Храм на берегу Реки, пережили летний расцвет и начали различать некоторые признаки упадка. Нищету, например, которая обнажилась зимой и которую не прикроешь ситцами, а надо по-осе-

ни строить пальто с воротниками и шапками, шубы с сапогами. А мы все деньги просадили на Храм Речного Приволья и, вот, сирые, пожертвовали и последние сорок рублей...

Ещё одна подробность заключалась в том, что Храм наш разрушался энчанами – потомками ассирийцев и вавилонян с римлянами. Наследственные любители жареной на палках свинины жгли костры, не замечая, как пламя охватывает разнотравье и тает в огне последнее облачко степного ковыля. В отчаянии мы обратились к темным силам...

Соседи по Первому Храму – на улице Красногвардейской – были пьяницами и скандалистами, и я так страстно мечтала о новых – хороших, что в упор не видела истины, размноженной в шести экземплярах под копирку, включая двух злобных жирных псов. Истина враждебно взирала на нас маленькими, погребёнными в плоти зеркалами души из открытой напротив двери. Густо пахло жареным смальцем. "Ах, сколько у вас книг – лепетала я – Как, у вас нет стиральной машины? Ах, ах – возьмите, возьмите, добрые люди, нашу – новую. Чудо, как хороша. Да, и половые дорожки в сальных пятнах и собачьем дерьме тоже, верно, стирает – я не пробовала, правда, мы, простите, не гадим".

Соседи кормились от перепродажи книг, продолжая русскую крепостную традицию *подушных* – налога с ещё живой души в пользу мёртвой. Сэлинджера мы купили за двенадцать рублей, Булгаков шёл дороже Дюма.

Думаю, что я послана на грешную землю по особому тай-

ному заданию, каким-то образом связанному с хомо вавилонско-энской породы. Иначе зачем небесным начальникам так пристально следить за тем, чтобы вокруг меня не было ни души... Не знаю, оправдала ли я космические надежды, но материю на живую нитку, похоже, собрала. – для первой примерки сойдёт, и довольно с меня. Впрочем, есть, кажется, один готовый анекдот...

...Однажды, в пятилетку Второго Храма, к нам пришёл сантехник из ЖЭКа – это такой Хомо, который должен был устранять неполадки империи зла в области канализации. Так я про него и думала, но минуло мне к этому дню уже тридцать годков, и я слышала от других взрослых, что сантехнику нужно на прощанье... налить. Вяло копошились нежизнеспособные мысли о бренном: "Налить... жидкость... два пишем, три в уме..." – багровела и пульсировала, перенапрягаясь, височная жилка...

Сантехник изумлённо попятился, увидев счастливую по-селянку, входящую в метровый клозет с изящным под-носиком в японских золотых рыбках и хрустальной рюмочкой. Хомо из жека автоматически сообразил рукой, мгновенно опрокинув налитое в ротовое отверстие, а потом страшно перекосившись, бросился мимо – в дверь, и исчез из моей жизни навсегда, оставив свою сумку с инструментами. Потом я узнала, что, не разбираясь в мужниных погребах, налила настой чистого спирта на горьком перце...

Должно быть, кому-то этот анекдот может показаться

смешным. Мне даже послышался тогда чей-то хохот. Возможно, это был звёздный час моей ипостаси *кушать подавно* – лебединая проекция моей космической роли... и сгинувший без вещей работник ЖЭКа кубарем ввалился на тот свет – прямо в залу, где закусывают амброзией благодушно аплодирующие профи.

* * *

По осени маленькие энчане поджигали беспомощно высушенные травы, отдавшие свой сок зёрнам в хитроумных колыбелях, которые должны были спасать, но не спасали... Чернели, обугливаясь, распахнутые ладони склонов нашей балки. Живьём сгорали беременные травы, хранящие слово с четвёртого дня творения и пепел стучался в слепые окна многоэтажек. Я плакала и цеплялась за мужа. Горячо и бессвязно молила его совершить шаг... – вон из предающего бытия – довериться полёту... вместе.

А он мрачнел, замыкаясь всё больше, изнуряя себя работой на своём деградирующем заводе. Приходил всё позже, пропадал. В ванной комнате висела его старая оранжевая футболка, и сын мечтательно сказал однажды: "Когда я смотрю на эту футболку, мне кажется, что это папа висит, и мне становится хорошо на душе".

Мы перестали слышать и понимать друг друга без посредников. Лишь отражаясь в одних и тех же зеркалах, могли ви-

деть себя вместе: в потоке второго концерта Рахманинова, на улицах фолкнеровского городка – только бы не потеряться навсегда в безумном мире, сжигающем свои травы...

Тогда, в начале восьмидесятых, я стала делать свой фильм. Время дармовых иллюзий прошло, и я принялась создавать свои – из тела своего, из голоса и рук, из мыслей и душевного недуга... стала Шехерезадой, чувствуя, что жива, пока нравятся мои новые сказки. А не жить мне было нельзя: не быть... "в ответе за тех, кого приручила"...

По вечерам приходила к мальчикам в ситцевом сари с пятнышком на лбу, рассказывала сказки и... прощалось на этот раз. Я говорила: "мотор, снимаем" – и ответственность за всё происходящее, *снималась* с меня. Какая-то женщина с огромными сумками торпедировала автобусы, тащила по зимней слякоти упирающихся детей, стирала, убирала, чертила лабиринты электрических проводов, пропалывала километровые грядки – *это было не со мной* – не могло быть со мной...

И только спустя десять лет, в Иерусалиме, покаялась: "Да, это было со мной. Я прожила жизнь в отражении чужих зеркал и теперь нужно продать то, что осталось, чтобы выкупить себя – сделать это, освободиться хотя бы напоследок – в здравом рассудке и памяти, чтобы суметь хотя бы точку поставить самой».

Точка – знак огромной силы. Она похожа на сжатый ноль, в котором есть начало... Поставленная разумно –

во время и на месте – она может изменить весь текст. Точка может стать поступком, влияющим на судьбы детей.

Опять не знаю, возвращаясь в точку, сжимаюсь в мысль и крошечной звездой затеряно свечу себе самой в незнание безграничном...

Я не могла отказаться от иллюзий сразу – никто не может. Тогда, в Иерусалимском полудне, на перекрёстке Кинг Джорж и Яффо – в точке пересечения Запада и Востока, я остановила мгновение, чтобы начать отсчёт времени – от своей любви. Я знала теперь про иллюзорность своего календаря, и это знание стало моей свободой от чужих зеркал. Но этого было недостаточно – мой остров не был необитаемым, и нужно было понять иллюзию толпы, превратившую её в народ – *израильтян*.

Народ мало был похож на народ. А для толпы выглядел как-то неоднородно и слишком целеустремлённо – люди шли в хорошем темпе, не сталкиваясь и, похоже, не видя друг друга. Казалось, что именно это их и объединяет, и я постаралась дать своему телу цель и ускорение, чтобы тоже ощутить невесомость неизвестной мне стихии.

Лекции по иудаизму и еврейской истории велись в русском культурном центре. Полгода я раз в неделю приходила слушать о невидимом создателе, Ханаане, Торе, царствах, пророках и катастрофах. В то время я зарабатывала, утюжа одежду в религиозных домах, и мои многочасовые упражне-

ния с утюгом имели, благодаря новым знаниям, весьма конкретное место в генеалогии от Адама.

"В середине пятьдесят седьмого столетия рухнула коммунистическая империя, основанная на самой коварной из иллюзий – вере в равенство между людьми, всеобщее счастье и светлое будущее детей. Как и положено в эпоху исторических катаклизмов, началось великое переселение народов... и я – в процессе – у гладильной доски. Моё «Я» определено в пространстве у корзины с рубашками в центре Иерусалима в четырёхтысячном году от исхода Авраама и шести месяцах от собственного исхода из сорокалетнего обмана" – что-то в этом роде.

Хозяева, покупающие меня в рассрочку: Сары, Ривки и Ицхаки – кружились вокруг меня в фантастическом шоу из своих имён, одежд, обрядов, и я понимала, что эти люди пребывают в снах, в которых я кажусь им... *русской гладильщицей белья Таньей.*

Теперь я научилась не замечать календарей. Я говорю: "Слушай, уже две недели он не звонит" – летоисчисление от сына... Все равны перед вечностью – все хотят чуда, вместо того, чтобы просто позвонить и утешить родителей... Что, так сложно подойти к телефону и произнести простенькую молитву, мол, всё хорошо, помню, люблю, верю? Какие, чьи страдания искупят муки ожидания одного слова по телефону? Кому хорош календарь от ужасного мгновения? Что было с Марией у ног распятого сына? Не помните... не знае-

те... – нехорошо, господа супермены... ох, нехорошо в нашем датском семействе.

Я поглядываю на часы в надежде на свои минуты... Император Август, говорят, оттяпал себе лишний день – тридцать первый. Должно быть, был понаглее прочих – как говорили в Энске: "Умел жить".

В шкатулке лежит календарик за девяностый год, похожий на отстрелянную гильзу. Да, ну и времечко было тогда – ужо нагулялось в дикой вольнице, сметая условности и порядки, играя границами и судьбами. Тысячи ошалелых энчан приземлялись с желудками, переполненными дармовыми самолётными обедами, не понимая, что в Иерусалим нужно восходить, оставляя у его подножия старые иллюзии. "Мы, Хомо Сапиенсообразные, с давними традициями несения культуры в массы, будем учить вас жить, а вы помогите нам материально". Впрочем, все хороши – перед вечностью.

Я утюжила рубашки в маленькой, похожей на тупик, комнате. Рядом, в кроватке лежал на животе большой флегматичный младенец. Он, бедняга, утопал в лужице из своей слюнки и тихонько поскуливал от безнадёги. Его мамаша и папаша дрыхли уже третий час, зарывшись в несвежую берлогу, и "от сытости и лени, превозмочь себя не мог", возможно, спросонья зачинали нового младенца: десятого или девятого – не всё ли равно... перед вечностью, истекающей слюнкой...

Семейство жило в лучшем районе Иерусалима – в старой тенистой Рехавии. Теперь здесь еще обретались немногие из оставшихся пионеров-сионистов с квартирующими внуками, но преобладали еврейца из бруклинского филиала местечковой эры. Мой ранний иерусалимский период был с видами на тот же Энск, но в некоем историческом контексте. Со смотровой площадки у утюга было видно откуда бежал мой дедушка Наум и почему он не спас меня от печальных размышлений у гладильной доски.

Хозяйка Сара смотрела сны со своим Хаимом, перевязанным святыми ремешками. Я, жалостливо вздыхая, ставила утюг и вела осушительные работы у молодого сородича по камере. Квартира была в трёхэтажном доме. Вход – в салон с американской кухней, то есть, помещение, объединяющее коридор, гостиную, кухню – короче, полезная площадь, где при случае можно ещё потесниться, чтобы найти местечко... Далее – коридорчики, через которые можно пронести только складные кровати в спальни, в которых матрёшечное семейство собирается в своей наиболее совершенной ипостаси – во сне.

"Сарка – жуткая неряха" – звучал в моей голове припев к философским куплетам. Действительно, то, что я утюжила щербатым «Филипсом» на плешивостях паленой и косо-бокой доски, не имело ни формы, ни цвета – только запах: пахло убожеством души и нищетой мыслей.

Универсальная американская идея совмещения плиты с

телевизором – для Хомо, переваривающего информацию с помощью желудочного сока, материализовалась в праотечестве частично: недоставало, например, светильников на потолке – на шнурах болтались лампочки, вздёрнутые под потолок в чёрных пластиковых патронах. Они безжалостно освещали улепётывающее в иллюзорные норы еврейское местечко.

Наконец, выползла из перин опухшая молодка Сарка и, вытащив из аквариума младенца, загукала на иврите с немецко-английским акцентом: "А где наш папа? Папа-папулечка, где ты? Доброе утро, а вот и мы" – на часах было пять вечера. "Вот это кульбит! Вот так ловко!" – мстительно ухмылялась я в лицо нокаутированной вечности. Папуля, страшно почёсываясь и зевая, вышатывался навстречу заходящему утреннему солнцу. В пролетарской душе честно зарабатывающей на хлеб гладильщицы зрел антисемит. Захлопало, затопало, заголосило, ожили и зажурчали сливные бабки, радуясь новому дню. Семейство засобиралось сумерничать. Извлекались нарезанные батоны и мазались хумусом и джемом. Дети были похожи на советских школьников – из тёмного низа выбивался светлый верх и безнадёжно заправлялся опять. Должно быть, они были обречены на жизнь по звонкам и вечную телефонную верность родительскому окей.

Вечный приют

Приснился сон, будто пришла пора рожать, и я в комнате – тихой, чистой, просторной, с высокими потолками и белыми стенами. Вместе со мной ещё одна женщина, уже родившая ребёнка. Она не молодая и не ухоженная – выдавшая виды, а младенец – чудесный и даже, как будто, светится. Я люблюсь им и верю, что и у меня будет такой же. Собственно, я уже принесла его, и нужно только правильно совершить церемонию рождения. И вот приходит акушерка – милая, добрая, всё понимающая, и мы приступаем... Но тут распаивается дверь и вваливается толпа орущих, ругающихся людей. Они торгуются о чём-то, толкаются, подминают собой всё здесь приготовленное – такое важное... Акушерка исчезает, и я кидаюсь выгонять их. Кричу чужим голосом, делаю свирепое лицо, как дети корчат страшные рожи. Наконец, они обращают на меня внимание, мол, это ещё что? Куражатся, специально разбрасывая моё... Тут я кричу ещё страшней, глядя на себя со стороны с изумлением, и они, похоже, пугаются, отступает, все теснятся в коридор, и тут я теряю своего ребёнка, бросаюсь на них, и главный говорит, мол, ладно, бери – и протягивает мне свёрток...

Потом сон сминается в другой, и в нём я – на крыше высокого дома. Площадка крыши – метровый квадрат, и дом качается, как стебель на ветру, и я знаю, что спасение – в

полёте. Знаю, что умею летать, и нужно только вспомнить, сосредоточиться и не бояться, как в воде... Я отталкиваюсь от крыши и опираюсь на волну воздуха. Она не так ощутима, как вода, но я чувствую её, и это чувство – единственное, что держит меня высоко вверх. Я, как будто, слышу воздух, страх проходит совсем, и я, вначале неловко, а затем всё уверенней управляю полётом, стремясь подальше от людных мест. Светает, я покидаю город и спускаюсь к лесу, который кажется мне большим и дремучим...

Необитаемый, почти круглый песочный островок в обрамлении серебряного свечения ив, лунного даже под полуденным солнцем, возник *вопреки*, как и всё хорошее в прежней моей жизни. Добираться нужно было двумя автобусами. Первый долго полз между бесконечными пыльными заборами заводов к центру, где асфальт дымился с утра, а навстречу ему дымилось рыжее металлургическое небо. Второй был *ведомственный*, то есть, не для нас (обычные автобусы ходили только на городской пляж – металлургический). Мы откровенно просачивались внутрь и усаживались пирамидкой даже если рядом были свободные места, и я сосредотачивалась на обмане в случае облавы: «Мойсупругизведомства». Дети сидели на мне тихо-тихо, под ногами съежилась сумка с черешней. Но вот, автобус закрывал двери и трогался, пирамидка на коленях тепло тяжелела, две доморощено стриженные головы довольно утыкались носами в стекло, и я привычно пробиралась подо лбами рукой, чтобы не бились на

ухабах.

В будние дни на нашем пляжике было безлюдно. У него была сложная география: в центре дюны рос букет высоких трав, с одной стороны в реку уходила золотая песчаная коса, а за ней был глубокий залив, и там, в естественной гавани, мы строили укрепления и помещали свой флот.

Однажды мы купили резиновую лодку. Это был второй личный транспорт, после санок. Мы надули лодку посередине комнаты, я уселась в неё с детьми, взяла вёсла и помахала сидящему на диване мужу. Мы распевали неаполитанскую песню про лёгкую лодку с большими вёслами, за окном падал снег. Летом наша лодка была спущена на воду, и речное зазеркалье стало ещё прекрасней. Мы проникали в глубину плавней, в лабиринт речных протоков – влажных туннелей, сплетённых из зелёных лиан и птичьих криков. По воде плыли лилии, мы висели между отражениями воды и неба, теряя грань между воздухом, водой – становясь одним, чувствуя невесомость, мудрея пониманием полёта, умением отдаваться миру так, чтобы он... принимал.

Милосердие – единственное, что поддерживает в жизни, когда нет опоры для ног, и шаг в никуда неизбежен; когда изверилась, и не на что надеяться, когда жалость к себе становится сильнее, чем к тому, кого любишь, я покидаю прежнее бытие и доверяюсь милосердию невесомости. Спускаю поводья и иду ли, лечу... или замираю без движения, прислушиваясь к слову.

И оно возникает в сознании, увлекая к счастливым мгновениям, которые сумела осознать однажды – когда не наблюдала часов, не замечала хода времени, и оно сливалось в единый миг, объединённый мною, биением моего сердца, ходом моих мыслей, попавшими в такт жизни вселенной. На острове своего прекрасного мгновения я нахожу пристанище, отдых и силы, чтобы продолжать жить и понимать. Когда остров становится много, то возникают материки и океаны – становится видна моя планета, летящая среди иных.

Должно быть, у каждого есть свой сундучок счастливых воспоминаний и свой "Ящик Пандоры", где хранятся жуткие привидения. Теперь, когда мой марафон позади, когда за окном моей комнаты всё та же сосна, пытаюсь... убрать свою планету, протереть влажной тряпочкой свой баобаб, перетрясти сундуки, данные мне в наследство и те, что набила сама доверху кое-как – в спешке марафона. Не хочу завещать своё добро... и зло... неприбранным, сваленным в кучу, как получила сама, и как получили мои мама, папа и мои близкие, пережившие катастрофу забвения.

Должно быть, чтобы разминуться с иными судьбами, не умножив зла, не достаточно просто перестать звонить или приходить на могилу. Должно быть, нужно понять границы своей судьбы, чтобы суметь хотя бы сторониться, не вовлекая других в беспредел своих переживаний и не позволяя безответственно увлечь себя из своей судьбы. Так я понимаю "не убий" – в осознании себя – своей природы и судьбы,

когда физическая жизнь – только частность, не исчерпывающая целого – с его баобабом и сундуками – планеты, летящей среди иных.

* * *

Мы сидели по горло в воде под перевёрнутой лодкой, устроив себе волшебный грот, из которого можно было вынырнуть под ослепительное солнце, а можно было вернуться в зелёный сумрак и прохладу зазеркалья. Поднырнуть и восхищённо распахнуть глаза, обращённые друг к другу в общем понимании. Мы были счастливы тогда вместе.

Прошло много лет и много мучительных недоразумений, когда мы надолго переставали понимать друг друга, но островок, где мы были счастливы, остался. Теперь это наш *вечный приют*, куда можно прийти врозь или даже всем вместе и отдохнуть от одиночества, неизбежного для осознающих себя. Вечный приют... – без Воланда, созданный нами, материализованная иллюзия, наше творение, когда, быть может, мы сумели ощутить Божий замысел.

* * *

Впервые прочесть роман Булгакова удалось, когда мне было почти тридцать. Прежде перепадали лишь какие-то са-

модельно отпечатанные отрывки вперемешку с невнятными слухами. Тогда мы читали Фолкнера, Воннегута – всё, что печаталось в журнале "Иностранная литература", который переплетали, превращая в домашнюю библиотеку. Из «иностранки» узнавали фамилии, как-то пытались искать литературу, плохо понимая, что руководит нами – просто потому, что иначе "не может быть никогда".

Книжные страсти в начале восьмидесятых достигли своей кульминации. Художественная литература резко подорожала и исчезла с прилавков. Единственным источником стали спекулянты и «макулатура», то есть ненужная бумага (20 кг) менялась на талон в специальных пунктах, и по этому талону можно было купить определённую книгу. Страну охватила макулатурная лихорадка. Всё катилось к чёрту, а народ азартно охотился за талонами, пересчитывался в очередях, перетаскивал на себе кипы бумаги, безропотно принимая всё более изошрённый информационный беспредел. Помню, у четырёхтомника Джека Лондона было два вида обложки: серая и голубая. Возможность выбора множила страсти, которым взрослые и очень занятые люди, обременённые множеством проблем, отдавались куда полнее, чем их дети, собирающие «плиточки» – керамические квадратики, которыми облицовывали дома – тогдашние заменители фантиков. В особой цене были книги Дюма и плиточки глубокого фиолетового тона.

В то время я работала в электроотделе «Гипрометаллург».

Нас было около двадцати женщин и начальник – подлец Серёня – врождённый предатель, трус и профессиональная шестёрка. В молодости он на чем-то играл, но не удержался в музыкантах, и какой-то дядя пристроил его сутенёром к инженершам. В электричестве он ничего не понимал и просто валялся на столе, подрёмывая и покрикивая что-то вроде "пошевеливайся".

Подружка, бывшая соученица по институту, что привела меня устраиваться на работу, сделав круглые глаза в сторону Серёни, шепнула: "Это наше г-но". И новые мои коллеги, соседки по кульманам справа и слева, тоже, представившись, каждая, с видимым удовольствием, представила и начальника: "А это наше г-но." И я, придя домой и рассказывая о своих первых впечатлениях, в нужном месте сделала круглые глаза и сказала со значением: "А начальник там – г-но." – выговорив новое в моём лексиконе слово с запинкой, как выговариваю и по сей день...

Я влюбилась в это слово. Оно несло правду жизни и позволяло не входить в подробности неразрешимых обстоятельств. Оно заменяло собой недостижимый этический пилотаж о добре и зле. Было понятно, что серёни – г-но, а несерёни – наоборот, и то, что делают серёни – зло, а несерёни – добро, и с этим можно жить, то есть, работать в «гипрометаллургах», бегать по магазинам и отдаваться макулатурным страстям. Тогда, нокаутированная обстоятельствами, я обрела свой первый спасительный этический компромисс. Ро-

дившись с неким психическим отклонением, я, например, не переношу матерщину. Так, о существовании феномена мата лет до двадцати просто не подозревала. Видимо, избирательность моего слуха и, вообще, восприятия мира была врожденно бескомпромиссной, и любезный моему сердцу и разуму компромисс благоприобретён в мучениях и потому претендую на взаимность, что опять ведёт к одиночеству...

Так вот, я долго просто не слышала мата. Однажды мы устроились с подружкой на берегу речки Московки в Дубовой роще, когда к нам подплыла лодка с двумя мужиками, и они позвали покататься. Мы с Ленкой были глупы и склонны к авантюрам, но, слава богу, всё же отказались. Мужики продолжали что-то говорить, и я, не поняв, вежливо переспросила и опять, растерянно улыбаясь, сказала: "Простите, я не поняла, что вы сказали?" Мужики отчалили, Ленка с интересом смотрела на меня: "Ты чего тут изображала?". А потом, войдя в свою самую ехидную ипостась, загадочно сообщила, что дяди говорили очень плохие слова, которые нельзя повторять воспитанным барышням.

Короче, тогда, в свою эпоху нонконформизма, я возненавидела мат. Я была неспособна к нему органически, что не позволяло даже мимикрировать для общей пользы. Я никогда никому не делала замечаний, даже улыбалась, но при мне слова теряли свою лихость, в компании возникала неловкость – я удалялась, и меня не удерживали. Однажды, мучаясь своей чужестью, попыталась прорваться "в свои". Разо-

гнавшись на "а вот у нас тут" начала, было, анекдот, где было нечто матообразное, но запнулась о физиономии слушателей, вытянутые в отраженном страдании, и смялась в неловкость. Жертвоприношение не состоялось, слава богу, и из этого «не», возможно, проклюнулась в дремучем моём сознании потребность компромисса, основанного не только на ногах.

Моя чуждость была столь естественна, что иногда даже не вызывала протеста, как это бывает в отношении с иностранцами, по понятным причинам не знакомыми с местными обычаями. В середине восьмидесятых я три года преподавала в ПТУ, и тамошние ученики, не знавшие иного языка, кроме мата, приспособились объясняться со мной «по книжному», и, пожалуй, это было моим единственным социальным достижением того времени. Впрочем, возможно, компромисс возник из моей общности с пэтэушниками: и я, и они – были маугли советских джунглей, но это иной рассказ.

Врождённое хамонеприятие, видимо, наследственное, должно быть, некий иммунитет психики. Никогда не матерился папа, а ведь он прожил свою молодость в самую трагическую четверть нашего жуткого века. Юношей учился в Ростове, зарабатывая на жизнь игрой на скрипке. Был он музыкант – самоучка, играл на всех доступных ему инструментах: пианино, скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре. Увлекался боксом и умел драться. Говорят, был душой компании и пользовался успехом у женщин. Однажды, в молодости,

чуть было не женился. Вернее, даже женился, но сбежал со свадебного стола, обидевшись на что-то, оскорбившее его, и больше не вернулся. В тридцать три года ушёл на фронт. Всю войну был сапёром в боевых войсках, остался жив, дослужился до капитана. Из Германии вернулся в сорок седьмом и привёз пианино.

Ребёнком я слышала, как он играл. На пианино – громко и весело, а на скрипке – печально и страстно, закрыв глаза на скорбном лице. Он совсем не умел врать – его сразу выдавала детская извиняющаяся улыбка. Был страшно обидчив, очень страдал от антисемитизма, не умел приседать перед начальниками и делать карьеру. Помню, что ночами он стоял, склонившись над чертёжной доской, двигая рейсшиной. Это была «халтура» – "левая работа", которую брал домой, пытаюсь заработать, но его часто обманывали, и мама не прощала – у неё был большой заработок и беспредельные амбиции. Папу она считала упрямым эгоистом и энергично перевоспитывала до самой его смерти – одинокой и мучительной.

Папа сломался задолго до того, как мы могли бы познакомиться – мы разминулись. Теперь мы с папой сверстники, а тогда ему было сорок пять, мне – пять, и не было милосердия. Пытаюсь понять теперь, как выглядела папина планета. Наверное, там было множество замечательных вещей, лежавших небрежной яркой грудой: «Чардаш» Монти, трофейное пианино с бронзовыми подсвечниками, вкуснейшие горячие пирожки с горохом из ростовского НЭПа, моя ба-

бушка Галя, похожая на Жанну Самари, и, может быть, я? Был ли у нас с ним вечный приют? Нужно вспомнить – воссоздать, иначе, угодим в Пандоров Ящик – тоже вечный, в который уносит в несчастливые мгновения душевной слабости. У меня есть из чего воссоздавать – папа оставил мне стихотворение, написанное им в войну:

*"Ночь без сна, часы раздумья вяло, медленно текут.
Тяжело оковы жизни души пылкую гнетут. Вверх
посмотришь – тихо, ясно звёзды блещут, вдаль маня
– там тревога есть и радость – грязь и горе вокруг
меня... Если б воля, если б крылья... но напрасно – тьма
кругом. И для сердца утешенье остаётся только в том,
что, быть может, в это время с той звезды, что так
блестит, пылкий юноша – мечтатель в глубь эфирную
глядит, и ему наш мир убогий, этот грязный ком земли
тоже кажется светилом – блещет звёздочка вдали..."*

* * *

...Макулатуру, в институте «Гипрометаллург», мы прятали у себя под столом, а начальница с подружками – в раздевалке за занавеской. Институт был большой, макулатурной интеллигенции было много, и раз в месяц грузовик из утильсырья приезжал к нам. Никто не знал, когда они приедут, и все опасались, что это произойдёт в их отсутствие. Потому у нас была круговая порука и сотоварищества на предмет "я

сдам – за тебя, а ты – за меня". Периодически возникали макулатурные облавы "по причине повышения пожароопасности помещения". Тут, как раз, был незаменим наш гов. Серёня. Он оживал из-за стола, словно слышал трубы последнего суда, и лазал под нашими ногами, уличая и обличая. Невинными оказывались всегда только начальницы с подружками, потому что их добро-то, если помните, – за занавеской.

Слева от меня за кульманом трудилась Фаина. Это была полная крашенная блондинка, лет пятидесяти, с внешностью и манерами еврейки из анекдота – добродушная «несерёня». Как-то во время занятий по гражданской обороне нам веле-но было натянуть противогазы и простоять в них несколько минут. Мы уныло стояли вокруг стола начальника и смотре-ли, как Фаина выделывает какие-то странные па, а затем ру-шится на пол. Оказывается, она не открыла клапан подачи воздуха, на который и не претендовала, полагая, что проти-вогаз – это устройство, чтобы не дышать. Фаина терпела от-пущенные ей богом бездыханные секунды, как и положено советской инженерше, достойной стать эталоном доверия и терпения в одну *Фаину*. У неё был устроенный быт и краси-вые книги, которые она любила платонически. Я подарила ей стишок: "О, прекрасная Фаина, ну зачем я не мужчина – я б роскошно издалась, Вам навек бы отдалась".

Справа от меня сидела «Мушка» – Олечка Мухина – ми-лый и безответный человек. Она всё никак не могла устроить свою судьбу, выйти замуж. Её всё время обманывали, и она

или не замечала, или легко прощала, сама отыскивая мотивы, извиняющие её обидчика: почему и как он *бедненький*. Даже "наше г-но" выходило у неё бедненьким. Однажды я стала доверенной одного её романа, обещавшего так много и закончившегося разочарованием. Молодой человек был красивым, порядочным, вежливым, Мушка светилась и летала. Но потом возникло всё усиливающееся недоумение – он "не приставал". Мушка устраивала уединение и полусвет с музыкой, но он оставался красивым и вежливым. Я по заданию Мушки проштудировала главу «импотенция» в Советской энциклопедии, и мы обсудили план генерального соблазнения. Мушка забрала из "чёрной кассы" свой пай и купила французские духи "Мисс Диор" на все двадцать рублей, но порядочный не дрогнул. Мы приуныли, изверились и решили расстаться, чтобы не метать зря французский бисер перед... единицей в одну *порядочность*.

* * *

Советская трагикомедия летела к своему естественному финалу: макулатурное ружьё готовилось к выстрелу. Цивилизованный мир мыслил в компьютерном ритме, а мы строили муравьиную кучу, самозабвенно неся себя во вселенский утиль. Я стояла на автобусной остановке, окоченевшими пальцами впиваясь в сумки со старыми газетами, и взвешивала свои шансы попасть в очередной автобус. Без сумок

шансы были, с сумками – нет. Попыталась, было, улизнуть на съёмки фильма, но "не верила" – не верила, подобно великому режиссеру: всё было преувеличенно не смешно, не грустно, а просто безобразно – в миллионы серёнь... Ничего не связывалось – ну на что мне "Тёмные аллеи" Бунина, добытые так, когда я – сама – не женщина, а муравей с бумажкой... Я поставила сумки на тротуар и ушла домой. С этой минуты режиссерское вдохновение покинуло меня – иллюзии более не спасали, Энск стоял насмерть, и эмиграция была предопределена.

Живые души

Я всё не могу нарадоваться, что у меня есть своя комната. Острота владения не притупляется, а, напротив, растёт. Так бывает, должно быть, с каждым настоящим чувством, которое с годами становится только богаче. Моя комната не лжёт, не предаёт. В её периметре я чувствую себя надёжно. Я так долго мечтала о ней. Знаю, что есть люди, которые не выносят одиночества и тишины – не умеют оставаться наедине с собой. Возвращаясь из толпы домой, первым делом включают телевизор, звонят по телефону. Для них "на миру и смерть красна". Дома они «опускаются», а "на люди" выходят в полном блеске.

Думаю, внутренний и внешний миры у каждого человека – нечто, вроде сообщающихся сосудов, и жизнь заполняет один, когда скудеет в другом. Кто, каким образом подвесил эти сосуды, и что движет ими? Не знаю. Я представляю их чашами весов, похожих на те, что у Богини правосудия. Возможно, есть закон, который человек преступает в каждое время своей жизни, приводя в движение эти чаши. В своей комнате я живу так свободно, легко и просто, что чувствую *уравновешенность*. Окошко – продолжение моих глаз, и за ним сосна, глиняный кувшин с розой и деревянная балка веранды. Стол, компьютер, книги, кувшин с букетом ромашек, картинки на стенах, что нарисовала сама – всё возникло во

времена уравниваемости, когда исчезали границы миров, и душа была доверчива как ребёнок, защищена родными стенами и гуляла на свободе сама по себе, трогая вещи и наполняя собой всё вокруг.

Думаю, что человек всё время воспроизводит себя, но, в зависимости от обстоятельств, его ипостаси выходят либо прекрасными, либо уродливыми. Должно быть, мудрость в том, чтобы как-то научиться выбирать обстоятельства, потому что выбрать «я» он не властен. Теперь моя комната – обстоятельство места, где не однажды отдыхала душой – мой вечный приют, как речной пляжик и детская, где рассказывала сказки детям. "Быть или не быть?" – спрашиваю я себя каждое утро – быть... моей комнате, сосне за окном, пониманию данности и компромиссу, достаточному, чтобы заплатить за съём экологической ниши с видом на "покой и волю" ... мне довольно... Истина в том, что не хочу птичьего счастья и, вообще, ничего чужого. Я люблю свою сосну – она для меня так же хороша как Ниагарский водопад – перед вечностью...

Иногда мне не хватает общения; хочется поделиться мыслью или минутой. Но теперь я знаю, что для меня это роскошь, без которого вполне могу обходиться, как давно научилась обходиться без сахара в чае. Спрашивают: "Не любите сладкое?" – Да нет, люблю, но могу обойтись: «есть хочется, худеть хочется»... общения хочется, двумыслия не хочется...

Впрочем, слава богу, о каком недостатке общения можно тосковать теперь, когда оно разлито в воздухе, и слово материализуется чудесным образом, в сравнении с которым скрижали Моисея и тень отца Гамлета – детские игрушки. Я имею в виду ТВ, компьютеры и прочие электронные штуки, которые создают невиданную прежде информационную свободу, когда библейские яблоки протянуты из вечности каждому человеку, и *есть или не есть – быть или не быть* – решать самому в каждое время своей жизни.

Напрасен спор – кто прав, кто виноват – закон мы постигаем до рожденья. Затем забыть его дано и в муках осознавать, как будто, вопреки. Как в страшном сне, отчаянно спасаясь, стучим в ворота памяти и криком взрываем вечность: "Быть или не быть?" Не быть... вернуться... Лету переплыть... забыть в созерцании законов бессильных...

* * *

Впервые слово «информация» возникло в моём лексиконе в одном из самых безысходных тупиков Энска. Это была середина восьмидесятых. Мы тогда переехали на улицу Кремлёвская, пережили кошмар ремонта, и я на остатках энтузиазма повезла детей в Москву, чтобы... припасть... к чему-то, что должно было дать... нечто... чего не хватало, как будто...

В Москву! Мы вышли на Красную площадь и одиннадцатилетний сын ворчливо сказал: "Ну, и что? Это и есть твоя Красная Площадь?" Затем братья-нигилисты углубились в извлечение гвоздя, застрявшего между камнями мостовой. Кремль был похож на открытку и казался не настоящим. К мавзолею стояла длинная очередь. Привычные к стоянию в затылок дети потянули меня к хвосту, и тут я прорекла нечто, ради чего, может быть, и принесло нас к святым советским местам: "Нет, дети, мы не пойдём туда. *Это* – великий грех, и нам нельзя". Согласитесь, не так уж плохо – для начала...

Потом мы купили в фирменном немецком магазине люстру с густо красными плафонами за тридцать пять рублей и торт "Птичье молоко" за четыре двадцать. Дома оказалось, что кто-то уже успел съесть половину нашего торта, а люстру мы повесили, и по вечерам в нашем окне плотоядно светились три красных фонаря. Эффект ирреальности Красной Площади стал повторяться с мучающей меня настойчивостью, как будто сути вещей покидали свои земные воплощения и жили сами по себе, дразнясь и высмеивая брошенные чучела.

В то время я ненадолго возникла в шарашке очередного «ВНИИ». Это был метастаз, в котором нашли, казалось, вечный приют несколько жён партийных и комсомольских работников, пара функционеров в отставке, несколько случайных шестёрок и несгибаемая мать-одиночка. "От Москвы до

самых до окраин, с южных гор до северных морей" – ехали и летели Хомо командировочные к нам за ехали и летели Хомо командировочные к нам за подписями. Везли бутылки коньяка и коробки шоколада, стояли в коридорах и скреблись в дверь. Куражился начальник – вселенское Хамо, коллектив изображал деловитость и бдительность.

Кажется, неблагоприятная тема описывать теперь, после всего, советскую бытовуху – так много об этом сказано-пересказано. Так бывает, когда меняют старые деньги на новые. Старых монет так много, что выбрасываешь их, и кажется, что никогда они не исчезнут, но потом, глядишь – уже нет... и жаль, что не припрятал вовремя, чтобы сохранить старинную денежку.

По причине явной профнепригодности мне дали чёрную работу – толстые пыльные папки, которые я должна была листать и отмечать: то есть листнула – пометила и так далее. Я должна была создавать присутствие, движение и звуки, убеждающие ходяков в их ничтожности перед нашей всесоюзной миссией. Сплочённый коллектив ВНИИ мутировал на моих глазах. Мерещилась группа СС, загоняющая командировочных в газовые камеры и подглядывающая в глазок. Я листала всё хуже, пока не отправили меня в ссылку – разнорабочей на долгострой при институте – многоэтажный бетонный скелет, в котором, для придания ему признаков жизни, копошились несколько тянущих срок «химиков», да пяток ссыльных инженеров. К моему счастью, место это было

близко от дома. Я могла продефилировать – туда-сюда – с парочкой кирпичей в руках, покрутиться у месилки с бетоном, а затем, огородами, домой – к хозяйству и беспризорным детям. За свободу платила своей бригаде домашними бутербродами, и так протянула еще пару месяцев недоразумения своей жизни.

Всё рушилось, распадалось, и я чувствовала, что нечто злое происходит со мной и миром, догадывалась, что нет и не было не только *Мухи-цокотухи*, но и *берёзовых ситцев*, *докторов Айболитов*, *лихих зимних троек* – вовсе нету... или только для меня? Вокруг всё враждебно и ненадёжно – всем? – или только мне? Зачем... живём так... странно... никчемно... нездорово? Мир был похож на собаку Павлова, которая выделяет желудочный сок по звонку. Люди с отвращением шли на постылую работу, ждали звонка, а затем с тоской возвращались домой – к неразрешимым семейным проблемам. Жизнь была лишена смысла, живого наполнения, внутренней силы и держалась на ритме: звонках, обрывках оптимистических песен, бое курантов, тиканье часов. Я всё чаще выпадала из ритма, все вокруг казалось мне фальшивым, и я сама несла чушь, чувствовала это и страдала.

В ту весну в Литературной газете появилась статья знаменитого режиссёра об экономике в театре, и я, прочитав, прошептала: "Это революция". Скоро взорвался реактор Чернобыля. В список дефицита прибавился йод. Фильм больше не снимался, макулатура не сдавалась, и даже святое святых

каждой советской женщины тоже не вдохновляло – не консервировалось! (Кто не знает, это – занятие каждой порядочной советской семьи: летом и осенью превращать свою квартиру в небольшой консервный цех и проводить в нем вечера и выходные дни.)

Я стремительно теряла порядочность. Трудовая книжка пухла от записей. Работники отделов кадров суровели, и меня начали гипнотизировать развешенные на тамошних стенах плакаты с изображением противных крылатых человечков с подписями "Позор летунам". Я понимала, что это, и вправду, обо мне и радовалась, что хотя бы никто не знает о ночных полётах.

Мои претензии к работе формулировались, как мне казалось, всё проще: "Немного здравого смысла и чтобы начальник – не хам" Но, разумеется, я ошибалась принципиально и желала того, чего не было в советской природе. Я всё ещё верила, что мне просто не везёт – невезуха такая обвальная. Ведь я... такая хорошая в общем-то: сообразительная, исполнительная, вежливая – просто недоразумение какое-то. О-хо-хо, грехи наши... Я безнадежно выпадала из сплочённых рядов, пока не занесло меня в последнюю по списку тамошнюю иллюзию, за которую зацепилась, как за гвоздь в заборе.

Кампания по поголовной компьютеризации докатилась до Энска. Никто ничего не знал, но аппарат уже заработал. В школах появились уроки информатики, и понадобились

учителя, которых набирали из преподавателей математики и инженеров. Появились вакансии, и я, наконец-то, сумела соответствовать главному требованию образовательного шоу – я ничего не смыслила в этой области и была полна энтузиазма, замешанного на неосознанном отчаянии – адская смесь, необходимая для революционеров, преподавателей ПТУ и прочих смертников. Меня взяли в последний круг родного ада, не подозревая, конечно, что я – Хомо сомневающееся, а значит еще живое и тем чрезвычайно вредное для советской системы образования. Действие моей трагикомедии с информатикой разворачивалось, как и всё, что припасено в моей судьбе – под куполом и без сетки.

Слово «информатика» звучит по отношению к своему смыслу – информация, подобно тому, как «иудаика» – к иудаизму. И в первом, и во втором случае, уводит Хомо доверчивого от сути явления. Потом, в Израиле, я прослеживала эффект подмены живой культуры иудаизма, мёртвым культом иудаики. Гениальное явление растворяется в собственной тени, где люди могут «не быть и видеть сны».

В середине восьмидесятых на шестой части суши из братских могил была извлечена кибернетика и сооружен Франкенштейн на устрашение всем, кто готов был предать сложение в столбик. Каюсь, я усиленно участвовала в этой затее и благодарю Бога, что это была всего лишь компьютеризация, а не коллективизация, например, и мой энтузиазм реализовался без чернухи. Мой пэтэушный роман развивался, как

у Мушки: от летания, свечения и генеральной битвы – до глубокого разочарования в потенциях объекта – информационного кладбища, на котором довелось родиться. Но суть открывающегося мне явления – слова, которое было в начале... длящегося во время моей жизни... потрясло. Конечно, от трагической наивности, в которой пребывала тогда, и до этой фразы – многолетний изнурительный марафон, как это бывает с теми, у кого нет своей комнаты...

Говорят, что страдания как-то особенно проясняют мысли. Не знаю, не уверена... скорее, они прочищают мозги, а это не одно и то же. Думаю, на этой грани жизненно необходима своя комната с закрывающейся дверью...

Слово застало меня врасплох – в глубине жизни, когда не выбраться, не переждать, и нужно продолжать тащить воз своего семейного подвига и образовываться, как Бог даст. Я пыталась вести себя разумно, но была мучительно несвободна... Ребёнком я думала, что ветер оттого, что листья качаются: в начале – один, от него – другой, и вот уже всё дерево, и то, что рядом; а затем уж и весь лес шумит. Приблизительно так же советские люди воспринимали «перестройку»: царь раскачал лодку, зашумело море и пошли клочки по закоулочкам. Вот и теперь, спустя годы, я слышу всё те же сказания о Гильгамеше.

Прочла однажды, что ещё в древней Греции некий интеллектуал, рассчитывая условия существования полиса, доказывал необходимость присутствия в обществе живых душ –

тех, кто осознает Жизнь, без чего никому не выжить. Живые души спасут, если их не станут губить с особым усердием. Но их губят с неумолимостью капающего по звонку желудочного сока, обрекая на крестную муку осознания безумия.

* * *

Самое выразительное объяснение «перестройке» я услышала на открытом (обязательном для всех) партийном собрании ПТУ. Заместитель парторга, подполковник в отставке, преподававший гражданскую оборону, вышел к доске и попытался воспроизвести голосом и мелом то, что велено было ему полковниками. Видимо, он надеялся на авось, не понимая, чего от него хотят, чтобы он изобразил тут, про...

Подполковничья плоть рвалась, натягивая пуговицы, из формы – на свободу – к запотевшей бутылочке водочки, хлебushку с салом, лучком и огурчиком. Тучный седой мужчина в погонах со звёздами висел в позе «вольно», водил в воздухе слабой рукой, беззвучно разевал рот, загнанно глядя на тихо веселящуюся аудиторию поверженными глазами вечного двоечника, ждущего звонка. И вот, я думаю, а если бы, каким-то волшебным образом, этот подполковник вдруг... стал бы человеком – осознал себя? Увидел бы своё существо и смог узнать себя? Что сумел бы он изменить теперь? Может быть, пошёл бы странником по миру, впервые доверчиво рассматривая творение божье, страдая и радуясь, и стал

бы похож на старого человека с непросто сложившейся судьбой?

Мне противна идея последнего суда – кого судить? Подполковников с полковниками, всё счастье которых в непонимании своего несчастья? Энчан, подобно кукушатам, выбрасывающим из гнёзд все, к чему прикасается их бессмысленно протестующая плоть?

Конечно, я не думала так тогда. Так размышляет моя благополучная ипостась, расположившись в белом пластиковом кресле на веранде у кувшина с розой. А тогда... мысли были похожи на чувства и не воплощались в образы и слова, из которых возникает понимание, как из островов самодостаточности возникает планета. Я хорошо помню себя тогда, живущей в хаосе неосознания, когда опорой может быть лишь мир предметов, и любая вещь владеет тобой: грязные парты, наглые выходки, шушуканье за спиной... Царь Соломон сказал: "Много знаний – много печали". Хорошо, я согласна.

Толпа

Происходит великая путаница понятий, смыслов: вавилонское столпотворение, и мы – в процессе. Так, должно быть, бывает всегда, когда рушатся безумные супербашни.

Сколько замечательных домов могли построить на берегах Тигра и Евфрата, в плодоносящей долине. С верандами и красными черепичными крышами, утопающими в садах и ленивом плеске равнинных рек. В долине самодостаточности, где было всё для счастливого человеческого детства: добрая зеленоватая река, песочные острова в окружении серебристых ив, лунных даже под блеском полуденного солнца. Можно было украшать дома пёстрым перламутром, расписывать глиняные таблички простодушными буквами: Д – дом, О – солнце. Буквы – птицы, буквы – деревья, буквы – впечатления, из которых возникали слова, наполненные ясным смыслом и тексты материализующегося в письменах сознания.

Должно быть, когда рушились стены Башни, и дождь хлестал по щекам, мешая забыться, люди кричали друг другу что-то очень важное и думали, что это вой ветра мешает им услышать и понять друг друга. Но потом, когда буря улеглась, успокоилось небо, настала полуденная тишина, и в ней возникли знакомые голоса. Вначале это был плач и причитания из стонущих гласных, затем все горячо заговорили, и

воздух наполнился криками птичьей стаи. Испуганные люди трясли друг друга за плечи, впивались глазами в глаза и кричали, не понимая друг друга, одно и то же: "Господи, неужели это случилось со мной?!" Наступили времена катастрофы – забвения слова, которое было в начале.

Бедный Хомо, это случилось с тобой. Именно с тобой, а не со всеми. Нету «мы» – давным-давно рухнуло – и в Вавилоне, и в Энске, а ты и не заметил, что живёшь среди обломков: один-одинёшенек. Раньше случалось с ними – там, в предалёкой Месопотамии. А теперь – с тобой, говорящем на беспечальном языке перепутанных понятий, смыслов, когда слово может быть никогда не услышано в суете выживания.

– "Позвольте, как же это? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль какой-то бутафорской вещи! Не понимаю..."

– Увы, Антон Павлович, я понимаю. Да, именно так. Окей, всё понимаю: связала причины со следствиями – всё замечательно сходится. Полная победа ума и ясность превосходная... Превосходность ясности... над чем? Что дальше? Достигла высот необыкновенных: покаялась, почистила зубы, помыла полы. Что мне за это будет?

– Ничего

– Позвольте, как же это?

Этот гриб в прелестной шляпке есть нельзя. Я не сказала уничтожить – он прекрасен – совершенство в своём роде, но не ешь – ты не осилишь. Твой желудок

слишком нежен, и менять его не стоит из-за этого гриба. И заметь, я не сказала: "Сволочь – гриб" – я не судила. "Не суди, судим не будешь"... Впрочем, если хочешь – ешь.

*** * ***

Всё лето я готовилась читать лекции о компьютерах и обо всём, что с ними связано. Это была совершенно безумная затея – очередная вавилонская башня. Но, странным образом, мне дорога тогдашняя иллюзия, вернее, фантастический опыт мучительного отказа от прекрасной идеи сеять «разумное, доброе, вечное».

Мой фильм, должно быть, вырвался на волю – на сцену, к зрителям, к свисту и топанию ногами. Что-то произошло с сообщающимися сосудами: разбилось сердце или лопнуло терпение. Может быть, моя планета вошла в область метеоритов или пережила извержение вулкана... мне пришлось надолго покинуть её.

И вот, совсем недавно стихия утомилась... и я, после долгого мучительного марафона, в своей комнате, у окна, за которым видна сосна, и дальше, у забора, на границе с пустыней, два старых эвкалипта...

*Избавиться от мыслей я пытаюсь сонетом.
Вернуться в сад, без знания добра и зла – об этом все мысли. Замкнулся круг – и вечной чередой движенье*

лиц, рук...

Пэтэушники официально обретались на дне системы советского образования. Но в иных системах, например, в солнечной, занимали иное место – под солнцем – и мне каким-то мистическим образом удавалось быть... относительно – понимаете? Я в упор не видела советской башни вместе с её сияющей вершиной. А люди... казались мне людьми, словно и не карабкались вверх вопреки земному притяжению. И Марк Крысобой... тоже... казался мне добрым человеком. Идея равенства тогда трансформировалась в моём сознании буквально – на уровне "сравнительного образа". Любого Хомо я сравнивала с собой и Таней Лариной, и, обращаясь к среднеарифметическому в ожидании взаимности, мастерила бутафорские диалоги...

Заметьте, как независимы от прилагательных некоторые существительные – такие, как *земля, дерево, дом, человек*. Эти слова хранят изначальные сущности и своей мелодией, начертанием, неожиданными однокоренными связями молят об осознании заключенных в них смыслах. «Училище» звучит, как «чистилище» – воплощение идеи принуждения. Теперь, спустя годы неполучения зарплаты, выпускники училищ продолжают отлынивать от жизни. Они прячутся по притонам и стоят на панелях, настойчиво отдаваясь произволу.

Главной наукой в училище было преодоление природного отвращения к насилию. Тамшний преподавательский со-

став мастерски прочищал мозги и вытряхивал души, разделяя литературу на сравнительные образы, а историю – на пятилетки.

У меня обманчивая внешность божьего одуванчика. На базаре торговли уверенно кладут мне на весы самые скверные картошки – быстро-быстро. И не сразу замечают, что и я так же – быстро-быстро – выкладываю их обратно и заменяю хорошими. В результате этого стремительного блица уношу домой два кило вполне съедобного компромисса.

Но училище – место, где компромисс невозможен, и спаси боже от длительных партий – в затяжном обмороке душа гибнет, бросая своё тело на произвол чьих-то пошлых башен, и возникает системная плоть, воспроизводящая саму себя.

Не знаю, кому на Руси жить хорошо? Может быть, жителям Арбата, в лирических переулках которого не пропадали поодиночке больше чем поэты – чего уж больше? Арбат – рай, Евангелие – от Воланда, партия – честь и совесть, социализм... с человеческим лицом? Думаю, что тот, у кого всё это укладывается в его башню, определённо пребывает в аду, где на кругах – круговая порука и вечный приют для любителей дармовой выпивки из сообщающихся сосудов. А прочие – у кого всё рушится к чёрту и нет своей комнаты, пропадать или спасаться приходится поодиночке...

В училище попадали, в основном, наследственные двоечники по чистописанию – главному критерию всеобщей порядочности. Это были молодые Хомо, пребывающие в хронич-

ческой, вялотекущей разрухе. Если бы каждого из них можно было вовремя прислонить к тёплой стенке на Нью-Йоркском авеню и подключить к искусственному сообщающемуся сосуду, то вышло бы вполне симпатичное Хомо-безвредное. Но в забытом Арбатом Энске пэтэушники были смертельно больны врождённым рабством. Им нечего было терять, кроме иллюзии своих цепей, и они заискивающе-угрожающе бряцали ими, напоминая о своих правах: дипломе о всеобщем, пайке в сообщающемся и пропуске в вечный приют за выслугу лет.

Всё лето я готовилась преподавать. В пять утра молилась: "Господи, спаси, Господи. Дай мне немного сил и ума, Господи, дай выбраться из шарашки, молю..." Я читала, писала, проговаривала слова, складывала из них тексты и зубрила наизусть. Мне нужно было преодолеть косноязычие и болезненный страх. Я исхудала, плохо спала. Моё семейство безропотно ело суп из горохового концентрата. За неделю до начала занятий завуч на ходу сообщил, что я буду читать ещё два курса: «экономики» и "автоматизации производства", а также должна подготовить класс – побелить стены, покрасить парты и пол, помыть окна, написать транспарант – эдакую цитату из компьютерщика в законе. Меня познакомили с коллегой по будущей воспитательной работе мастером Людой – бойцом а-ля Чингисхан.

Я продемонстрировала свой свежен написанный на скальном шрифтом транспарант: "Компьютеризация поможет че-

ловеку при условии, что этика и культура будут соответствовать сложной технике" Н. Винер."

– "Кто этот Винер?" – спросили товарищи, зевнув странный текст (в том году было много странного, например, эстетика, которую должна была преподавать лейтенант милиции Капитанова).

– "Отец кибернетики" – радостно сообщила я.

– "А..." – сказали товарищи, оглядывая умытый моими слезами класс. – "Ну ладно" – успокоились начальники – перед ними вдохновенно светились ожившие мощи великомученицы, и беспечальное существование экономики с кибернетикой было обеспечено на ближайший учебный год практически *на-шару*. И откуда... ещё берутся такие... чокнутые?.. Ох, и богата мать – земля русская...

Славная была охота. Пятьдесят уроков в неделю, самосуды педсоветов, линчевания воспитательной работы, набег Чингисхана сотоварищи, дружеские советы старшего лейтенанта по эстетике Капитановой "размазать всех по стенке"... Славная была сеча: кто кого крушил – не понятно, но все были в процессе, и остров советской самодостаточности процветал.

Но потом, через полгода, среди дыма и визга картечи до моих оглохших ушей стал доходить невнятный, поначалу, шепот. Я потихоньку приходила в себя и оглядывалась первобытными глазами. Слава Богу, в кадре проявилась не рас-

терзанная плоть, а смертельно уставшая женщина, одиноко царапающая плохим мелом замысловатые знаки на грязной доске, перед вяло хулиганящим классом. Буйный период сменился лёгким помешательством с просветлениями. Я удивлённо знакомясь со своей историей болезни. Выяснилось, что больная является крупным специалистом по информатике в масштабах Энска... Страдает языком – изъясняется на литературном русском, что затрудняет общение с коллективом. Слабосильна на предмет физического воспитания – уклоняется от рукопашных схваток и плохо смотрит в строю: так себе – ни рыба, ни мясо – но жилы есть, и пока тянет, а там... видно будет.

Близилась весна. В моём расписании распахивались окна... и в них зовуще синела река. Появилась первая редиска. Снегурочка становилась всё печальней. Я недоверчиво вглядывалась в толпу, валяющуюся на партах, причудливо раскрашенную, дефилирующую без правил движения, невнятно жестикулирующую, издающую птичьи крики... Толпа жила скрытой от меня жизнью, и мне показалось, сдуру, что это – народ. И я... пошла в него, в чём была – будить, сеять, пожинать...

Начались суровые будни моего подвига: листовки, сходки, разговоры, слежки, террор, аресты, ссылки и побег в так кста-ти подвернувшийся Израиль. Это была классная буря в стакане воды, и я, должно быть, утонула бы на этот раз, если бы не вывел меня иудейский Бог на высылки – в Ханаан, как и

праотца моего Авраама. Видно, и праотец наш, в своё время что-то не поделил с вавилонянами, должно быть, истину – и был сослан в чистилище Израиля.

И вот, только теперь, наконец-то, одумалась – опомнилась, покаялась, связала причины со следствиями, и, слава Богу, у меня своя комната, и я ищу слова: сама – себе. Калачом меня не выманишь. В каждый божий день своей жизни отправляюсь в прошлое и будущее, ворошу его, пересматриваю, чтоб не пропало, чтобы не завелись там привидения, и всё время нахожу что-то невероятно мне важное и думаю: "Господи, как же я жила без этого, как убога была моя планета прежде и как великолепна теперь, когда я раздобыла... была... была..."

Правда, правда – истина проста. Нужно только правильно найти точку – фокус, секрет которого прост... и неуловим...

Должно быть, я азартна особым образом. Вот, недавно, знакомая художница научила меня рисовать яйцо в рюмке. Господи, сколько тайных законов в его простой, казалось мне, сути. Там есть законы света и теней – собственных и отражённых; есть законы у принимающего его пространства. Теперь всё человечество делится для меня на тех, кто посвящён в тайну *яйца* и нет, кто соблюдает закон... и нет – на добрых и нет. Закон прост, как "не убий": *"Вещи имеют сути, и человек свободен познавать их, но не волен владеть. За всё, чем владеет, всегда приходится платить, и цена неизвестна – сути вещей свободны от людского суда, и только*

Бог знает..."

– "Чего вы тут делаете?" – спрашивала я пэтэушников.

– "А Вы – чего?" – спрашивали они меня.

– "А я тут... зарплату получаю, и отпуск у меня два месяца, и ещё можно между уроками сбегать в магазин и домой – детей покормить, прибрать, то да сё по хозяйству. А вы? Ведь вы всё равно тут ничему не учитесь, весело, что ли?"

– "Да нет, чего там весёлого? На Вас смотреть? До смерти надоело. А что поделаешь, до восемнадцати на работу не берут, и без аттестата пропадёшь. Эх... жаль, что немцы нас не завоевали, жили бы теперь в Германии, жвачку бы жевали, джинсы бы носили".

– "Да вы что, пэтэушники, белены объелись? Да они бы нас всех в концлагерь посадили".

– "Сами Вы – пэтэушница, Татьяна Иосифовна, что ли, теперь не сидим? Вот, Вы у нас – надзиратель, а у Вас – завуч надзиратель, и вот доложим ему как Вы тут нам уроки – ля-ля-ля – ведёте, будет Вам и концлагерь, и какао с чаем".

– "А я вам двойки сейчас поставлю»

– "Не поставите – не положено, а то получите от завуча... парты красить".

– "Ну ладно, а чего вы хотите... кроме жвачек?"

– "Мы не знаем... а Вы чего?"

– "Я хочу жить на необитаемом острове... чтобы был у меня дом и сад, и не торчала бы я здесь перед вами пугалом огородным".

– "И мы хотим".

– "Что вы повторяете – это я придумала. Я там буду детям своим сказки рассказывать, а вы чего? Небось, съедите друг друга – недаром вас на жвачку тянет".

– "Нет, мы тоже хотим сказку..."

– "А вы не умеете. В пять утра не вставали, не читали, не писали, не проговаривали, Богу не молились... и туда же... Да у вас уже челюсти устроены не для сказок, а для жвачек. Вот, расскажите мне про курочку Рябу..."

– "Ну, блин... значит... эта..."

– "Садись, Хомо, три пишем, два в уме. Пока яичко не нарисуешь в фокусе, не видать тебе, простодушному, необитаемый остров..."

Разумеется, все эти разговорчики в строю и прочие фокусы в ПТУ даром не проходили. За удовольствие говорить, что думаешь, приходилось платить. Мой блиц с системой двигался к кульминации – битью по голове. Постепенно парторганизация с директором, похожим на крепкий кукиш, обнаруживали системный вирус.

Из нормальных классных комнат во время уроков доносились здоровая ругань и звон булатный, а из моего – нет. И на перемены я выходила без красных пятен на физиономии – главного признака честно выполняемого долга. Начальники не ошибались. Я смирилась с тем, что мои замечательные открытия информационных миров пока ещё преждевременны... для Хомо-пэтэушного, и с безумством храброго, стала

искать искорки угасающего сознания, раздувать их, подбирая лучинки слов – рассказывала сказки – единственное, что могли они ещё слышать, и, таким образом, была предтечей постсоветской Санта-Барбары.

Кстати, думаю, что сериалы и реклама – данность безнадежно полезная, как и оскорбляющая лучшие чувства постсоветских эстетов реклама гигиенических средств. Увы, как ещё образумить народ-мутант, приученный оберточную и туалетную бумагу перед употреблением мараť типографской краской? Это тот самый летальный исход, когда приходится использовать высокую технику при низкой культуре, и *оскоплённая* в лучших чувствах интеллигенция, вынуждена пожинать плоды своей страшной близости к народу. Кап, кап – капает собачий сок из терзаемой любознательным Павловым дворняги. Клип, клип – клипает телевизионные памперсы замученное население. "У попа была собака, он её любил..." – страдает информатикой обделенное информацией училище.

В наш класс, на погребальный костерок пэтэушного сознания всё чаще наведывались начальники и терзали мне печень. Дальше становилось всё скучней – начался экшен с погонями и перестрелками, и это сто раз описано в лагерной классике. Чего-чего, а загонять и уничтожать в Энске умели не хуже, чем у людей... Так, за плохо покрашенные парты дают в лоб, а за сломанные стулья – по лбу. Для должного эффекта важен темп и глубокий звон: в лоб – по лбу, в лоб

– по лбу – таким звоном и полна, матушка, земля русская...

Моя пэтэушная карьера двигалась к своему естественно-му завершению – аутодафе с увольнением по собственному желанию. Но напоследок состоялся прощальный бенефис, афиша которого украшает теперь мою планету. Завуч объявил мой открытый областной урок – то есть, аншлаг мне был обеспечен. Завуч был старым битым лицедеем с выразительной лепкой последнего предупреждения во всём облике и хорошо отрететированной невнятной бурностью. По коридору он бежал, как падает в обрыв между скал раненный в бою сокол. Про учеников говорил: «континент» и нежно любил ловить рыбку. За тридцать серебряных линьков на зорьке продал бы весь *континент* оптом и в розницу. Для грядущего спектакля я выбрала группу электронщиков, которым рассказывала самого Бредбери. Они ещё проявляли признаки жизни и потому были в опале, но начальники их побаивались и вели себя осторожно – не зарывались. И мастер был... вполне – с ходу пасти не рвал. Сценарий у меня был давно: пылился на полке не хуже иных. И вот, наконец, такая удача – аутодафе...

"Любите ли вы театр, как люблю его я?" – одиноким творением диалогов, света, звуков, обещаний висящего на сцене ружья и декорациями из гениальных яичных теней... Группа актёров была чудной – прирождённые любители повыведываться. Я раздавала всем бумажки со словами и велела откликаться только на мой голос и свои имена. Рассадила, проре-

петировала – поселяне смотрелись убедительно и трогательно в своём стремлении к знаниям в области компьютеризации всей страны.

Народу привалило множество (манила весна, а наше училище стояло на берегу реки). Галёрка была забита, стояли в проходе. Класс был похож на пещеру дикого племени – его стены украшали мои самодельные картины со сценами охоты на информацию.

Это была показуха в лучшем смысле слова – попури на темы не пройденного. Вначале мы поговорили о вечности, материи, энергии, пространстве, времени, Боге и о том, что мир несёт информацию о себе, но только человек разумный может воспринять её, осмыслить, понять мир и себя самого. О том, что понимание и есть человеческое предназначение – смысл жизни и условие гармонии в мире: здоровья, благополучия и счастья – всего того, чего мы желаем себе.

Затем мы определили, что причина всех бед, болезней и войн – в непонимании, незнании себя, окружающего мира и вечных законов – самой важной информации, необходимой для жизни. Мы объясняли, что человек живёт, пока мыслит и поступает на уровне вечных законов нравственности. А всякие отговорки про то, что виноват кто-то другой, не принимаются: преступил – не живёшь, и большой привет с соболезнованиями вечным жмурикам и косящим под них.

Потом был короткий опрос на тему "быть или не быть", и что есть добро и зло, этика, культура, цивилизация и почему

отец Норберт Винер не завещал нашему ПТУ хотя бы один годный компьютер. Поговорили об отсутствии свободы информации в нашей стране и о «перестройке», как реанимации усопшего общества, не владеющего своей энергией и материей – своими взрывающимися атомными электростанциями, сгорающими травами и исчезающей колбасой. До электроники – всяких шифраторов, дешифраторов и прочего высокого пилотажа разговор не дошел из-за вечных проблем со сложением в столбик. Новый материал был опять о собаке: мол, у попа была собака, он её любил...

Не всё ли равно кто у кого что отъел – для вечности, в безмолвии несущей слово. В собаке были все источники и составляющие бытия: материя, энергия, информация, и она ни в чём не проигрывала в сравнении с иными зеркалами компьютеризации советского калейдоскопа. Древняя как мир трагедия съеденного мяса – преступления, влекущего наказание – позволяла бесконечно иллюстрировать слова Норберта Винера и Льва Толстого о том, что невозможно противиться злу насильственной компьютеризацией пэтэушника, неспособного улучшить собою мир. "Мене, мене текел, упарсин" – оранжево пылали над доской свежеокрашенные письма вопиющих в пустыне отцов... Моя башня стремительно рвалась к небу. Поселяне вдохновенно читали скрижали, галёрка портилась квартирным вопросом, в царской ложе шелестело возмездие – толпа не превращалась в народ.

Затем прозвенел звонок, всё засуетилось – началось стол-

потворение. В столовке в честь открытого областного урока давали по полной программе. Мне достался компромисс в дюжину ванильных сырков с изюмом – на поминки по моей последней советской иллюзии.

В пустыне дождь.

Не дождик – дождь серьёзный:

стеной, потоком, страстный, обложной —

*– Дождь Победитель – вал девятый, шторм,
небесных вод ликующая щедрость!*

... по капле всем песчинкам...

по глотку иссохшей глине

– водопад на камни стихии первобытной,

что хранит Потопа тайну —

древнюю мечту о чистоте грядущей.

Крест

Странно здесь, в Израиле, ощущается новогодняя ночь. Нет снега, нет ощущения таинства смены годов, кажущегося единственной возможностью прикосновения ко времени. Вот, был декабрь прошлого года, и – ах – уже январь будущего. И словно что-то мелькнуло, как будто, совсем близко... тень... чего-то мощного и огромного – зверя, бегущего свободно и ровно без усталости. И, вот уж, след простыл, и я улыбаюсь растерянно вдогонку... А потом смеюсь и пью вино: "Знаешь, я, как будто, видела его. Нет, точно, видела. Это – пёс с мощной грудью, и он мчится против течения реки с такой лёгкостью, словно по тропинке на склоне балки. Теперь, ночью, он чёрный, но утром – розовый, а днём золотой. Жаль, что ты не видел..."

У меня всегда последняя минута перед боем часов, как перед смертью: вот, остались секунды и нужно успеть подумать самое важное. Сворачивается нечто чужеродное и неодолимое, пересечение которого с моим Я неизбежно, и только мысль, собранная как чемодан, останется со мной, когда часовая стрелка отделит меня от прошлого. С годами встречи со временем становятся всё проще – всё легче собирать самое необходимое. Так бывает с опытным любителем путешествовать налегке, когда всё уместается в компактный рюкзак. И последняя мысль всё больше похожа на молитву

– несколько прозрачных слов ни о чём.

Теперь точка пересечения годов оголена – слабая беззащитная плоть будней. Шаманский – прежде – бой курантов слышен по российскому ТВ в одиннадцать часов лукавого местного времени. Здесь новогодних минут – сколько просит душа. Та, прежняя, с ёлкой и Дедом Морозом – для торговцев. Для тех, кто что-то продаёт и покупает – дома, труд, развлечения. Это Новый год для денег, у которых своя важная жизнь: для счетов, зарплат и расписок, для продажи себя в рассрочку и оптом.

Для Человека – Новый год здесь приходит осенью, с Тишреем – в день рождения Адама. Он наступает, как тогда – в шестой день творения, с появлением первых ярких звёзд, среди которых теряется прозрачный серп еврейского светила. Человек рождается, как и молодой месяц, слабым и одиноким, и, даже познав полноту своей жизни, остается один... под небесами. В полнолуние весеннего равноденствия, в Нисан, с наступлением ночи вечерние звёзды едва заметны в свете тяжелой оранжевой планеты. Над миром безмолвно льются лунные капли, и людям снятся тревожные сны о злой доле рабства. Эта Новогодняя ночь – для тех, кто помнит себя в Египте и помнит луну благословенную, светящую под ноги беглецам и – проклятую, бегущую по пятам с вооружёнными солдатами фараона. В эту ночь в волшебном фонаре видны тени Каина и Авеля; тени прокураторов Иудеи, храмовых жрецов и Иешуа, которому осталась неделя до веч-

ности, тени его уснувших учеников – будущих апостолов будущего календаря... для торговцев.

Но главные минуты у каждого свои, и они причудливо вплетены в узор бесконечной сложности, похожий на рисунок судьбы, что на ладони. Моя минута напоминает о себе болью вот уже пятый год. Мой календарь отмерен наперёд – шесть лет. Шесть лет моей жизни расчленены на минуты несвободы от времени, зависимости от чужих календарей, когда мысль не спасает, а только уточняет мою вину, и комната с окошком в сад становится ловушкой.

Три года отслужил в армии старший сын и, вот, три года – младший. Я должна была не допустить, но не сумела. Тогда, осенью, он взял за ручки пластиковый пакет с зубной щёткой и, неуверенно улыбаясь, спустился по лестнице, а я вышла на балкон. Внутри было отчаянно пусто, как будто больше нечего было терять, и уже случилось всё, что не смела осмыслить. Сын вышел из подъезда и оглянулся – близорукая мягкая улыбка, пожал плечами... Что я сделала, господи, неужели это со мной? Как не домыслила? Ведь, предупреждали: "принесите, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, режут, в каждой берлоге и каждой пещере злого обжору кланут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребёнка...»

Потом он позвонил, и голос был весёлый: "Меня взяли в Голани – это очень хорошо, мама" – "Это очень хорошо – по-

вторяла я – взяли в Голани". А потом позвонил: "Всё хорошо, мама... но... нет свободных минут..." – "Нет свободных минут..." – повторила я – "совсем нет?" – «Совсем» – голос был моего сына, но звучал, как на пластинке, поставленной на другие обороты – так звучит потерянная во времени – со своим днём рождения, своим Новым годом и плюшевым подарком под ёлкой...

Я перестала плакать. Это случилось со мной – со мной, и мне нужно жить три и три года, опять научиться верить и надеяться... как будто и не одна я вовсе – во всей вселенной... И я начала новый календарь – от потерянной минуты.

Сынок, я подожду тебя ещё три года. Виноват в моей ты жизни... Я не смею уйти – тебя молитв своих лишит. Но как тревожно мне. Леплю обманы: божков лукаво-миловидных – их на заре леплю, чтоб в полдень разбить и в острых черепках блуждать до первых снов... И снова день, и утро тороплюсь скрипичной переполнить суетой, аккордами далёкого рояля – сильнее, шире, чтобы хоть на миг задеть во мне за то, еще живое, что для тебя любовь хранит...

В субботу я выходила на балкон и смотрела в далёкую точку пересечения дороги и неба, из которой мог возникнуть мой сын. С каждым часом боль была все сильнее. Во что наливается душевная боль? Кажется, полным-полно, уже пролилось в пальцы, и они тяжелы и непослушны. Но всё мало, и волны захлёстывают сознание, и мерещатся ужасы всех

катастроф. Забыто слово – то, что было в начале. И я молюсь свирепому идолу, пожирающему детей, торгуюсь с ним, лгу, угрожаю и ненавижу – отчаянно, безумно, зло. И где-то, должно быть, на моей заброшенной планете, в пустыне рождается смерч, и острая жаркая пыль вонзается в небеса как нож вендетты. Кто знает, чем обернулось миру молчание Марии у ног распятого сына... Не знаете? Скверно, господа – беда на нашей датской планете, где детям с восемнадцати лет запрещается жить без автоматов.

Отец с неловкой улыбкой берёт автомат из рук сына: "Лучше бы я – я бы смог..."

– "Да, лучше бы ты – но это уже случилось с сыном. Ты должен покаяться".

– "В чём?"

– "Ты ел кислый виноград".

– "Я не знал".

– "Ты не хотел знать. Помнишь, я пыталась понять – тогда, когда мы слушали второй концерт Рахманинова и казалось, что вот-вот можно понять, но ты отвернулся".

– "Я не помню..."

– "Должен вспомнить и покаяться. Посмотри, у сына уже автомат в руках. Вспомни: я ещё принесла тогда рыбу..."

– "Какую рыбу?"

– "Красную, на поминки по Андропову..."

– "Ты сошла с ума..."

– "Нет, это тогда я была безумной и думала, что ты – Пьер

Безухов, а я – солнечный зайчик. Каюсь, думала, что всё это не со мной, что это волшебный фонарь. Мы были безумны – и теперь у нашего сына в руках автомат, и нужно мыслить точно – предельно точно. Мыслить и понимать. Иначе случится непоправимое, и я за себя не отвечаю – это катастрофа".

Мы жили тогда неподалёку от Иерусалима. Ранней весной на пустыре, через который шла просёлочная дорога, цвели маки. Я шла мимо и, если было ещё светло, разговаривала с ними – восхищалась, благодарила, как тогда – в детстве, когда верила, что цветы слышат меня. Мне нужно было начать сначала – вернуться в точку искренности, чтобы разминуться с ложью. Ни тогда, ни теперь цветы не обманывали – простодушно дарили свою красоту и аромат.

Это случилось тогда – тогда, когда я сумела впервые понять свою первую иллюзию... тогда... Да, конечно – я была готова понимать, но в открытость души вошла ложь, и я, не сумев её принять, изгнала всё, захлопнула двери и окна, осталась одна в языческой первобытности. Тогда, в первобытном тумане, Мария казалась мне спасением. Я доверилась кисти Рафаэля и мечтала о сыне, как о Мессии. Я хотела владеть улыбкой, полной достоинства, и сбегала из детских садов, пионерских лагерей, лекций, работ...

Как же так... Мария не успела полюбить, ощутить себя женщиной... познала только материнство, и... сына забрали, и вот он, шатаясь, несёт крест, а она идёт следом... и пальцы

переполнены слезами, а глаза сухи?

Господи, и ты знал это изначально? Это было в твоём Слове? Чьи мольбы может слышать Мария в вечном рёве: "Распни его"... "Неужели это случилось со мной... со мной? Это кричат о моем сыне..." – женщина перестала владеть своим лицом, потеряв улыбку достоинства. Шатаясь, слепо бежала по лабиринту каменных улиц, крики толпы мчались по следу, а тяжелая сытая Луна жёлтой жабой развалилась на крышах Храма и, не моргая, смотрела вслед...

Напрасно молиться улыбкам, полным понимания и достоинства. Опасно верить доброму божеству. Не верьте женщине, у которой казнили сына – она не простит вовек. Греки были честней и проще – рисовали порочных богов и знали, что они – крики толпы. Евреи сказали: "Не знаем – не знаем кто Он, имя которого нам не известно."

А потом я поехала на присягу. Вернее, я не знала, что это присяга. Но получив открытку с приглашением приехать к сыну в армию, поехала. Я была так поглощена ожиданием и встречей, что и там не поняла, зачем все собрались и что происходит. Я привыкла не вдумываться в повестки торжественных собраний, съездов и горящих костров. Любое сборище отражалось в моём сознании, как замкнутое пространство, из которого нужно найти выход и бежать. Побег из армии был невозможен, и это была новая безысходность, осознанная мной. Остывал декабрь. В окнах автобуса возникало всё меньше подробностей людского бытия. Пейзажи ди-

чали россыпью холмов и камней. В креслах, обняв автоматы, дремали мужчины в хаки. В замкнутое пространство, в котором был теперь сын, робко, на цыпочках входила моя нежность – я не могла уйти... и я оставалась. Земля за окном казалась брошенным ребёнком, розово обнажался стриженный затылок солдата на переднем сиденье, в гул мотора вплетался шёпот чьих-то укоров, раскаяний, молитв. Хорошо! Раз так, раз ты берёшь моего сына... я останусь. Но знай – я буду следить за тобой: я не умею больше доверять, и берегись – камня на камне не оставлю! Думай! Думай и берегись – это тебе не Ясная Поляна, и я – не идише-поселянка. Я подписываю договор на шесть лет – шесть лет моей нежности, веры, стихов и благословений, но... берегись... – око за око.

Автобус остановился на перекрёстке, похожем на середину небрежной шахматной партии. Слоны ещё держали каре, серьёзные фигуры вяло толпились в углу, но меня завораживали пешки. Между машинами передевались несколько десятков полуголых фигур. Парни прыгали на одной ноге, целясь второй в штанину, в воздух взлетали, взмахивая рукавами, рубашки, холодный ветер рвался между пуговицами, заплетая пальцы. Сына я увидела сразу и не поверила. Всё время, что ехала, не верила, что из этого странного дня, переполненного чужими подробностями, может возникнуть прикосновение рук и вспышка забытой радости между двумя тревогами – не встретиться и расстаться. Он был уже одет и держал в руках ящик сложного вида с длинной дрожащей

антенной. Сказал мне, как будто я вышла из соседней комнаты:

– "Вот, смотри сюда, вот эта штука нажимается так, а затем так. Ты слышишь меня?"

– "Да, конечно, так и так. Скажи, что происходит?"

– "Не пугайся, но я сильно хромаю – у меня трещина в кости. Это не опасно, но очень больно".

– "Очень больно – повторила я – Тебя отпустят?»

– "Не знаю".

– "Должны отпустить: трещина в кости – ты не можешь...

Они не могут..."

Когда-то давно, когда ему было годика три, мы пришли в зверинец – один раз – и больше никогда не ходили. За решётками внешнего периметра страдали звери, а по внутреннему кругу ходили зеваки с билетиками за двадцать пять копеек. Из крайней клетки – грязной будки в углу – топорщился куст длинных трепещущих игл – серых с сединой на концах. Вдруг он метнулся вбок, с сухим щёточным звуком мазнул стену, и на нас взглянули кроткие бусинки с печальной мышинной физиономии. Так я вижу армию – со всеми её танками, антеннами и прыганьем в надутые ветром подштанники – катастрофой провинциального зверинца, с линялыми флажками и свирепообразным хищником на пыльной афише у окошечка кассы. Любители поглазеть не понимают, что и внутренний круг – та же клетка.

В тот поезд я принесла узелок с изюмом, орехами и шо-

коладом. Израильтяне приезжали на своих машинах большими семьями. Привычно сооружали бивуаки, и скоро вся шахматная доска покрылась пёстрыми лоскутками – из термосов валил сытный парок, бывалые отцы и старшие братья подтрунивали над своим зелёным солдатиком, младшие трогали автомат, мамы и тётки привычно вздыхали и подсовывали куски изголодавшемуся ребёнку. Мы с сыном воробьями сидели на заборе чужой пирушки, чужой клятвы, прижавшись друг к другу, молчали, смотрели на знакомые звёзды.

А спустя три года, опять была присяга и те же звёзды, Мы тогда уже жили в Негеве, в маленьком городке в горах у Мёртвого моря. Прошли первые дожди, на несколько минут затопив пустыню, но она стремительно вынырнула, отряхнулась как пёс, и брызги растаяли вдогонку исчезающей туче.

Холмы дождей не принимали. Ручьёв испуганных стада несли истерзанные воды в лазурный влажный рот. Природы здесь чудо смерти – море слёз. И в каждой капле zdeшней горечь души неутolённой – травы здесь не растут...

Тесная площадь у двухэтажного дома, словно, единственно уцелевшего после бомбёжки, напоминала Римский театр. Вверх, на естественную каменную горку поднимались грубые ступени. Внизу, на круглой арене, был установлен фанерно-героический лис с мощной грудью, тонкими кривыми ногами и хвостом, похожим на пилу с редкими зубьями. Чаши факелов закоптились от частого использования. Гости,

незлобиво толкаясь, толпились на горке, выглядывая «своих». "Вот он" – узнавала я всякий раз сына в другом солдате – там, внизу, в неясном строю на дне амфитеатра...

Странно высоким пламенем взметнулись огни факелов, жадно придвинулась ночь, толкнув в спины стоящих в кольце людей. Взлетел, рассыпаясь, белый шар ракеты, и тень дома бросилась вслед, словно курица с отрубленной головой. Удивительно чисто и нежно заговорила в микрофон девушка в солдатской форме. Я ждала мурашек марша, но это были стихи – спираль слов свободно улетала прочь из, казалось, безнадежно замкнутого круга. И я очнулась, задохнувшись узнаванием – всё так, как было всегда – круг... капище: древнее и вечное – тайное тайных этой земли, её материализовавшееся подсознание. Наточен клинок, голоден нетерпеливо озирающийся идол, жаден закопченный алтарь, дико пляшут тени, и безмолвствует толпа замороженных родителей... Прекрасен низкий зовущий голос молодой жрицы, требующий жертвы... и я стала молиться: "Нет, он принадлежит себе! Не слушай глупого мальчишку, бездумно перебирающего красивые чётки чужих слов – его клятва ничего не стоит. Слушай меня – я его мать и помни наш договор: око за око!"

У нас был теперь автомобиль и термос с горячим куриным бульоном, пухлыми манными клёцками, морковкой и укропом. Сын сидел в машине, и его руки казались слишком большими от ссадин и въевшейся грязи. Мы старались не замечать, как он голоден, а он старался быть поделикат-

ней и поменьше, но как-то выходило, что занимал вместе с автоматом и миской почти всё машину. Машина стояла на обочине дороги, по которой шли навстречу нам люди. Они равнодушно глядели в наши запотевшие окна, а мы смотрели на них...

Маленьким сын был очень искренним, и несправедливость встречал бурно и гневно. Мы называли его тогда «Синьор-помидор». Он был работающим и покладистым. Мог часами в полном одиночестве упорно перетаскивать и укладывать по своему замыслу кирпичи, не замечая противный холодный ветер бесснежной зимы. Круглые серые глаза смотрели на мир с удивительным доброжелательством. Однажды, в три года, он прибежал домой красный от гнева, по-взрослому мрачный и мстительный, не плакал – казалось, слёзы не находили выхода, и он наливался горечью. Оказалось, что на ступеньках соседнего магазинчика его грубо толкнул какой-то местный выпивоха и ещё добавил что-то вроде "пшёл отсюда". Малыш поднял на феномен глаза и вежливо спросил: "Почему?" И тогда мерзавец плюнул на него.

Теперь я жалею, что утешала сына и говорила глупости про плохого дядю. Я должна была схватить пальто и, на ходу вдевая руки в рукава, броситься бегом к ступенькам магазина и... заставить его извиниться... позвать милицию, нет, лучше полицию – да, подошёл бы огромный американский полицейский, и мы бы были отомщены. Негодяй получил бы по заслугам! Я должна была Чёрным Котом взметнуться на

плечи гада и, страшно мякнув, оторвать его подлую голову, и кровь залила бы ступени, и её невозможно было бы смыть. И тогда в сквере Пионеров установили бы гипсовую фигуру Вселенского Хама с оторванной головой, поместили бы в центр фонтана вместо пионера с горном – и струи хлестали бы из порванных жил, а преступная голова валилась бы на барабан юного барабанщика. К фонтану приходили бы орденосные пенсионеры, снимали бы свои медали и бросали их в бассейн – к золотым рыбкам, каясь, что не завоевали закон, защищающий их детей, внуков, что обездолили их.

Но я не сумела... И вот, пришлось бежать в поисках закона куда глаза глядят, и теперь сын клянётся своей жизнью, а я прислушиваюсь к слабому пульсу истины, едва слышному слову – единственному, что стоит клятвы.

...Понимать обречена, как вечен краткий миг и бесконечно движение каждое... Предвидеть ад в истоках, казалось бы, невинных, взяв за данность сомнительную горстку аксиом, как будто бы, принесенных из громов с утерянной горы толпе рабов. И это всё. И этого довольно для – с пытками и жёстким приговором себе – суда... увы, за искушение доверять чужим богам – за то, что убивать могу и быть убитой, стою перед собой с повинной... невинной.

Я брала чистый лист и писала: "Владимир Высоцкий: "Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, – оградив нам свободу флажками, бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций, – видно, в детстве – слепые щенки – мы, волчата, сосали волчицу и всосали: нельзя за флажки!" Запечатывала в конверт и писала номер полевой почты.

Сын приходил, ставил автомат и сумку, набитую одеждой, щедро перемешанной с грязью, снимал носки вместе с прилипшими к ним корочками с израненных пяток. Меня гипнотизировал розовый пояс ободранной кожи на бедрах. Отец потрошил сумку, привычно проверял карманы и вытаскивал вещицы, несущие в себе, казалось, тайну соучастия, которого были лишены мы... Находил и приносил комочек моего нераспечатанного письма...

– "Сынок, ты не прочёл письмо..."

– "Я не мог – было очень тяжело" ...

– "Я понимаю, но ты должен... там были слова, *слово* – то... которое *в начале*..."

– "Было очень трудно, мама, мы бежали десятки километров ночью, без дороги, и те, которые падали, уже не могли встать. Там нельзя думать, мама, только довериться... чутью зверя, что рвётся к жизни... я не знал, что сумею так..."

– "Не знал... – так, но, только, нельзя... без слова... пойми – волк бежит вдоль круга из красных флажков и не может выбраться на свободу... – и так вечно. Он не слышит слова – сильный, гордый зверь не может вырваться за свой предел, и любой подонок владеет им... Это ужасно, что я говорю... прости, это жестоко... я должна сказать... ты должен... ты

клялся, – тогда... давно – я долго вспоминала и теперь знаю точно. Ты тоже бежал тогда, спасаясь, один в пустыне... Было полнолуние, и ты уснул в тревожном сне, а утром ты понял что-то очень важное и клялся не забыть... И теперь нужно вспомнить..."

– Это жестоко, мама, я устал. Если я буду думать теперь, то не выживу".

– Но если ты не думаешь, то не живёшь... человеком. Это нормально, знаешь, это даже красиво... звучит как орган – слушай музыку: Никто не разорвёт замкнутый круг противоречия выживания и осознания; никто не сделает зверя человеком, если у него самого не хватит сил. Ну? Разве не хорошо звучит? Разве это плохая игра, и ты – не азартный игрок? Что ещё сравнится с красотой игры по закону, который был в начале..."

– «Да, мама, это действительно красиво... мне нравится... я подумаю... вспомню..."

Я беру чистый лист. Р.М. Рильке: "Как мелки с жизнью наши споры, как крупно то, что против нас! Когда б мы поддались напору стихии, ищущей простора, мы выросли бы во сто раз».

– «Знаешь, должно быть, и время диким зверем бежит по кругу, не смея вырваться за его пределы, и только встретив человека, одухотворяется, устремляясь против течения реки, дающей забвение».

Я запечатываю конверт и пишу адрес армейской почты.

Песочные часы

Приснился сон. Продают арбузы. Несколько человек у весов. Я выбираю себе и думаю: "Надо же, меня почти не интересует цена. Могу выбрать, какой хочу". Мне приятно и легко от покупки по карману. И тут подходит бомж лет шестидесяти. Испитое лицо полно отчаянной, гордой решимости, и я понимаю, что он хочет как все – как *порядочные* – купить, а не выпросить или украсть, как обычно. Он протягивает руку с деньгами и говорит, мол, давай на все. И продавец отрезает ему тонкий светящийся ломтик со свернувшимся набок гребешком. У бомжа каменеет лицо от унижения, что все поймут, как мало было у него денег, но он решил выдержать до конца, чтобы уйти достойно. И вдруг я вижу, что у его доли – от корочки – начинает гнить – едва заметная полоска горького цвета... У меня заныла душа, захотелось купить ему самый большой арбуз, но подумала, что нельзя, что это больно унизит его, возможно, именно теперь. И я ухожу, ничего не купив сама.

Мы отправлялись на Синай по инерции – долгожданная поездка казалась безнадежно испорченной. "Лев Николаевич – думала я – все семьи несчастливы одинаково и только счастливы – по-разному..." Судите сами – человеческое счастье – высокий пилотаж, вроде феномена гармонии натюрморта Пикассо с кособокими горшками в противоестествен-

ных объятиях чужих теней. Почему? Не знаю... но явление семейного счастья ещё загадочней.

А несчастливые семьи все схожи своей дикарской верой в счастье, любовь и будущее детей – вот, пожалуй, рецепт коктейля, который пьют на свадьбе все несчастливые семьи. Хмель – скверное начало: "Ты меня не любишь!" – "Я??! Да я... трёхразовое питание... мир, труд, май!!!" – "Предатель! Ты что, издеваешься?!" – вот и все страсти, и не вижу особого разнообразия. Просто, каждый немного иначе пьянеет, и трезвеет каждый в свой срок и по-разному. Но «мы», замешанное на общих горшках, уже схватилось, и лишённый божьей искры натюрморт ужасен в своей бездарности. Казалось, и горшки симметричней... пикассовских, и тени правильней, и рамочка шикарней, но...

"Одно хорошо, – думала я – если разобьёмся или арабы нас прирежут – всё к лучшему – куплю себе напоследок беспечности – *на все* – и сдачи не надо!"

*Сегодня плыли облака, сорвался ветер,
струились мысли в пустоте —
на свете приюта не было дано...
Опять в небрежности твоей сквозит усталость...
Я о смирении просила – не досталось.
Вползает на небо пустыня холмами,
а прежней жизни миража нет с нами...*

Наше многострадальное «мы» пребывало в своей самой

привычной в последнее время ипостаси: мы были предупредительно вежливы, как два Каренина. И каждый, сам по себе, одиноко мечтал о том, чтобы Синай,двигающийся нам навстречу со скоростью ста км. в час, как-то остановил бы несчастье, в котором бездарно околачиваемся, не умея выбраться. Серая полоса тянулась до горизонта, и мы надеялись, что она окончится на Синае.

Синай просторен, пустынен и кажется свободным, но всё не так просто. Если внимательно посмотреть на географическую карту, можно обнаружить любопытную вещь. Пограничный переход между Израилем и Египтом: тесный коридорчик, зажатый между скалой и морем, Африкой и Евразией – точка на монолите восточного мира, к которой опасно прикасается пальчик Европы в перчатке Израиля. Запад заботливо провожает своих романтиков, устремляющихся познать Восток, а сам останавливается у мрачной подворотни, где путешественников поджидает иной мир.

Читатель, с трудом преодолев сложносочиненный образ, видимо, заподозрил, что автор не любит Восток – святая правда! Дело в том, что справа от родины автора, то есть, комнаты с компьютером, окошком и сосной, находится отечество восточного семейства, флегматично орущее и бесстрастно сгребаящее мусор к границам моей отчизны. И эта данность, отчасти, и гонит нас – двух Карениных – прочь, чтобы броситься в густое рыбно-коралловое море и там честно посмотреть друг другу в маски.

"Тонким делом" Восток кажется там – «Петрушам» средней полосы в кинотеатре "Красный Октябрь". А здесь, на местах, дело пылится просто за ненадобностью, как вышедшие из моды башмаки. Когда-то они были заманчиво востроносы и расшиты пёстрым бисером, а теперь в цене итальянская кожа, немецкий раскрой, японская технология и "Майд ин Чайна". "Не ходите дети в Африку гулять". До акул, горилл и злых крокодилов, увы, ещё добраться надо сквозь толпу обездоленных людей, а вот малярию с дизентерией – это за просто. В тамошнем сафари, думаю, добыча – человек.

И ещё одно посягательство на святое позволю себе, Каренину. По ТВ я видела очень огорчившее меня зрелище – ползущую по-червиному, на животах, очередь. Люди передвигались, толкая лбами чужие пятки, и в сравнение с этим построением, очередь матерей-героинь к женщине-космонавту выглядит, как светский раут с шампанским и устрицами. Утомительное мероприятие происходило то ли на "Крыше Мира", то ли на другой естественной башне где-то в Тибете. Не сомневаюсь в мудрости тамошней философии, но... больно смотреть, как пресмыкаются прямоходящие. Как можно любить это? Обожатели провинциальных зверинцев не понимают, что и круг бездумных зевак – та же клетка, а дефицитный третий глаз даётся на поминки по первым двум.

Теперь выверну мысль наизнанку и обнаружу за подкладкой свою жемчужную слезу, как и положено, во всей кра-

се её перламутрово-розовой сентиментальности. Она росла всю жизнь в складках моего дремучего сознания, прицепившись к едва заметной врождённой ущербности, и никакие промывания не могли затуманить её совершенство. Но теперь, когда она полна, может пролиться и украсить собою мир, поздно – я уже не успею стать президентом США, не успею отдать должное яблочному пирогу и поверить маме. Моя любовь к жизни платонична, и поездка на Синай – магическая мистерия создания достойной оправы моему сокровищу, что теперь мне важнее, нежели даже сама цивилизация, которой и посвящаю свою слезу.

Когда на последнем допросе меня спросят: "Ты кто?" – я отвечу: «Никто» – с такой искренностью, что превысит пределы восприятия всех тамошних, и они не заметят меня, а я затеряюсь, даст Бог, и тихо-тихо... огородами... на свою планету протирать тряпочкой баобаб... И всё же, кое-что я могу ещё успеть сделать для моей нежно любимой цивилизации – могу не устраивать в ней провинциальный зверинец с вывозом своей персоны в клетке из тощего кошелька, скверного английского и истерики узнавания Эйфелевой башни. На моём языке пристойно платить десять процентов чаевых (не девять и не одиннадцать, если принято десять). Но идти на поводу у своей слабости унижительно и опасно.

Чужих касаний о чужие камни, почти неслышимый звон – тому назад – капелей, произнесённых слов забытое значенье – всё возвращу, не пролистав. В

избытке – всегда заранее – иных дворцов, фонтанов, фигур из мрамора, пейзажей, без и в рамке, бегущих мимо толп, на лоскутки крошащих площадь города чужого, отвергнутого мной...

Синай кажется ничейным – слишком большим... слишком маленьким, чтобы владеть им привычным способом. Так бывает в пустыне песочных часов: тоскливо льётся сухая струйка, насыпая идеальный конус дюны, и вдруг – хлоп! – всё взметнулось – мир перевернулся вверх тормашками и несётся в хаос остановленного мгновения, и опять – тоненькая вертикаль песчинок нанизывает спираль ничейных минут. Я вижу хрупкость розово-фиолетовых скал, слушаю сухое шуршание текущего навстречу шоссе, чувствую синюю бездну внизу – там, где преломляется солнечный луч, и понимаю, что в любой миг всё может перевернуться.

Кроме нас оформляла документы симпатичная московская компания. Красивый немолодой мужчина с зачёсанными назад длинными седыми волосами и крепкой улыбкой, женщины – русоволосы и очерчены льющимися линиями. Но глаза... Говорят, кокаинистов можно отличить по расширенным зрачкам, а советских – по напряженным, проникающим внутрь вещей в поисках второго смысла... и суетливости...

Американцы, которым приходится ждать, ведут себя так, будто пауза произошла по их собственному расписанию. Культура независимости психики, видимо, такова, что они

способны падать из любой позиции, как кошки, на четыре лапы – на свой вечнозелёный газон под полосатым флагом, и организаторам человеческих пробок становится неуютно – они начинают пошевеливаться и выслуживаться, как и положено им по должности.

Израильтяне невозмутимо укладываются штабелями, куда придётся, заряжая свои аккумуляторы. Они привычно переживают факт идиотизма с извлечением своей маленькой пользы на уровне вегетативных систем. И от них тоже хочется избавиться, тем более, что некоторые рожи, как будто, снились местным чиновникам в душных снах Синайских откровений.

Арабские чиновники любовно ждут свиданий с русскими туристами. Красные паспорта – для них – приглашение к хлебу и зрелищам. Для русских сияют самые большие в мире кокарды, пуговицы и звёзды, для них зловещими платками перебинтовываются головы. Начинается парад: цены взлетают вверх, побросав свои стаканчики с неразменной бурдой, подтягиваются приграничные обитатели и предлагают купить из-под полы второе место в очереди, сеанс в туалете и каинову печать.

Я всегда тайно рада, когда меня не принимают за «русскую». Это значит, что пребываю в своей самой благополучной ипостаси "ноу проблем" и не отгрызаю себе ногу, чтобы освободиться из капкана. Особенно лестно, когда в поисках переводчика с европейских языков, обращаются ко мне.

Я даже не стану объяснять, что тут не русофобия, а просто платье с лондонской распродажи можно носить, а костюм с фабрики им. Якова Свердлова – нет. С лицом и манерами то же самое: не носят нынче приличные люди красных мальчиков в глазах, не в цене иудин сребреник и красноречие немого кино...

Выжимать из себя раба нужно бесстрастно и систематично, как чистят зубы. Утром и вечером энергично орудуя щёткой, произносить: "О-кей. Нет проблем" и надевать протез улыбки в позиции «чииз». Только тогда, может быть, услышится: "Мессир, отпустите..."

Между тем, наши попутчицы, ботичелиевские москвички переписывались бездарными кубистами, у маэстро, близко-го к удару, расстегнулась ширинка. Мы с мужем выбирались на другой берег, отряхиваясь и оглядываясь влажными оленьими глазами на бывших соотечественников, затихающих в кипении пираний.

"Вообразите положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Всё-то ему ново, всего-то он боится... всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить и выражать свою мысль; перед каждым он ёжится и трусит, потому что, кто его знает? а вдруг недоглядит за собой и сделает невесть какое невежество!.. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь, из-

вестно, у нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!)... " – читаю я вслух очерк Салтыкова – Щедрина 1865 года на берегу Красного моря в апреле 1997 – нисан 5757...

"Ха-ха" – пускаем мы горькие пузыри узнавания и идём на таран: маска на маску. Грустная семитская физиономия поседевшего Пьера Безухова выражает раскаяние, добродушно виляют ласты... Задумчиво пожевав резиновую трубку, ломается солнечный зайчик и – эх!!! – жизнь прекрасна и удивительна. Скала рифа круто уходит в темнеющую синюю палитру, и божий замысел не давит миллиметрами ртутного столба, не определён в провинциальные клетки и изменчиво абстрактен. Рыбы похожи на цветы, цветы на камни, черви – на звёзды, а люди... похожи на людей, и феномен невесомого человека, бездельно созерцающего свободный мир, прост и прекрасен, как в начале...

Волшебство состоялось – Каренины удалились по-английски. Муж закатал штаны до колен, что для него означает высшую степень разгула. А я купила за десять шекелей шаль в попугаях и завернулась таким немислимым образом, что в ресторанчике под пальмовой крышей нас приняли за самих немцев, что означает предел южного понимания северной крутости. Чудо невесомости продолжалось. Мы были веселы, молоды, влюблены, смеялись и понимали, что своим присутствием улучшаем мир. Официант старался быть поближе и угодить понимающим людям, посвящённым в тайну "ноу проблем" – здесь, на ничейном пяточке между про-

зрачными синими куполами.

Мы благодушно пили холодный сок, обсуждая следующий заплыв к соблазнительно торчащей поодаль скале, когда приехал автобус. Из него вышло полсотни женщин с сумками и несколько мужчин с фотоаппаратами. Все организовано проследовали к морю, аккуратно разделись, сложили сумки в горку, укрыли платьями, приставили покартаулить батюшку в рясе, зашли в море по пояс и стали тихонько хлопывать руками по водичке.

Я забеспокоилась: "Смотри, они так ничего и не поймут. Они выложили свои последние деньги, чтобы как все... но ничего не получают: смотри, сейчас они уйдут, уверенные, что были на Красном море... Они не видели кораллы и рыб под ногами – там, совсем близко... Я пойду, дам им маску".

– "Кому, всем пятидесяти? Опять в народ? Ты только расстроишь их, сейчас они уверены, что погрузились в Красное море, и все им будут завидовать – там, у них... Видишь, как фотографируют – на память о Синае. Вот, целятся на верблюда, на олеандр у туалета, на нас и нашу с тобой сладкую жизнь..."

– "Смотри, они даже не купили себе попить... как мы прежде".

– "Давай, давай, догони своих бедных пэтэушников, скажи: "Милые, добрые бомжи, вот вам самый большой арбуз" – заворчал муж, начиная раскатывать штанину, – беги, расскажи им про свою Красную рыбу с поминок по Андропову".

– "Нет, только не это, – опомнилась я, ухватившись за дрогнувшие, готовые перевернуться песочные часы, удерживая равновесие этого неустойчивого мира, – Нет, мессир, оставьте меня, пожалуйста...я сама!"

К нам подошла большая белая собака, положила лобастую голову у тарелки, не прикасаясь к ней на миллиметр, и вывернула на нас глаза в честном ожидании одобрения её фокусу. Всё обошлось, как будто; мы были, кажется, *были...* Пообедали с собакой, скоротали счастливый часок и опять пришли к морю.

"Знаешь, – сказала я проплывающей мимо рыбке, – кажется, я умею останавливать мгновение... сама..."

Свято место

Читала где-то, что *зло* там, где нет *добра*. Понимаете? То есть, *зла* – самого по себе – нет, а просто... пусто – в святом месте. И, быть может, пустота эта – и есть *зло*? А персы верили в независимость существования двух начал: добра и зла – не одного, как у евреев – и весь мир для них был ареной борьбы добра и зла. Очень соблазнительная картина для слуг, у которых вечные проблемы оттого, что баре бранятся.

Конечно, я была еврейкой... в начале. Но, теперь, когда я живу в Израиле, и в паспорте у меня написано «еврейка» – тут уж, простите, – дудки. Если бы я была персом – в началах, то... да, так о чём это я? Приснился сон: "лицом к лицу – лица не увидеть" – собственно, и всё: я знала, что мне снится, и было ощущение трагедии обращённых друг к другу лиц, не видящих зрячими глазами...

В то утро начала восьмидесятых, муж отводил детей в садик, а я вышла из дому раньше, чтобы успеть до работы купить молоко, потому что в обеденный перерыв его уже не будет. Автобус с моей остановки делал большой круг, прежде чем вырулить к мосту, и если пробежать три километра наперерез, то можно сэкономить пять минут. Я лукавила: мне просто нравился утренний бег по пустому заснеженному шоссе вдоль реки. Сыпал мягкий снег, которого уже не будет через пару часов, и которого нет в центре го-

рода – на площади Металлургов, и я, подпрыгивая, удирала, казалось, переживая козлиную радость жизни. На остановке впихивалась в уже переполненный автобус и начинала задыхаться. Не выспавшиеся люди уныло висели, уцепившись за поручни, воздуха не было, как всегда в зимних автобусах, когда кому-то мешают открытые окна. Лица были похожи на компостеры, и казалось, если дёрнуть за нос, то зубы клацнут билетик... В мире было мягкое зимнее утро, моя камера наезжала на огромную сосновую лапу, и тенор великого Джильи срывал с неё искрящийся снег.

Вообще, кажется, я в те времена не ходила вовсе, а бегала. Смысл передвижения заключался в том, чтобы успеть проверить все ловушки и капканы – ноги кормили меня, детёнышей и их отца, который тоже бегал, но, увы, по иным тропам, и редко появлялся в семейном обозе.

В те годы я снимала фильм "Белый клык", по сценарию любимого одноименного романа Джек Лондона, где играла роль матери-волчицы, но в травоядном варианте, и без драк с росомахами. Я знала родной лес и ответ на святой вопрос "Что дают?", поставленный в очередь после "Что делать?" и "Кто виноват?"

...Если в маленький молочный магазин в тупичке прийти за десять минут до открытия, то будешь в начале очереди, и можно взять две бутылки молока по двадцать две копейки, успеть вовремя пройти мимо Серёни к своему кульману и выставить сумку за окно. В обед надо по звонку сорваться в

галопа, потому что след взят на крупную дичь. Три остановки с площади Metallургов до улицы Сталеваров – и я в диетической столовой за пару минут до появления толпы обалдевших от трудовой вахты работяг. Кладу на поднос пять стаканов сметаны и пять тарелок творога, чувствуя себя прожорливой гадиной. Вообще, это запрещено: вам тут не магазин, поэтому в моём фильме возникает шпионская мелодия, и под неё я, как радистка в немецком тылу, умело собираю содержимое тарелок в одну банку, стаканов – в другую. Закрываю банки пластиковыми крышками, укладываю в сумку и... сверхзадача текущего дня выполнена, музыка становится сладкой, и я умильно поглядываю в будущее. Много ли надо стремительно вымирающим от врождённого альтруизма российским женщинам...

Вторую половину дня я карабкаюсь по своему двух-форматному чертежу в приподнятом настроении, принимая поздравления от Мушки, Фаины, Пушкина и даже наш гов. Серёня кажется мне неплохим малым.

А по пути домой... я не выдержала... – не сумела, не смогла – упала, растянувшись на три километра Советского проспекта, в сумке хрустнуло, хлынуло молоко... было темно и пустынно. Я лежала, пожалуй, даже вальяжно, как на диване, когда несут чашечку кофе – вставать было не охота и ни к чему, хотелось спать и видеть диетические сны. Подъём означал бы признание данности того, что лежу в грязи, среди осколков разбитой сверхзадачи, что охотничье счастье

изменило, голодные щенки остались без молока, гов. Серёня – вовсе не добрый малый, и надежды на божественный тенор Джильи нет...

Пятнистая луна рассеянно листала мятые облака; но-востройку окраины Энска тревожил волчий вой: горько рыдала провинциальная душа, оплакивая свою жизнь, жизнь своих детей и невозможность выбраться из Евразийского зверинца. Я поднималась, плача, сморкаясь, отряхиваясь, и луна, свалившись мне под ноги, близоруко тарасилась в разбитом пенсне замёрзших луж.

Синеет мутный снег, и первые приметы весны неверны: ветер тучи февральские не гонит – низко стелет. Всё чаще грезится горячая тропинка, бегущая в звенящем летнем зное и серых валунов тела живые, пропитанные чистым сильным жаром. Кузнечики, как брызги из-под ног, на миг, притихнув, в воздухе исчезнут, чтобы опять наполнить небо звоном. Дорожкой той, бегущей по дну балки, я летом прошлым шла, и сыновья, коричневыми спинками мелькая, в траве возились: толстый чёрный жук был ими в плен захвачен... И тогда, мне вдруг пригрезилось, как холодно и пусто в февральских лужах небо отразится в далёкий зимний день.

В песочных часах начала восьмидесятых заживо засыпались все расточки сознания, и холм над братской могилой догадок и прозрений рос с неотвратимой закономерностью. Это неправда, что рукописи не горят – куда они денутся... от

высоких градусов по Цельсию... Отлично горят, особенно, когда идут на растопку жертвенников. Моя рукопись горела синим пламенем, тлел, обугливаясь, баобаб и то, что теперь я пишу эти строчки и говорю "моя книга", вовсе не значит "хеппи энд" несгораемой рукописи. Дудки, господа – добро не победило зло в моём неперсидском королевстве...

Это неправда, что поэт должен страдать. Может, кому и приятна эта странная идея, но, поверьте, и поэт любит сосиску и будку с видом на необитаемость, и тогда он мыслит точно и не тащит читателя в ад своего внутриутробного неустройства. Хомо разумный, способный осознавать информацию, должен устроить себя – свою свободу от сосисок, будок, плохо заточенных компьютеров и только тогда позволить себе пробу пера; но в полном одиночестве, используя себя в качестве подопытного. Вот, написал, попробовал... выжил, как будто... Мысль необходимо доводить до готовности и подавать в аккуратной упаковке. И не нужно беспокоиться, что не прочтут – нужно беспокоиться, что прочтут и скажут: "Истина".

Пророчество невыносимо. Может каждый из правды вырвать клоч и, как палач, толпе представить тусклые глаза гармонии умершей...

Читала где-то, что у Пикассо спросили, не боится ли он, что его творчество не понятно большинству. И он ответил, что его творение войдёт в дома людей новой формой унитаза, и с него довольно. Думаю, что если творец сам не готов к

утилитарной судьбе своего творения, то станет его жертвой. Мастер, своими руками отнёсший книгу товарищам писателям, был обречён – без Воланда... Но, знаете ли, для всех... в вечном приюте и прочих заграницах мест нет, и читателей просят не беспокоиться о надежде, что умирает последней – она и так всех переживёт.

Не принимаю жертв, себе не льщу, что жертвовать способна. Так, порочна сама мысль о жертвоприношении, о том, что могу жить чужими страданиями или принять муку ради иных... Трагичен врождённый порок альтруизма, сжигающий рукописи целыми библиотеками. Каюсь: в том, что случилось со мной в Энке, не было скрытой красоты и тайного смысла. Была увлékшая меня трагедия провинциального зверинца, а прекрасные острова смысла возникали вопреки – когда спасалась, воскресая сама, и таяли, когда спасалась в чужих воскресениях...

Однажды гуляла вместе с моими маленькими детьми. Была золотая осень, и в пустом парке горели клёны. Мы стояли под королевской короной красного золота, сквозь узоры сияло синее небо, и я, взволнованная красотой, сказала своим мальчикам: "Смотрите – это Бог". И они верили мне. А потом, я говорила им, приводя к реке: "Смотрите, это – Бог!" – и они ещё верили. А потом я повезла их в Москву, но они уже не поверили в мою Красную площадь... в мои слова. Я не лгала – я не знала: "моя беда – не вина, что я наивности образчик", но... на всех наивных мастеров Воландов не на-

пасёшься, и дети перестали верить и слышать меня, а я испугалась – страх вошёл в любовь, мы теряли друг друга, не умея остановиться.

А Пьер... Грустная семитская физиономия превращалась в трагическую маску. Должно быть, «физики» как-то слишком цельны без «лириков» – слишком «в себе» относительно брэнной жизни, заполненной гороховыми концентратами и текущей инсталляцией. И теория относительности возникла у них, как поправка к законам... для лириков. Мол, мы-то знаем, доктор, как и с каким ускорением падает тело, но для лириков... если они так беспокойны в полнолуние... У Пьера были одни летние штаны – рыжего вельвета и две рубашки в тон: оранжевая и жёлтая. Семитское лицо крупной рысью носилось в передовых отрядах специалистов по вооружению Империи Зла.

Однажды моя сотрудница Валя – из тех, про которых говорят *добрая баба*, услышав про мои сетования (не без тайного кокетства) о муже, на котором держится свет сияющих вершин, сказала неожиданно злым голосом: "Из-за таких мы и мучаемся, пропади они все..."

Я задохнулась от святотатства. Как? Герой труда, победитель социалистического соревнования. Конечно, у самой-то Вальки её мужик где-то на Севере гоняется за длинным рублём: вон, напялила на безразмерный зад джинсы в три зарплат... Прости меня, дуру, Добрая Баба Валя. Ты и твои американские джинсы были правы против нас – физиков и

лириков – белых и рыжих клоунов на провинциальных сценах абсурда.

Недавно прочла в израильской русскоязычной газете предложение читателя платить пенсию здесь, в Израиле, в зависимости от выслуги лет в СССР. А? Уловили ситуацию? Будь я Азазелло... издала бы поправку к закону о пенсиях в обратной зависимости, ввиду того, что стаж работы в Империи антисемитизма является государственным преступлением против Израиля. Но я не Азазелло, и вообще... мне пенсия не положена... как летуну.

Острова самодостаточности растворялись в первобытном тумане...

Черное тело ночи сырой втиснуться хочет в окно. Доверчиво сонный кораблик скользит, наше храня тепло. Проснулся мужчина, распутав все сны в предчувствии близком утра. В лице отрешенно спутались тени – неслышная спит жена. Он скажет: "Бедняжка, проснись, ничего, скоро придёт весна, камни нагреются, и под ногами будет твоими трава..."

– писала я, а потом говорила мужу: "Знаешь, я пойду работать проводником в вагоне... Знаешь, это чудесная мысль. Я устроюсь в поезд Москва – Эндик и буду привозить вам апельсины. А в своём вагоне устрою всё так хорошо: чисто, уютно, вежливо, чтобы все были счастливы. И ещё можно дополнительный заработок... я уже придумала. Если колбасу... докторскую..." – и тормозила, спотыкаясь об ужас в

его глазах. Он увидел меня тогда – поймал в свой дальнорезкий фокус, нацеленный на сверкающие вершины, может быть, впервые за много лет. Увидел, что я – не солнечный зайчик, не домашняя экспозиция коммунизма, а близкая к отчаянью, бесконечно уставшая женщина, похожая на тех, которые окружали его на работе, в автобусах и к которым, по нашему молчаливому уговору, он не причислял меня.

Покаюсь в лицедействе – сорву маску счастливой поселянки, за которую судорожно цеплялась долгие годы – я безумно боялась превратиться в танк: проснуться, однажды, зажатой в десятиметровой коробке своей спальни. Я бы попыталась двинуться, но гусеницы вращались бы на холостом ходу, а качнувшийся хобот пушки жирно оцарапал бы полированный секретер и вырвал клоч немецких обоев. Заплакала бы – и услышала пронзительный вой аварийной сирены, и сбежались бы дети и муж, и я увидела бы то, что боялась увидеть больше всего на свете – ужас в их глазах... ужас, обращённый ко мне... – в глазах тех, кого люблю.

*Не бойся, муки больше нет, чем страх внушать...
Опять тонуть, опять бежать... Как страшно видеть
позади твои глаза – и в них себя не узнавать...*

"В слове, что было в начале, сказано, что женщины так не живут, мужчины так не живут и дети так не живут, как живём мы. Так живут танки, трубопроводы и компостеры, но недолго, потому что нуждаются в обслуживании и ремонте, а люди уже не могут: падают на ровном месте – брык-брык – и

нету" – вот так должен был объяснять заместитель парторга ПТУ, подполковник в отставке, явление «перестройки», но не сумел...

Мне была необходима улыбка Жанны, и я цеплялась за неё за пределами надежды. Однажды, в конце семидесятых, написала в "Литературную газету" письмо, что происходит катастрофа: женщины превращаются в танки, и поэтому их сыновья не могут становиться мужчинами... И знаете, меня немедленно опубликовали в первом майском выпуске. Статья начиналась так: "Слова молодой женщины, равнодушной к... перекликаются со словами генерального секретаря..." Далее, какие-то, возможно, что мои, слова перекривляли меня, строили рожи, показывали языки, ехидно подмигивали, а потом я получила гонорар – двенадцать рублей с копейками, и случай записался в счастливые.

Я намертво прилепила к себе маску поселянки, не зная про американский «чииз», и моя улыбка не снималась, как у "человека, который смеётся", и это ещё более осложняло жизнь: в танковых войсках – улыбка – мишень номер один. Я шила себе ситцы с оборочками, пила кофей из крохотной чашечки, раскладывала пасьянс и улыбалась в танковые дула. А потом... брык-брык... улыбка размазалась по трём километрам Советского проспекта, в сумке хрустнуло, мои мужчины смотрят на меня с ужасом... и я боюсь взглянуть в отражение их глаз: это случилось... случилось со мной...

"Нет" – оправдывалась я: "Я – солнечный зайчик, вот,

пойду только умоюсь... Ну что вы смотрите? Подумаешь, невидаль – женщина-танк... Принесите мне машинного масла и прекратите трусить, а то... как врежу сейчас... по суперменам... О-кей, ну ладно, да! Я – не отблеск твоей сверкающей иллюзии... ну да, я не знаю кто я..."

Мы стояли лицом к лицу – мрачный мужчина, измученная женщина, два мальчика, которым предстояло выбирать самим... сначала. Поодаль, в белом пластиковом кресле сидела, завернувшись в вишнёвый плед, знакомая женщина с печальной улыбкой... – то ли моя бабушка, то ли Жанна Самари... Витали улыбки, кажется, Пушкина, или... Вольтера, или чеширского кота... – я не узнавала... Нас ждала эмиграция, и я молилась:

*"Любимый мой, смотри, озябли руки от холода
бездушной пустоты. Давай подышим вместе, и
отступит, дыханием согретое, безумье, и хоть
ненадолго растает и прольётся его слеза..."*

Эпилог

Читала о мучительном предназначении человека связывать собой время. Я ощущаю даже не связь, а нечто большее – жизнь в трёх временах. Прошлое не ушло, будущее видится, и переживаемое мгновение далеко не всегда доминирует в вечности, данной мне на хранение. Я проживаю вечность своей жизни: блуждаю по её лабиринтам, отдыхаю на островах самодостаточности, выбираюсь из тупиков. У меня свои минотавры, привидения, и мои болота полны манящих огней, завлекающих в трясину.

Машина времени... участница... созерцательница?

Свободна ли я на своих дорогах, и в чём спокойствие моей души? Могу ли отрешиться от прошлого, будущего и не связывать собой разбросанные в неведомом порядке мгновения моей вечности без страха, что их подхватит и разметает вихрь небытия... Можно ли быть в остановленном времени, пережить прекрасное мгновение бессуетного созерцания?

Не однажды я испытала бессилие перед судьбой, видимой мне, как в волшебном фонаре. Мне не дано изменить порядок вещей, но я могу понять... – в этом смысл жизни?

Смерть... как бессилие моего сознания? – неспособность к соучастию в данности под названием жизнь, когда моя судьба остаётся... без меня, брошенная ли, утерянная – неосознаваемая мной – она теряет свой порядок, гибнет, сея

гибель вокруг, и это катастрофа – зло пустоты святого места... в котором нет добра – забыто слово, что было в начале...

Не дай Бог пережить свою смерть – уйти в небытие раньше своего тела, бессмысленно выживающего, одичавшего, брошенного на произвол судьбы, слепо разрушающего себя и всё вокруг. Мир полон непрожитыми судьбами, необитаемыми планетами, бездомными душами.

Нарушена гармония, смят Хаос – в который раз рождён Никто, и крик испуганного темнотой ребёнка ещё звучит, и День Шестой всё длится... В усилиях тщетных ищем слово в крике, всё очертить стремимся, обозначить, основ основу в уходящем в нечто достичь, случайный миг поймать... Растаял свод придуманных законов. "Ужас, ужас" – от тени исходящий – Миром правит... Но всё же «миром»: чашка молока, окошко в спальне с жёлтой занавеской, твоё письмо, молитва... Мною круг очерчен, и закон определён давно, и день уж прожит – почти – мой День Шестой, создания себя.

1996 г. Арад

Иероглиф

«Древний Ханаан, казалось, своей географией был создан для вольнодумцев. Из маленького земного пространства, как из шляпы фокусника, возникают горы, долины, каньоны, пустыни, лунные пейзажи, буйная зелень, похожие на запёкшуюся кровь камни, воды всех земных океанов и мёртвого, обнаружившего себя под солнцем лазурным бликом из зазеркалья. Страна похожа на проходной двор, где торопливый путник ускоряет свой шаг, и даже сама планета здесь в геологическом раздоре: разрывается между своим восточным и западным полушариями, а где-то в подземельях Ханаана тискают друг друга в грубых объятиях слепые титаны».

Лиза поправила уставшую свечу, прилепленную на корпус печатной машинки у клавиатуры. Так холодно ей не было никогда прежде. Никогда она не мёрзла так, как здесь в Израиле. А ведь очутилась, чуть ли не в Африке, и теперь замерзает, как француз на смоленской дороге: сидит в сапожках, закутанная в платок и плед, на просевшем диване в пустой комнате. Электричество не подключили – они с мужем и детьми въехали в ещё не готовый к жилью дом, и теперь переживали неустройство. Недавно включили газ – появилась возможность греть воду, пить чай и обнимать грелки.

Была свирепая для этих мест зима со слякотным снежком. Тёплая одежда была скверной, но прикупить что-нибудь Ли-

за не решалась. Привычка отказывать себе стала символической жертвой, малым самоубийством: мне ничего не надо. Нужно было ей остановиться, успокоиться, но это казалось невозможным в начале эмигрантского марафона, когда позади ещё не простыл след прошлой жизни, похожей на лихорадочные сборы.

Ей необходимо было отстраниться от обстоятельств, сосредоточиться на себе – что может быть важнее? Но Лиза не знала этой и многих других житейских мудростей, и потому штурмовала жизнь, как смертник, теряя силы и годы, со страстью отдаваясь самопожертвованию, запутывая близких надсадным "мне ничего не нужно". Так случается с теми, кто мерит собой других людей, приписывая им свои чувства и мысли.

Пламя свечи дрожало, едва освещая страницу с сероватыми буквами. Лиза представила себе исполинские страсти подземелий, слепых гигантов, скованных скалами, пытающихся пошевелиться, вздохнуть, расправить члены. Но, посочувствовав им, решила, что и ей тоже плохо в бетонной коробке...

"Воды Атлантики приходят к пляжам Средиземного моря, Индийский океан касается пальцем Эйллатского залива, а в долине Мёртвого моря рассыпаны бирюзовые брызги подземного прибою. В Ханаане нет больших рек – нет необходимости объединять свои усилия и создавать государство, подобное Египту или Вавилону. Здесь каждый сам может уто-

лить жажду дождевой водой – все равны под небом”.

Лиза слушала шуршанье струй, но, странно, шум не казался похожим на дождь. И всё же это была вода... Взяв свечу, она отправилась на звук. В туалете на полу стояла уже приличная лужа. Квартира была куплена на новостройке через месяц после приезда, когда ещё только начиналась кампания по ловле новоприбывших душ, и сыр в мышеловке был почти даром. Банкам нужно было завлечь первую сотню-другую покупателей, чтобы те поманили с другого берега, мол, давай-давай, совсем не страшно, – окей, и тогда бы все ринулись вслед, подписывая векселя и не входя в коварные финансовые подробности.

Лиза с мужем оказались среди первых смельчаков. Их не увлекло многоголосье: “Потом будет лучше, дешевле”...

– “Это почему же?” – возражали они: “Потому что едет миллион бездомных?”

Лизино “мне ничего не надо” в данном случае давало ей определённую свободу. Выяснив, что в случае смерти, долг не переходит к семье, она обрадовалась: повезёт выплыть – хорошо, а нет – лучше тонуть, зная, что дети на берегу.

Предложенная партия была проста, но, соглашаясь заплатить жизнью за проигрыш, Лиза не понимала закономерности этого решения, и, не зная правил игры, следовала им хотя и верно, но, подчиняясь внутреннему голосу – “из общих соображений”, что изматывает неопределенностью, и вместо удовлетворения от сознания правоты, она ощущала расте-

рянность от неоцененности добродетели.

...Так маленькие дети, умывая руки перед едой, огорчаются, оставшись без одобрения взрослых...

Эмигранты девяностых во многом были «маленькими»: хорошими и плохими, умными и глупыми, старыми и молодыми. Они не умели по-взрослому выгодно владеть своими силами, временем, желаниями, деньгами, и отправлялись в незнакомый мир со своими игрушками: горными лыжами, ракетками для тенниса, похвальными грамотами, сервизами, собачками, детьми и стариками.

Они верили, что “далёко-далёко за морем, лежит голубая страна, и дети там учатся в школе, и сыты всегда старики”... что “обетованность” – волшебное слово вроде “сиссим”. Они укладывали в багаж коробочку с гвоздями и молоточек, играя в ответственность за будущее: “ничего не забыл? – нет, ничего, даже гвоздик взял” И хотя многое подтвердилось: и школа для детей, и сытость, и море – чувствовали себя обманутыми, ведь «взрослость» – возраст души.

* * *

Поправив наклонившуюся свечу, Лиза продолжала писать: «...мир был пуст и хаотичен, мысль бессвязна, а человек беспомощен... дом не защищал... воздух, вода, земля не были чисты; и дух Божий бесприютно витал над бездной...»

Позже она показала свою рукопись лектору курса исто-

рии, который Лиза стала посещать, и тот, пробежав глазами, сказал, что Лизе, спустя годы, будет стыдно за эти листочки. Она, конечно, милый и интеллигентный человек, но как можно так запустить себя... такая необразованность, безграмотность, надсадные и беспомощные попытки проповедовать банальности... скрижали какие-то: “просто физически трудно тащить Ваш текст. А это у Вас что тут ”архисложно” – это что? – из Ленина?” Лиза не знала, что сказать и откуда у неё взялось это дурацкое слово...

Встреча была у него дома в круглой комнате с высоким потолком, полуосвещённой газовым камином. Он предложил кофе, и Лиза торопливо отказалась, а потом жалела – так хорошо было бы обхватить ладонями горячую чашку, почувствовать её тепло всем существом, спрятать лицо в облачко пара.

Перед тем, как зайти, она в подворотне припудрила нос, подкрасила губы... Так много ждала от встречи...

... Должно быть, он прав, но... неужели он не замечает, что никто ничего толком не понимает, что знания бессвязны и кичливы, а искренность вызывает раздражение и неловкость, словно обнажённая душа – срамное место.

Лиза спустилась по лестнице, не заметив, как за перила зацепился пояс от плаща и потерялся там навсегда...

Успешно окончив курсы еврейской истории, она поверила, что сумеет освоить новую профессию, которая приведёт

к интеллигентному заработку. Эта была одна из тех безумных надежд, которые манят, когда приходит отчаянье.

Так, однажды, её осенило, что можно мастерить шляпки к парикам религиозных женщин по технологии, вычитанной ею когда-то в рубрике «Умелые руки» об изготовлении нитяного абажура с помощью клея, вазелина и надувного шарика.

Чудные пёстрые шляпки с цветами и бабочками! И, конечно же, не станет отбоя от покупательниц, которые заждались в своих бездарных пилюлях и шишках набекрень. Лиза даже поделилась идеей с приятельницей и пообещала взять её в долю, когда дело пойдёт. Приятельница не отказалась – просто посмотрела пустеющим взглядом и посоветовала поискать счастье в корзинах отходов на нитяной фабрике.

А затем пришла спасительная иллюзия о карьере историка, и Лиза даже однажды побывала на учёном семинаре. Ей запомнилось, как по парку вприпрыжку вместе с крупной девушкой бегал маленький седой историк в полотняных бриджах с накладными карманами и железными молниями, и как подумалось, что, верно, он бросил семью в Москве и теперь играет в «Ханаан». А у девушки были озабоченные глаза, она резвилась рассеянно и не в такт самозабвенному спутнику, должно быть, пыталась понять, чем обернутся для неё эти прыжки. И ещё запомнила, как супружеская пара кандидатов наук с крокодиловыми кейсами и улыбками тискали по углам доктора наук – главного на этом семинаре, и

как читала рукопись учёная дама: по диагонали – хоп, хоп, хоп – и три листочка в левой стопке...

“Природа Ханаана разобщает людей, как дорога, по которой уходят. Здесь, в нескольких часах пути, можно оказаться в совсем ином мире, требующем иных умений жизни, потому в каждом из возникших здесь когда-то городов-государств были свои идолы”.

Лиза старалась не слышать капель в туалете и продолжала писать: "Равенство под небесами проливается зимними дождями, и всяк волен собрать и сохранить для себя свою воду и жизнь. Человек зависит только от себя и неба – здесь выживают свободолюбивые одиночки. Индивидуализм – суть и внутренний закон Ханаана».

Мысль неотступно кружилась вокруг водной темы, и Лиза опять отправилась к своей луже и испугалась, оказавшись почти сразу на берегу. Нужно было останавливать стихию. Она провела осушительные работы и пошла вверх по течению. Жидкость сочилась из-под карниза, и Лиза, вздохнув, стала действовать.

Вначале она задумчиво покапала расплавленной свечой на щель, для верности примяла пальцем тёплую затычку и огорчилась, что красивое решение не сработало. Лизины тени волновались в тесном каре стен, и казалось, что за спиной собралась толпа зевак. В полу обнаружился предмет, похожий на крышку маленького колодца. Отковыряв её кухонным ножом, Лиза обнаружила отверстие в полу, и принялась

строить запруду. На плотину пошли какие-то плохо различимые в колеблющемся свете предметы, и укрощённая вода устремилась в рукотворное русло.

* * *

Свеча погасла. Лиза долго шарила в темноте, нащупывая спички, а затем продолжила писать: «...так легко затеряться в игрушечной необитаемости. Ханаан создан для беглецов – здесь неподходящее место для постоянства. А вчера я ехала двумя автобусами в страшный дождь на работу, а когда добралась, то оказалось, что дверь закрыта, и никто даже не предупредил, что не нужно приезжать...» Лиза удивлённо перечла конец фразы и подумала, что придётся перепечатывать лист и это даже хорошо, потому что придумывать устала, и лучше что-то делать бездумно.

Должно быть, тогда-то, она и впечатала злосчастное «архи» – мысль, освобождённая от работы над замысловатыми ханаанскими иероглифами, покружилась и отлетела в гнездо, словно птица с подрезанными крыльями.

Гнездо было в странном месте: там валялось просиженное кресло с замусоленными подлокотниками и вылезшими поролоновыми потрохами. Розовая кофта была набита пёстрыми тряпками, застёгнута на все пуговицы и связана собственными рукавами. Ещё там были почти целые чемоданы с ржавыми замками. Гнездо напоминало терновый венец,

но крупнее. В нем можно было даже лечь на спину и закинуть руки за голову, согнув ноги в коленках, а можно было свернуться калачиком, но растянуться на животе, как любила Лиза, было уже нельзя. В тайничке – сбоку между прутьями – лежала поломанная золотая серёжка с большим сиреневым александритом, клеёнчатая бирочка с тряпичными завязками из роддома, где были написаны фамилия, время рождения и пол Лизиного ребёнка, красивая баночка из-под кофе, дневник и девять упаковок снотворного. Вещицы хранили мифы, обречённые на забвение, как история варваров – так древние греки называли тех, кто не умел запечатлеть жизнь в изящной форме. А древние евреи верили в слово: что толку в незащитных чувствах и мыслях, строящихся как карточный домик? Вот... мелькнула, ещё... как будто... возникает смысл... Но вяло, слабо и неумело собранные мысли рассыпаются, смешиваясь с чувствами, и опять не знаешь – как быть? Вновь обречённость на «чёт-нечёт» в чужой игре и страх, что пересекутся адреса, календари и поезд из пункта «А» не разминётся с поездом из пункта «Б», сокращая судьбы и разрывая связи.

Лиза могла бесконечно перебирать свои воспоминания как чётки, и они звучали все тоскливее. Она точно помнила, что прежде мир был радостней, но воссоздать ритм и мелодию счастья не умела и думала, что, верно, прошло её время.

Сиреневый александрит с мерцающей многогранной обидой достался Лизе на память о родне – её *круге*. Вот, пожалуй, слово, что держит мысль. Круг – фигура на плоскости, как на шахматной доске, где летают только руки гроссмейстеров, а фигуры ходят по вечным для них правилам. Все упорядочено: тупость уверенна и последовательна, подлость бьёт из-за угла; у шахматного Гамлета выбор только в периметре, ограниченном ударом шпаги. А Лиза шла, не зная ходов, пока не оказалась на краю.

Подробности не в счёт – не всё ли равно... Ну, допустим, некто украл платок, устроил интригу, передвинул стрелки и, вот, выехал поезд из пункта “А”, и в тёмных яростных пальцах перестала биться голубая жилка – то есть, смешались ярость и пульс, отказали тормоза, исказилось прелестное лицо... Или, к примеру, налил спящему в ухо яду, тот замычал, дёрнулся и – ах, ах! – какая победа: шах и мат... И сбитые фигуры исчезают за краем...

...Тогда она вошла в ванную комнату и присела на корзину для белья у стиральной машины “Чайка”. Шланг слива часто срывался, и тёмная мыльная вода хлестала, как из пробоины в трюме. А клеёнка по периметру отклеилась, и её хочется содрать, как облупленную после загара кожу. Но новая – молодая и розовая – не обнаружится. Вместо неё

возникнет шершавый бетон, испачканный жёлтым клеем с черноватыми пятнами плесени – так выглядит край.

Лиза растолкла таблетки в порошок: сидела на краю ванны и толкла в чашке деревянной толкушкой для картофельного пюре. Почти у носа на трубе парового отопления сушилась школьная форма тридцать шестого размера, синяя, из Москвы. Муж привёз из командировки.

Чтобы купить такую, нужно было предъявить паспорт с московской пропиской или дать взятку продавцу. А украинская – коричневая – сидит мешком и мнется.

Лиза пощупала ещё влажную ткань и решила прежде выгладить костюм, потому что им будет не до того. Она рассчитала, что четверг – самый удобный день. Прибрала, пересмотрела свои вещи, выбросила всё, что не сможет пригодиться, приготовила обед на неделю. В чашку залила воды на треть – больше она не осилит. Выпила горькую жижу, налила ещё немного из-под крана, взболтала, проглотила, помыла чашку, хотела поставить на место, но не смогла. Чашка упала и разбилась, а напоследок Лиза подумала, что кто-нибудь теперь наколет ногу.

* * *

«После смерти царя Соломона дом Давида раскололся на два царства: Иудею и Израиль. Началась «Эпоха пророков». Лиза вскипятила чайник, заварила чай и повеселела, улыб-

нувшись горячей чашке и мысли о том, как вынесло её, словно внутри был компас, к теме «Этическая концепция иудаизма в эпоху двух царств» – так называлась её дипломная работа.

«Почему Вы выбрали эту тему?» – спросил профессор. «Интересно» – ответила Лиза, не найдя более убедительного ответа. Но потом, спустя годы, поняла, что как больной зверь ищет лечебную траву, она искала закона, по которому может жить.

Соседка Лизы назвала тему своей дипломной работы: «о языке идиш». Пожилая москвичка с чувством рассказывала о языке своего детства, а Лиза представляла, как в германский язык вплетался иудейский диалект, и, возможно, тамошних немецких обывателей раздражал усиливающийся говор местечка, так похожий на их родной язык, но закодированный чужаками... для их тёмных делишек... бедный фатерланд...

* * *

Лиза поставила стакан на пол и продолжила писать: «Пророками были люди с ярким восприятием мира и обострённой совестью, со способностью слышать гармонию и отличать фальшь даже в устоявшемся порядке, кажущемся для большинства стабильностью».

Лиза прочла и сама удивилась тому, что слова сложились

понятней, чем породившая их и не совсем ясная до того мысль, и Лиза сама что-то узнала заново из своего текста. Если бы прежде её спросили, кто такие «пророки», она бы вспомнила надрывные проповеди о том, что Бог – в Душе, а не в Храме. Назвала бы имена, места, даты, подробности событий, и как этих людей уничтожила толпа, и как потом эту толпу уничтожила другая толпа...

А теперь Лизе ясно, что их «правда» была предназначена, конечно, не для шахматной возни в тогдашних королевствах, а обращена в вечность («нетленка» – назвал такого рода тексты один знакомый редактор), и что теперешняя цивилизация, возможно, развилась из когда-то слабых и беззащитных пророчеств.

И ещё Лиза подумала, что если «мысль произнесенная – ложь», то истина обречена на кликушество или схоластику. И лучше одиноко сидеть в башне из слоновой кости, чтобы было в ней тепло, горела лампа под абажуром – и Лизина мысль привычно бежала из далёкой Иудеи с её гневными обличителями в уютную комнату с письменным столом у окна в сад и алой бугенвилией, обвивающей деревянную балку веранды.

Напротив – в кресле, откинувшись на высокую спинку, отдыхал пророк Иезекиль: сухощавая фигура, грустное лицо, джинсы, лёгкий свитер.

Карие глаза внимательны, шрам на щеке, и видно, когда опирает подбородок на руку, продолжение шрама на тыль-

ной стороне кисти. Объяснил, что это след от брошенного камня: хорошо, что успел прикрыться – не попало в висок.

Говорит глуховато: «И было слово Господне ко мне сказано: Я – слово Господа Бога... Ты, что бедного и нищего обманывал, грабежом занимался, залога не возвращал, притеснением притеснял, грабил брата, в рост давал и проценты брал... и на идолов обращал глаза свои... Все эти гнусности совершал – и жив будешь?»

Прочёл Лизину рукопись: «Почему так сложно? – спросил – заумное словосочетание... Почему не написать проще: о «заповедях»?»

Лиза пожала плечом: «Не знаю, пожалуй... «этическая концепция» – иероглиф, форма, придающая определённую законченность работе многих мыслителей – точка над *i*, от которой можно оттолкнуться в разумном диалоге. «Не убивать, не лгать»... – заповеди, размытые временем, нуждаются в сосуде, чтоб не расплескать их зря перед невежей, который не жаждет их знать. Надрываясь, я тащила неуклюжие слова: «Клевета и воровство – зло». И мне возражали: «Почему? – смотри проще: просто немного не хорошо – не очень *красиво*; и это ещё, с какой стороны смотреть». На этот бессмысленный диалог я тратила силы и время – свою жизнь. А теперь скажу: «Вы не знакомы с этической концепцией, сударь? Расставим точки над *i*: не знаете азбуки, которой тысячи лет или врёте? А? Вы кто, дурак или подлец? Разберитесь, пожалуйста, что это с Вами? Эдак, гнусностей насовер-

шаете, неправедник Вы, эдакий, и пребудете без живой души. Нет, я не верю Вам... так-то».

Иезекиль смеялся, по садовой дорожке прыгала упитанная птичка. Случилось счастье.

– Вы понимаете? – улыбнулась Лиза.

– Да.

– Понимание радостно, словно глоток чистого воздуха... Странно: свобода, равенство, счастье – все хотят одного, равны в своих желаниях. «Я хочу счастья – ты меня понимаешь?» – «Понимаю»... «Вот-вот... мы совсем одинаковы» – совсем близко... ещё немного усилий для общего счастья... Эх! Недостаёт самой малости. Кто виноват? В чём? – почему равенство желаний бесплодно? Можно всем, как один, взяться за руки и закричать: «Хочу счастья!». И крик оглушит всех – все оглохнут и наступит долгожданное равенство... но ненадолго: скоро станет очевидно, что у всех разное зрение и что окончательно равняет только смерть. Похоже, Господь Бог забыл какую-то важную заповедь: что-то о равенстве или... *о посреднике*... между Авелем и Каином.

– Посредник?

– Ну да! Иезекиль, неравенство трудно принять, если не верить в суперравенство... или хотя бы юристу... честному, чтобы рассудил, или полицейскому, чтобы наказал – какому-нибудь *более сильному и доброму*. Допустим, ну... нет покоя и воли, душа угнетена, законы слабы, люди подлы и пророчества невыносимы – как быть?

– А как НЕ быть? Вы умеете не быть? Не видеть и не слышать – не думать, Лиза? Каков выбор? Допустим, всё дозволено, и никто никого не остановит, хоть пропади всё пропадом! «Никто»? Опять? Нет, это чёрт знает что! Кто-нибудь, держите меня, эй... Эй, на помощь!!! Кто – дежурный посредник? Ответственный вышибала или местный юродивый – хоть кто-нибудь, а то пропаду... – Лиза усмехнулась: "Так и есть.... Но раз так...теперь... ничего мне не надобно! Калитку на замок, чтоб не скрипела, и прошу меня не беспокоить: я занята своей тайной! ...Боже мой... опять «ничего»?

– Господи, да Вы, Лиза, дрожите. И впрямь холодина – вот, пожалуйста, вам и Африка... Нужно согреться: камин бы, горячий чай. Сжальтесь над собой, ведь сказано: «не убий» – не губи себя. Пусть Бог будет невидимым – там, в своей недоступности. Так всё просто и милосердно... Особенно теперь, когда слово проросло... в изящный иероглиф, и мир сжат в точку над і – *этическая концепция*...

– Иезекиль, Вы... утешаете меня? Я слышала, что пророки предупреждают о грядущем, пока есть выбор, но когда случилось то, что нельзя изменить, то утешают. Да?

– Лиза, столько пересудов о Заговоре Сионском: обвиняют и оправдываются суетно. Что же на самом деле? О чем мы тут с Вами договариваемся? Заговор существует, вернее... договор Бога с Человеком по имени... ну, не всё ли равно, коль скоро время уже рассудило людей – не так ли?

– Пожалуй...

– Договор существует, хотим того или нет. Он запечатлен в иероглифе из десяти заповедей – улыбнулся – в «этической концепции».

– Как просто и холодно. Иезекиль, я отлучусь на минуту: нужно проверить... там у меня течёт... в ванной...

* * *

Экзамен был назначен на девять утра в Иерусалимском университете на горе Скопус. Предстояло прочесть фрагмент своей лекции перед аудиторией и написать реферат на предложенную тему. Лиза пришла задолго, чтоб прогуляться по сказочно красивому парку. Она шла по дорожкам из цветного камня мимо белых университетских корпусов, скрытых в яркой зелени. Было видно, как на листьях и траве радужно испаряется роса. Появились первые студенты: по одному и группками, не спешили, располагались на скамейках и лужайках. Казалось, ожили картины Ренуара. Странно было знать, что неподалёку автобусы везут на изнурительную работу сонных рабов, тревожатся очереди просителей в чиновничьих лабиринтах. Рай, ад – здесь, в маленькой стране, каждый живет сам по себе – все равны под небесами и для каждого льётся дождь.

Для лекции было выделено двадцать минут, и Лиза, страшно волнуясь, сказала первые вызубренные фразы. И всё удалось, возникли лёгкость и кураж, она видела по ли-

цам слушателей, что слова держат мысль: «Идея пророков заключалась в том, что Бог не в Храме, а в Душе» – что-то в этом роде, экзальтированное, как это бывает с первооткрывателями старых истин. «Ах – говорят они – кто бы мог подумать! Как это ново!.. «Архиново!»» И что-то в этой поздней и бурной весне есть неловкое, словно приход в гости некстати, и Лиза ощущала двойственность слов и чувств, как в любительском фотомонтаже...

Потом, спустя годы, поняла, что откровение не бывает чужим и по праву принадлежит тому, кто переживает его – как рождение, любовь, смерть и... утешилась.

Лиза получила на экзамене самый высокий балл, всех пригласили на неожиданный банкет, показавшийся ей сказочным пиром, а затем «пробило двенадцать»... Она возвращалась в убогую квартиру, поднимаясь по ступенькам подъезда, словно всходила на эшафот: сумела взлететь и увидеть свою непрожитую судьбу, и теперь возвращается, зная, как могло быть, и что нужно жить, превратив это знание из муки... в печаль, как сказали пророки; суметь собраться в точку. Да, прекратить истерику, и Лиза плакала навзрыд, так что муж не сразу понял, что она получила высокую оценку, и был банкет...

* * *

Окно осветилось, упало на пол живыми картинками, по-

плыло по стенам – это приехал сосед-скрипач, у которого молодая жена, а значит, что уже начало девятого и пора прислушиваться к шагам на лестнице. Среди Лизиних видений было: ”Тихо шурша шинами, подъехала машина, хлопнула садовая калитка”. Видение являлось, как светлячки в ночи. У Лизы никогда не было машины и сада, но устало откидываясь на спинку автобусного кресла, она прикрывала глаза, и в воображении проявлялась деревянная калитка в тенистый сад, дом и двор, окруженный живой изгородью, но иногда он терял периметр, и тогда Лиза опять забредала в терновник.

...Клеёнчатый квадратик когда-то был на запястье маленькой руки, похожей на веточку коралла. В ячейке из казённых пелёнок происходила таинственная жизнь, в которой сосредоточилась теперь Лизина душа. Если прежде Лиза должна была прислушиваться к себе, то теперь возник голос более загадочный, властный, и он звучал из иного измерения, смещая центр мира и лишая привычного равновесия. Был лютый февраль, из разбитого окна ледяной ветер дул в черные паруса советского роддома: уже неделю, как чей-то пьяный папаша-визитёр угодил камнем в окно, но стекло так и не вставили.

Лиза ощущала, что ширится пропасть между нею и другими людьми. Однажды она лечила воспаление лёгких в больнице. В палате лежало пять женщин. Среди них были старуха из белорусского села и молоденькая студентка. Обе были разговорчивыми и охотно исповедовались, уступая друг

другу очередь.

Старуха говорила: ”Немцы подходят к нашему селу, а мы прячемся в сарае. Тут у меня начались схватки, и соседка говорит, мол, уходи рожать в лес, а то будешь кричать, вы-дашь меня и детей. И я пошла огородами, а там километра три до леса... в рост идти страшно и пришлось ползти“.

– “Все удивляются, – вступает студентка, – что я пью кофе только с шоколадными конфетами”.

– “Ну вот, – продолжает старуха, – добралась я до дороги, за которой лес, и больше не могу – рвёт меня на части изнутри. Я упала в грязь, и не могу выбраться ни туда, ни сюда... “

– “Пирожные ем только с чаем, а конфеты – с кофе, и все наши шутят, что Юлька пьёт кофе с шоколадом... ха-ха-а...”

– “Я стащила платок с головы, подложила между ног, чтоб дитя в грязи не утонуло. А тут уже рядом взревели мотоциклы – гарь и тьма, как в аду. Но немцы меня объехали, даже не остановившись, слава Богу...”

Лиза не могла смириться, сравнивая прекрасные рождественские картины, которым доверяла прежде, с оскорбительностью процедуры, которой подверглась сама. Она чувствовала, как плывут мимо её души трогательные образы мадонны, и пропадает нечто общее с кем-то или чем-то бесконечно дорогим и важным, которое ни за что нельзя утратить.

Драма рождения – начало судьбы... Она может быть похожа на романтический аккорд из влажных завитков, разброшенных на белом батисте, капелек пота и резкого, птичьего

– не её – крика; заламывания рук в соседней комнате, тихих приказов акушерки подать ещё воды... Может быть трагическим капричес из летящей черной грязи, рёва мотоциклов, скомканного окровавленного платка. В сюжете, доставшемся Лизе, новорожденных принимали и уносили от рожениц, словно они были деталями в технологическом процессе, которые разобрали на отдельные части, и отправили на конвейере в разные стороны. В зале для родов стоял производственный шум: толпа голосащих рожениц и младенцев была безбожна, словно размножающаяся биомасса. Голос роддома был слышен на улице, и в соседних домах говорили: ”хороший район, только рядом роддом...” – и все понимали, что это такая же помеха, как стадион или зоосад.

Бесчеловечность происходящего с ней ощущалась Лизой сильней ошеломляющей боли, которая обрушивалась, пресекая дыхание. Нужно было уйти из чужого спектакля, спасти себя и младенца, спрятаться в лабиринты своей жизни, где можно встретиться и услышать друг друга и шорох шин, скрип калитки...

* * *

Что было бы с Русалочкой, если бы Создатель не был милосерден, превратив её в морскую пену? Ради любви к человеку она отказалась от своего дара: от голоса, от свободы. Что, если бы принц женился на ней, а она родила бы ребёнка,

а затем всю жизнь молча страдала бы от каждого своего шага по земле, покорная злему колдовству. Или нет, она написала бы любимому письмо, мол, у меня был такой чудный голос, горы жемчуга и тонны бирюзовой воды... А он бы спросил, но где они?

Из тернового гнезда, свитого на земле Ханаана, как из шляпы фокусника, возникают горы, долины, поломанная серёжка с александритом, клеёнчатая бирочка, заговор, девять упаковок снотворного, милосердие к Русалочке... На лестнице слышались шаги. Заволновалось пламя свечи. Тихо шурша, подъехала машина, скрипнула садовая калитка...

1999 г.

Пасхальный детектив

мене мене tekel uparsin... (попались, голубчики?)

ПАСХАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ

Тани Ахтман

история загадочного спасения... или



EVA - SUPERSTAR

Погасла последняя звезда, и небо стало светлеть на востоке... По весенней пустыне – в сторону Мёртвого моря – шли двое: человек в длинной серой рубаше, подпоясанной ремешком, и белый – без единого пятна – баран.

Весной начала девяностых, в религиозных семьях принято было приглашать на пасхальный ужин *русских*, недавно

приехавших в Израиль – *восходящих*. Не думаю, что теперь, спустя почти десять лет, сохранилась эта весенняя лихорадка – слишком много утекло с тех пор иллюзий, и сердца стали суше. А тогда предпраздничная суета была сродни предновогодней. Только вместо разноцветных шаров и серпантин на верующие в чудеса горожане Иерусалима брали напрокат и, как им казалось, даром – мужчин, женщин, мальчиков, девочек, стариков и украшали ими праздничный стол, за которым проводят пасхальную ночь, играя в замысловатую игру – «*Исход из Египетского плена*». Древние правила игры в *освобождение из рабства* веками определены в порядок, которому подчинены все играющие.

В том сезоне в моде были наборы *полной семьи* с исправным механизмом *ваньки-встаньки* – так называется болванчик-оптимист, внутри у которого есть такая штука, которая, как его не кидай – из любого положения – заставляет его встать вертикально. У болвана широкая улыбка и пустые глаза...

Весёлая суета владела Иерусалимом: пищали и прилипали к ушам телефонные трубки, начищалось до блеска фамильное – в первом поколении – серебро, лёгкой рукой выбрасывался накопившийся с прошлой весны хлам, мыльная вода щедро лилась из окон и дверей белых домов.

Пасхальные гости организовывались *по знакомству* – замечательный своей первобытной силой и вечный, как все архетипы, способ натурального обмена, прекрасно конкуриру-

Ющий тишиной недомолвок со звоном монет.

Как весенние соки пронизывают каждую травинку, связывая её с дождевыми каплями, так в полнолуние месяца Нисан между людьми напрягаются невидимые нити, пропущенные через прихотливое сплетение истинных отношений – не по чинам, соседству или родству, а по тем неосязаемым мистическим связям, которые невозможно проследить за время жизни. Так, в одну и ту же ночь, вот уж тысячи лет, встречаются люди, которые, казалось бы, никогда не должны были встретиться, словно чья-то небрежная рука смешивает их судьбы, и они – вместе с первой звездой – составляют причудливый пасхальный порядок древней еврейской игры в исход из рабства.

* * *

Михаил умел терпеть, и это определяло его жизнь. Ему казалось, что он сам очертил свои границы, за пределами которых чужое пространство.

Родители его жили нехотя – с трудом. Жалуясь и охая, они волочили свои судьбы по невзгодам. Невзгодами было всё, что требовало жизненных сил: работа и еда, рождение, смерть, встречи, расставания и само дыхание, и биение сердца. Казалось, жизнь свалилась на них и придавила, похоронив заживо, как это бывает во время землетрясения, когда

всплески гаснущего сознания доносят только волны боли и стоны близких.

“Только бы не было хуже” – шепталось, приговаривалось, повторялось... Хотя, казалось бы, что могло быть хуже вечного страха... Жизненных сил не хватало даже на ненависть, и она исходила, как и любовь, тайными тропами: душными ударами в груди и влагой на ладонях, стираемой носовым платком – белым в клеточку, синюю или коричневую... платки были сложены восемь раз и выутюжены. Часто родители ссорились из-за этих платков – мать не придавливала их утюгом после двух или четырёх складываний или в конце, после восьми, и тогда квадратики выходили недостаточно плоскими и топорщились. Отец шумел – кричать он не умел – его собственный голос по мере возрастания, казалось, тонул в издаваемом им шуме, похожем на гул толпы, выражающем невнятную угрозу... Должно быть так – ропотом – он озвучивал свой протест, не ясный для него самого – прячась в нём, теряясь в себе как в незнакомом месте...

А мать, не признаваясь себе в лукавстве, специально подкладывала мужу и злосчастный платок, и непарные носки, вызывая всплеск его присутствия в своей жизни. Это был их диалог, похожий на гербарий, небрежно собранный невесть кем. Рожала она мучительно тяжело, как это бывает с маленькими коренастыми женщинами, бёдра которых менее всего выразительны среди суетливых телодвижений.

Страдания Михаила, который последние недели перед

рождением задыхался от обвинившей его пуповины, а затем, когда сошли воды, не мог протиснуться сквозь судорожно сжатые своды своей темницы на белый свет, были так велики, что всё, что случалось с ним потом, он невольно соизмерял с этой мукой, и жизнь казалась ему... терпимой.

Его меланхолия была тайно связана с календарём – табличкой, похожей на клетку, в которой сидело время и тоже терпело... Лишь иногда жизнь открывалась ему яркими впечатлениями, и он помнил все их наперечёт, соизмеряя с ними свои убеждения и тайные желания. Его мир имел два светила: одно суетливо бежало по небосводу, небрежно разбрасывая тени, а второе было похожим на звезду, вопреки всем законам равно видимую и в полдень, и в полночь. И Михаил доверился её постоянству – избрал центром своего мира, в котором всё иное было божками, от которых можно откупиться...

Выучившись на инженера, Михаил годам к тридцати совсем было отчаялся встретить свою девушку, которую бы мог полюбить – испытать доверие, которое знал, как самое доброе ощущение своей жизни. Но она возникла вопреки законам, как и его тайное светило, и жизнь стала чудесной. Счастье сосредоточилось в его душе, как на негативе, где *светом* проявлялась его семья. Видение имело волшебное свойство – белое сияние усиливалось, когда густел его чёрный фон. Михаил был готов отдать за это чудо свою жизнь: пожертвовать собой, своими силами, временем. Но в суете

те жертвенных обрядов он преступил невидимую грань и пропал... на одном из советских железобетонных термитников...

Оля с отчаяньем обнаружила, что муж стремительно превращается в участника социалистического соревнования, живущего в ритме квартального плана. “Я – жена раба – рабыня!” – тихонько завывала одним зимним вечером, опустившись на корточки, скорчившись от приступа боли там – повыше живота... сползла по стене у кухонного шкафа, чувствуя дурноту, свернулась на полу в позе эмбриона...

Оля осталась одна – это было её второе одиночество... На склоне жизни она посчитала сколько их было, и вышло, что пять больших, а малых и не счесть. Первое случилось в юности, и оно было самым ужасным и снилось ей всю жизнь, мир с другими. Первое казалось безжизненной пустотой, в которой пульсировало отчаянье... Потом она думала, что, может быть, и творец, создавая мир, спасался от мучительного одиночества... И с тех пор, кто как умеет, спасаясь, воссоздаёт свой мир... и она тоже...

Олины родители выживали в борьбе – то ли цепляясь, то ли выталкивая друг друга из круга общего жизненного пространства – как кукушата – с жестокостью инстинкта, и видели в этой безысходной суете умение жить. *Выживание* – состояние споры, замершей до лучших времён – между жизнью и смертью. Так выживают ничего о себе не знающие, бес-

словесные существа, сохраняющие себя в летящем по ветру зонтике или причудливой колючке, цепляющейся за любого прохожего. Но человек? Что происходит с человеком, если он ничего не знает о себе? Должно быть, остаётся внешний облик – физическая оболочка, схожая с человеком, как схож с Богом образок, висящий на груди...

* * *

Первое Олино одиночество было абсолютным – в нём не было даже её самой. Второе приближалось постепенно, и Оля успела привыкнуть к нему и впустила, узнав, и почти не протестуя: открыла дверь, равнодушно отвернулась и ушла на кухню, где в зелёном баке закипала мыльная вода с пелёнками; её душа была тогда в рабстве у детей, которых родила. А третье одиночество было милосердным – может быть, тогда оно и показало своё истинное лицо, и было это за год до эмиграции. Всё рушилось: Оля чувствовала, как слабые и прежде связи, объединявшие то, что было её жизнью, даже не рвались, а рассыпались как истлевшая ветошь; и Оля присутствовала – одновременно – в двух мирах: теперешнем, похожем на ярмарку уценённых надежд, и том, что возникнет потом, когда люди, променяв последние медяки на дешёвые сладости, разбредутся в свои судьбы, и время смешает пёстрые фантики с серой пылью.

Оля заметалась в поисках выхода – нужно было спасти

детей из разрушающегося мира. Пыталась говорить с мужем, но Михаил давно жил не с ней, а где-то там, где Олин голос слышался как песня без слов. Отказаться от её голоса Михаил не мог – так звучало его спасение – тайна его скрытой ото всех жизни... Но слова, которые она произносила, мучили его – отвлекали от забвения, которое давал голос... Кажется, она говорила, что несчастна, что устала. *Говорилось... ею?.. Об усталости – её?.. Его спасение – устало?.. Его счастье – несчастливо?* Было выше сил принять – осознать, что вера его, его любовь, где-то там... в своём источнике, пугающе недоступном, иссякает. Не было сил услышать разрушающий смысл слов. И Михаил забывался в звуках, запахах, прикосновениях, отдыхая в тени своей жизни, которая утекала без него...

Оля запомнила тот вечер, когда явилось третье одиночество. Ожесточение заполнило восьмиметровую спальню – комнатку, обставленную компромиссами. Диван раскладывался, ущемляя нижний ящик секретера, но теснился перед его средней, превращающейся в столик, дверкой, подставляя себя под него, как сиденье. В свой верхний ящик секретер принимал постель, зато диван терпел груды книг, сваленных на него во время занятий.

Была зима – бесснежная, с ледяными ветрами и гололёдами. Сутулящиеся прохожие подставляли морозу спины, локти и казались Оле беженцами. Она удивлялась, когда слышала обрывки разговоров: не о катастрофе, а о китайских сум-

ках, которые разыгрываются в лотерею, или о весне – какая может быть весна после такой зимы... В окно спальни через дырочку в раме дул холодный ветер, и Оля затыкала её пёстрым пластилином...

В тот вечер они разложили диван и постель в четыре руки – ловко, как цирковые жонглёры – и уселись, каждый на своей стороне, спинами друг к другу – замерли...

“Мы уезжаем” – сказала Оля.

Михаил молчал...

“Ты пока оставайся, а... потом... приедешь...” – эту фразу она придумала прошлой ночью и сразу уснула, а теперь её нужно было только повторить.

Михаил слушал, проникаясь отравой этих слов – они говорили о том, что диван, на котором он поил её кофе, когда она отчаянно сопротивлялась светлеющему утру, – этот диван, шкаф, чашка, запах кофе, сонное тепло – всё исчезнет... Слова говорили о крушении мучительных и милых компромиссов, которые были плотью его жизни, и о том, чего он стыдился более всего: *страхе перед жизнью* – бессилии перед безумием происходящего...

Михаил чувствовал, что пока он молчит, жена опирается на его молчание и верит в то, что зависит от его слов. Но согласись он, их жизнь закружится и устремится в никуда, а она воспримет падение, как спасительное движение и станет говорить возбуждённо, как тогда, когда у неё поднялась

температура и она бредила... И он будет лгать... во спасение одной минуты – сторожить её новую веру. Потом же, в чужой стране она опомнится и с ужасом увидит, что у него – её мужа – нет опоры кроме спасительного круга выживания, который связан с Большим Миром, к которому она стремится, не более, чем вода в стакане – с Океаном...

Оле послышалась тишина особенной силы и, оглянувшись, она увидела мужа, стискивающего руками голову, замершего; майка на спине судорожно натянута...

“Господи, кажется, носил её ещё до меня, бедный...” – словно плеснули под ложечку горячим, и смыло какую-то муть. Пожалела... и душа, прорвавшаяся в привычное русло жалости, затопила собой весь Мир – нелепо устроенный, жестокий сам к себе, беспомощно пульсирующий мир, в котором, горестно сжав виски, сидит единственный близкий ей человек, и она, Оля, должно быть, мучает его... Разве бы он не сказал “Да”, если бы мог? Он не может – не может, ну да, конечно, не может понять, что всё рухнет: и их диван, и шкаф... и китайские сумки, и весна – что у этого мира даже нет сил на свой снег, и он исходит побивающим градом, превращая прохожих в беженцев... – всех-всех: и тех, которые убегут, и оставшихся...

“Господи – поняла – рухнет Мир, а я, пытаюсь сохранить равновесие, цепляюсь за мужа, сбивая его с ног, а он беззащитен передо мной и спасается в молчании” – поняла:

“молчание для него – последний островок – убежище... одно слово... и оно унесёт его в жизнь, которой он страшится больше смерти...”

Оля плакала, и Михаил, привыкший в последнее время к её слезам, удивился виноватой улыбке, жалко растягивающей её губы, ласке в глазах и голосе... Сказала: “Я тебя люблю... просто так – ничего не нужно... – я не жду большего, чем ты можешь, чем я могу... я сделаю всё, что сумею, и ты – что сумеешь... Не бойся – не бойся меня... Знаешь, я теперь часто буду жестокой – к себе, к тебе, к детям... – ко всем, прости... Знаешь, вдруг потом не сумеем пожалеть друг друга – это от усталости, прости... Прости, жестокость исходит не от меня... и, вообще, это не жестокость – я поняла: это... – *жѣсткость* – жѣсткость жизни – её законов, которых мы не знаем...”

И Михаил вдруг ощутил лёгкость и покой, словно Оля простила – *протился его страх перед жизнью*, а все остальное было не более, чем нелепость: вроде пѣстрой пластилиновой затычки в щели оконной рамы. И ещё подумал: “Запах кофе и сонное тепло останутся... с нами...”

А она подумала: “Там нет гололёда и ... апельсины”...

Так они простились, встретившись друг с другом спустя двадцать, прожитых вместе, лет, и... расстались.

Четвёртое одиночество наступило в кабине гостиничного лифта в Иерусалиме, куда их отвезли из аэропорта. Спросили: “Куда?”

“А куда можно?”

“Иерусалим, Тель-Авив, Бэер Шева... У вас есть здесь кто-нибудь?”

“Нет...”

“Ну?”

“Иерусалим...”

Такси, лифт... Не прошло и четверти часа, как в маленький, похожий на купе поезда, гостиничный номер слетелись, как стервятники на падаль, говорящие на скверном русском маклеры: предлагали свои услуги по спасению от бездомности, голода, нищеты, разбоя и болезней... Им казалось, что Манна Небесная сыпалась на Сион: бесчисленные посредники между недоношенным законом и перезрелой верой, бросили грызню между собой и кинулись на дармовое угощение. Увы, это был не Божий дар: Империя Зла, распадаясь, на прощанье щедро поседала семена рабства на все стороны света, и они, попав в сырую ещё, несформированную, неокрепшую, несамостоятельную, слабую почву, прорастали низостью, бую почву, прорастали низостью, удушья ростки благородства – за радость обманываться приходится пла-

тить душой. Впрочем, не достаточно продать душу, чтобы получить материальные блага, тем более, сильно поношенную – уценённую душу. Щедрый дьявол – такая же сказка, как и щедрый Бог, и его посредники жили скудно, перебиваясь мелким грабежом и вымогательством.

Сбить с толку, запутать, заманить – механизм, приводимый в движение множеством шустрых ног, исправно потащил людей – и жертвы, и злодеев – куда-то вниз...

До какого колена держится проклятие? Или дети не отвечают за родителей, и каждый сам по себе? В чём смысл проклятия? Может быть, в том, чтобы не задавать себе все эти вопросы и не сомневаться в своём праве на бездушие?

Муж и дети уснули, а Оля охраняла их сон, испуганно принимая непрошенных гостей, прося говорить тише, не хлопать дверьми. Просила их уйти, не умея прогнать. А те, нагледя от безнаказанности, рассаживались в креслах, звонили по телефону – цеплялись как колючки чертополоха, впиваясь шипами в путников, ослабевших в пути. *Выживали* любой ценой – *выживая* со свету всех, кого только могли – ослабевших, уставших, потерявшихся... Эти люди торговали своей душой оптом и в розницу, называя эту сделку «выживанием»...

Пятое одиночество было пронизано ложью порядка, уместённого на столе – исхода, вызубренного как детская считалочка...

В свою первую иерусалимскую весну Михаил и Оля жили в темпе жёсткого марафона – им было не до праздных церемоний. Но, как случается, в последний момент их уговорила школьная учительница сына: “убедительно рекомендую... очень поучительно... демократично... традиционно”...

“Что ж, пожалуй...” – купили цветы и успели на последний автобус – движение прерывалось на сутки до окончания первого дня праздника.

Респектабельный религиозный район выглядел немного безжизненным, возможно, из-за однообразия цвета – белыми плитами были облицованы дома, заборы, укрыт тротуар, и небесный свод тоже казался высеченным из иерусалимского камня, словно это был не настоящий город, а павильон какого-то голливудского фильма, и им предстояло играть в массовке чужого спектакля.

“Зачем мы согласились, дураки...” – сказала Оля. Михаил с досадой пожал плечами, звякнул дверной звонок, и действие началось.

Хозяева – неопределённых лет, одетые в просторные белесые платья и мимическое радушие, пригласили в гости-

ную с большим овальным столом, покрытым белой скатертью. Стол был пуст, и гости, перекусившие утром на скорую руку, почувствовали разочарование...

* * *

Лея переглянулась с мужем, одобрительно кивнув – Хайм был прав, обратившись к учительнице лучшей светской школы – гости были словно созданы для пасхального стола в почтенной семье. Недавно приехавшие из России и ведущие себя очень аккуратно, скромные, выдержанные в классических пропорциях: среднего роста, худощавые, миловидные лица – супружеская пара и два тихих мальчика, и сразу видно, что дети слушают родителей с первого взгляда. У отца – классические еврейские черты, и у его жены опытный глаз тоже может проследить – в разрезе серых глаз и особой пышности рыжеватых волос – крепкую ашкеназийскую породу.

Проще иметь дело со светскими русскими – *интеллигентными*. В прошлый Песах им, было, сосватали семью с идеей из красного местечка – намучились с ними: крикливая мамаша и невоспитанные дети чувствовали себя своими – *роднёй*, и наперебой хвастались знаниями *порядка* из копеечных книжек, неопрятных, как закусовые на автобусных станциях. И сами они выглядели как уценённый товар, и даже пахли затхлостью – так, что был недоволен кузен из Бостона, приехавший с женой специально на пасхальный ужин.

А теперь будет семья из Нью-Йорка – вся их родня живёт на Западе, и приезжает в гости по очереди или вместе, как прошлой осенью – на Новый год. Говорят, мол, Лея и Хаим – фамильные хранители Сиона... И квартиру купили, и пенсию платят... Что ж, совсем неплохо для немолодой бездетной пары, не слишком преуспевшей в Большом Мире...

Правда, однажды Хаим сказал, что мы, Лея, работаем с тобой, вроде индейцев в этнографической деревне... Это он сказал в самом начале – лет десять тому назад. Лея отмолчалась, и супруги утешились подробностями быта – неспешной вереницей ритуалов, которые повторялись в убаюкивающем ритме дней, месяцев, лет... И соседи жили так же – все были как одна семья и, казалось, весь Мир был упакован в иерусалимский камень и освещаем пламенем субботних свечей...

А потом позвонила соседка, которая держала пастишерную мастерскую, и сказала, что муж её дочери везёт прямо из аэропорта свежайших репатриантов из Москвы – мать и дочь, как Лея и просила – прямо к пасхальному столу. Лея не помнила, чтобы обращалась к соседке с подобной просьбой; она остерегалась одалживаться у тех, с кем имела дела, но спорить не хотелось, тем более, что недавно обновила у неё свой парик и осталась довольна. Возможно, тогда Лея и сказала нечто неопределённое про грядущий песах, хотя, очень может быть, что у самой соседки оказались *лишние гости*, и она избавилась от них, подбросив клиентке. Ох уж эти зара-

батывающие *крутящиеся* женщины; нужно быть с ними поосторожней...

Вскоре в передней звякнул звонок, и на пороге возникли две женщины с небольшой поклажей...

* * *

Рита не спала уже две ночи.

С тех пор, как пришёл конверт с пластиковым окошечком – вызов из Израиля – они с Машкой словно помешались... Началось с того, что обе зарыдали, а в это время в доме был Машкин хахаль, из-за которого Рита и решила бежать из Москвы, спасая дочь. Она подозревала, что он прикармливает Машку травкой. Машка – миленькая, но толстовата в зад и неуклюжа, а последний год стала *остывать* лицом: тускнел тёплый свет в карих глазах и ямочке на подбородке, а потом и вовсе потух под слоем какой-то дряни, которую Машка научилась мазать на морду. Возник и долгожданный ухажёр – один из тех проходимцев, что паслись вокруг её текстильного техникума – старообразный малый в турецких джинсах.

Господи, девочка повторяет её судьбу... Замуж Рита вышла, плохо понимая что ею движет: *как все*, и, отметившись рождением Машки, ушла от мужа в поисках любви. Её женственность была оскорблена фальшивкой, которую предлагала ей судьба, и Рита плакала на индийских фильмах от

сладкого томления, которое ощущала как истину – в своём первом великом заблуждении.

Начало новой жизни выглядело привлекательно: она познакомилась в институте, где работала машинисткой, с кандидатом наук – автором статьи, которую печатала с рукописи. Однажды взяла работу домой, кандидат пришёл и остался на семь лет... Вернее, не остался, а приходил – забегал, заглядывал, захаживал – был и не был, как в кино, и Рита была бы рада принять эту иллюзию, если бы он играл роль героя-любовника: дарил цветы, говорил нежные слова. Но он играл “интеллигента” и спал с Ритой рассеянно, как учёный, погружённый в науку, презирал индийские фильмы и наставлял Риту прочесть Достоевского. Годами Рита слушала в своей постели его восторги о душевном величии Настасьи Филипповны, думая, что эта злая и пустая бабёнка бесилась перед всякой сволочью, хотя могла бы зарабатывать печатаньем на машинке, как она, Рита. А потом решила, что та хоть цену себе знала и торговалась, а она не знает... или *не имеет?* И, вот, кандидат спит с Ритой, а словами ласкает недоступную горячку, и Рита тоже изменяет ему с индийским принцем; а другие бабы и того хуже – ещё и приплачивают своим мужикам: кормят и одевают, а те пьянствуют и дерутся – и все всё терпят... Куда только Господь смотрит? Уж лучше утопил бы, как слепых котят, чем бросить выживать на мусорке...

Подружки по бюро, которые знали про её роман, завидо-

вали *полноте её жизни*, и это было единственное, что приносило утешение – чужая вера в то, во что уже не могла верить сама – что не одинока... Подружки были свидетелями и судьями её жизни, и от них она ждала помилования. Конечно, приходилось врать про букеты роз и что кандидат упрашивает выйти за него замуж, но она не уверена, что *он* станет хорошим отцом для Машки, хотя и любит её, конечно. Когда Рита, скопив денег, покупала себе стоящую вещь, то говорила девочкам, что *он* подарил. Однажды она купила себе цветы и, погрузив в них лицо, нежно прошептала себе: *люблю* – а потом включила музыку, зажгла свечи, выпила вина и, потеряв на несколько минут связь с реальностью, ощутила восторг счастья...

С той минуты кандидат стал чем-то вроде билета в кино – вещью, которая символизирует начало сеанса. Он звонил: “Приду вечером”, и этого было достаточно, чтобы Рита – одна во всех ипостасях – пережила волнующий вечер, сплетённый из звуков, запахов и прикосновений, среди которых *он* возникал лишь чужими помехами. И всё бы хорошо, но *чужое* врвалось в её иллюзию всё чаще, материализуясь ударами судьбы...

Возможно, земная жизнь только форма бытия, но у неё есть смысл, и, неосознанный, он пропадает: форма теряет своё содержание, и жизнь становится бессмысленной. Слова и люди используются как вещи. Но у вещей есть свой порядок – порядок вещей, и он

превращает слова – в ложь, истины – в банальность, человеческие чувства – в пошлость, когда даже любовь, как принятый людьми эталон смысла жизни, становится чуждой вещью, которую можно купить, а можно и украсть.

Дважды Рита делала аборт. В первый раз она открылась кандидату в неопределённой надежде, но тот только пожал плечами, и во второй раз Рита смолчала. В больнице пришлось вместе с другими абортчихками вымыть длинный коридор, отутюжить и повесить шторы на огромных окнах, и только потом её впустили в операционную, где у трёх кресел между беспомощно раздвинутых ног трудились мужчины в окровавленных передниках.

Рита сказала по телефону: “Не приходи больше”. В трубку удивились: “Ты сошла с ума”. Он был уверен, что внимание порядочного учёного, без вредных привычек, *интеллигентного* мужчины, для матери-одиночки, каких пруд-пруди, большая удача, и жаль, что она не понимает, дура, своего счастья – что-то в этом роде она выслушала на прощание. “Дура” прозвучало от него впервые, но Рите было уже всё равно: не было даже гнева – только пустота, спрессованная обида и усталость. Кандидат, было, поупирался, попугал, как будет ей одиноко и страшно, когда он – добрый и хороший – покинет её пустую жизнь. Но Рита уже познала истину *кровавого передника и вздёрнутых ног*, и потому не испугалась, а неожиданно для себя даже развеселилась, предложив ему

принести – хоть на прощание – денег, чтобы она могла их сжечь, как его любимая Настасья Филипповна...

Рита запуталась в бессвязных фрагментах жизни, словно разорвалась лента незнакомого фильма, смешались кадры, и она, пытаясь соединить их, переживает тот, что выпадает случайно: вот, она отдаётся чужому человеку, без страсти, любви и даже выгоды; вот – спешит на работу среди других москвичей, спускается в Метро, увлекаясь его ритмом, запахом, звуками: “Двери закрываются, следующая станция...” Но всё чаще среди роликов попадалась подрастающая Машка: то дёрганная, как в немом кино, то застывшая, как на фото...

Рита пыталась было понять, что происходит, но слабая мысль терялась в хаосе чувств. Вернее, она возникала, но была так печальна, что принять её не было сил, однако печаль всё равно проникала в душу, заставляя страдать. Прежние представления о том, что хорошо и что плохо, смешались, как шашки в середине партии под рукой раздражённого жульничеством игрока.

Рита не могла понять, в чём провинилась – за что наказана женской несчастливецью. Она была миловидна, нежна, хозяйственна, терпелива – и муж её, Машкин отец, и кандидат – оба наслаждались ею, но, как... вещь, нет – хуже, потому что даже не хотели быть хозяевами – брали её, как чужую вещь – воровали, пользовались и бросали. Она помнила, как нежно муж заботился о своей удочке, и как кандидат увле-

чѐнно начищал свои ботинки – их лица были... сострадающими – им было... *по-человечески* жаль свою вещь, а она? *Чужая вещь*, и её не жаль? Но если есть чужой, должен быть и *свой*? Чья она вещь? Кто её настоящий хозяин – добрый?

Муж был работягой и матерился, а кандидат вежливым, знал множество красивых слов, но и они не поднимали его над каким-то мѐртвым безразличием к ней... *Она – ничейная вещь*... Долго не решалась признаться себе в этом, но потом купила водки и, выпив *горькую*, создалась, что пропала: брошена ли, потеряна... неизвестно кем. Хотела было руки на себя наложить, но вспомнила про Машку и решила постараться стать хорошей матерью – раз нет ей счастья, то будет *жить хотя бы... для ребёнка*... – так возникло в её жизни второе *великое заблуждение*...

* * *

Рита не спала две ночи.

Последние годы они с дочкой вместе бегали то в церковь, то в синагогу, то к колдунам – жгли свечи, сидели, скрестив ноги и протянув ладони вверх в ожидании, когда из макушки пойдёт добрая энергия, вращали головами на лекциях телевизионных магов, заряжали воду... Заполнили они и анкеты во всех посольствах, где только удалось их достать, и, наконец, получили конверт с пластиковым окошечком. Счастливы разрыдались, обнявшись, выгнали Машкиного хахалю

и засобирались, даря и выбрасывая свои вещи под сладкий “Голос Израиля”, который зазывал, как сирены: “Милые, дорогие, приезжайте, мы вас любим...” Так пришло третье *великое заблуждение*.

Может быть, если бы Рита спала последние две ночи, то и не согласилась бы вот так – прямо из аэропорта – поехать к незнакомым людям. Но, уловив в приглашении слово “отдохнёте”, представила дом в тенистом саду и кушетку, на которой можно будет прилечь, укрыться пледом, а там... видно будет – может быть, это те самые *добрые хозяева*, которых она искала так долго – *израильтяне*... Рита задремала в такси с улыбкой и открыла глаза, когда машина уже подъехала к дому. Водитель помог донести вещи до двери, звякнул звонок...

* * *

Лее эти женщины не понравились сразу – в брюках(!) – о чём только они думали, отправляясь на святой вечер в еврейскую семью? Колючие глаза, лица... какие-то... славянские, особенно у младшей, – хорошо ли их проверяли?

“Что ты думаешь, Хаим? Ай да соседка, удружила...”

Во-первых, их нужно переодеть, да и душ не помешает, но, всё равно... они просто *не к столу*... Господи, да они ни одного слова не знают на иврите! Ну да ладно, придумаем

что-нибудь... Слава богу, первая семья удалась – говорящая и готова услужить.

Рита ощутила панику от абсолютно чужеродных звуков, встретивших её на пороге небольшой, скромной прихожей. В её московской квартире всё было нарядней и уютней, чем здесь... и никакого сада... – обрушилась тошнота... Хозяйева одеты, как в больнице – не лица, а белесые маски... всё враждебно...

Услышала русскую речь – словно Спаситель явился – кинулась к Оле: “Где мы?”

“То есть?» – не поняла та – «Кто вы? Откуда?”

“Не знаю – из Москвы – нас привезли из аэропорта... я уснула в машине...”

“Господи» – вздохнула Оля – «Вы – в Иерусалиме, у вас есть здесь кто-нибудь?”

“Нет, вот, только вы...”

Оля внутренне отшатнулась... болезненно поморщилась.

“Зачем нас привезли сюда? Нам помогут? Что с нами будет? Давно ли вы сами здесь?”

“Полгода”...

Машка всхлипнула, чувствуя себя чужой в длинной хозяйской юбке, не подходящей к её московской майке, и только было собралась пожалеть себя, как в комнату вошёл жуткий тип, похожий на чёрного козла с жидкой бородёнкой и

крутозавитыми рожками, спускающимися из-под шляпы с полями. Он, громко икнув, произнес: “Ик – скюзми, плииз”. Машка почувствовала дрожание в ногах, горле и услышала истеричный смех – все в комнате повернулись к ней, глядя со страхом, козёл трагически икскюзнул. Машка прислушалась: чужие, резкие звуки, кажется, исходили от неё самой – от Машки.

Лея с ужасом подумала: “Припадочная... “

А Рита... – неведомое прежде чувство острой жалости к девочке: ничейной... её? – чувство, бесконечно большее, чем всё, что она испытывала прежде, потрясло своей ясностью и силой: “Прости, меня, Машка, дуру набитую, гадину-уу” – и в жизнь Риты впервые вошла любовь.

* * *

Ицик приехал из Нью-Йорка с отцом и был преисполнен самых приятных и радостных ожиданий в предвкушении Пасхальной Трапезы. Ему уже исполнилось двадцать лет, и он знал, что после вечерней молитвы в синагоге увидит свою невесту – их познакомят завтра, и Ицик был необычайно взволнован. Кажется, эта девушка – его далёкая родственница, и, возможно, он видел её прежде, но не помнит. Она живёт в Иерусалиме, и Ицик надеялся остаться здесь навсегда, покинув Нью-Йорк, которого боялся до икоты, что одолевала его в последнее время.

Отец Ицика – Дэвид – был сыном неудачливого, рано овдовевшего коммерсанта. Дэвид начал, было, учиться на инженера, но увлёкся весельем студенческой жизни. Парень был щедр, лёгок в общении и умел находить радость и забаваться в ней. Он неплохо играл на гитаре и вскоре стал душой университетского театра, где они ставили мюзиклы – не хуже, чем на Бродвее. Дэвид даже стал подумывать о профессиональной сцене и два сезона перебивался в массовках Голливуда, но, то ли не было большого таланта, то ли настойчивости, но впервые в жизни – совсем рядом – замаячил призрак отцовской неудачи, и Дэвид испугался.

Попробовал было вернуться к учебникам по механике, но испытал острую неприязнь к густо-серым текстам, изуродованным формулами и схемами. И тут ему подвернулась забавная девочка, которая носила шляпку и длинную юбку, как Элиза в “Пигмалионе”, но вела себя как... Дэвид даже не сразу смог определить как... – *недоτροга* – вот... Она была застенчива, отстранена, краснела, когда Дэвид брал её за руку – всё это было удивительно и волновало необычайно.

Сара училась в колледже для преподавателей начальной школы, и Дэвид ожидал её после занятий и провожал домой, что, само по себе, было удивительно – как в спектакле из прошлого века... Ему даже хотелось сменить свои джинсы и майку на что-то, более подходящее к сюжету...

Сара удивилась, и, как ему показалась, обрадовалась, узнав, что Дэвид – еврей. Сам он никогда не придавал этому

значения, но, ощутив её интерес, пересмотрел папку с документами и письмами, которые достались ему от родителей. Там он нашел старые фото, где все были одеты с затейливой тщательностью, и брачное свидетельство родителей, оформленное в синагоге. И теперь Дэвид вспомнил то, что было в его *забытой* памяти: фразы на странном языке, которые он, казалось, мог бы озвучить, если бы только немного отвлёкся от привычной артикуляции. Вспомнил и полумрак бедной комнаты, никелированную кровать с прохладными шарами у изголовья, запах лакричных лепёшек, маму и прикосновения её лёгких пальцев. Всё это показалось ему значительным, а его собственная богемная жизнь – пустой и вульгарной. И ещё Дэвид вспомнил, что ему перевалило за тридцать...

То, что возникло вслед за этими воспоминаниями, показалось Дэвиду счастьем. Романтичная любовь к Саре, казалось, осветила истину о смысле его жизни, которая увиделась ему возвращением в родной дом иудейства: “Я всю жизнь искал Синюю птицу, а она ждала меня дома” – сладкие слёзы туманили глаза Дэвида... Всю нерастраченную страсть к своему образованию он обрушил на чтение древних книг, написанных письменами, волнующими его почти чувственно. Определился спасительный ответ на мучительный в последние годы вопрос: “Кто Я? – Сын неудачливого коммерсанта... неудачливый студент, актёр?” Теперь всё стало иначе: “Я – избранник.”

Казалось, изменился весь мир: его фокус сместился ку-

да-то ввысь – над головами инженеров с их семьями и домами в розовых садах, поверх адвокатов в блестящих машинах, мимо маленького человечка по имени Дэвид, пугливо спрашивающего себя: “Кто я?”.

Всё, что с годами становилось менее доступным, виделось теперь размазанным пятном с названием *суета*. У Дэвида даже появился особый взгляд – сквозь и немного вверх – так, что хотелось повернуться и посмотреть: нет ли чего повыше головы... Он отрастил небольшую бороду и стал носить костюм, шедший ему чрезвычайно: тёмно-серый на белой рубашке, расстёгнутой у ворота. Прежние знакомые, записавшие, было, Дэвида в поучительный пример легкомыслия для своих подрастающих чад, обменялись пожатиями плеч и несколькими вялыми шутками, а потом добросовестно – как всё, что делали – забыли его...

Должно быть, физическое рождение даёт только шанс быть человеком... Но образовывать себя – по образу и подобию – приходится самому, используя дары фей, как использует мастер инструменты для создания своего творения – для вечности ли, дешёвой распродажи... Все обстоятельства рождения: родители, время и место, мышцы, нервы, память и таланты – только инструменты. Хорошие или нет, они, сами по себе, ничего не значат и обретают смысл только в работе по образованию – созданию себя... по образу и подобию... Создателя? – идеи всего, что существует в мире истинного: звуков, цветов, запахов,

форм? Самой нежной нежности и самой мучительной муки? Если собрать весь Мир – свернуть его вместе с его людьми, животными, растениями, водой, огнём, воздухом и небесными телами – так, чтобы вернуть слово – в начало... – услышит ли Он Себя Сам?

Давид поставил судьбу на избранника и самозабвенно отдался древнему лицедейству. Евреи в своём суровом историческом детстве не наигрались вволю, как их сверстники – греки, которые, пережив расцвет и закат, угомонились в своё время, передав груду сказок, кукол и игр возрождающимся для новой истории европейцам. А иудеи, выйдя на пенсию и оказавшись не у исторических дел, впали в детство, рядя себя самих в библейских героев. Дэвид идеально вписался в массовку шестидесятых: древняя сцена, освещённая тлеющим пеплом Катастрофы и восходящей звездой Нового Израиля, выглядела в прагматичной Америке ностальгически романтической...

Отец Сары отнесся к её выбору скептически: иудейство было для него чем-то, вроде далёкой родни, о существовании которой помнят, но, скорее, с опасением, нежели с приятностью. У отца была стоматологическая клиника, он много работал и судил успех по кошельку, поэтому Дэвида – без затей – определил в неудачники и, как всегда, подосадовал на жену, что не сумела вовремя присмотреть достойного парня. Сара была славной девочкой, и отцу нравилось её увлечение синагогой и вечеринками с зажиганием свечей в добро-

порядочной компании, которая выглядела особенно умиротворяюще среди бесчисленных хищных сект, пожирающих прошлое. После Второй Мировой войны, муки на Голгофе смиряли уже только тех, кто был смиренным сам по себе – глухих провинциалов, доживающих свой век на задворках собственных судеб. Неспасённое христианство держалось на Ветхом Завете и великолепных формах Возрождения, но, сквозь усталую плоть веры, уже пробивались ростки индивидуализма.

Отец Сары поставил жениху условие о твёрдом заработке, и Дэвид, окончив технические курсы и получив скромную должность в телефонной компании, женился. Дэвид был из тех, кто переживает свою жизнь фрагментами: не прорастая в ней всеми своими сущностями, а разделяя себя во времени – используя и забывая. Так было прожито и забыто детство, затем божественная юность, и наступило новое состояние, казалось, не связанное с прежними. Новый облик Дэвида и его новый образ жизни только казались странностью, но, по сути своей – содержанию кода его личности – он был прежним статистом в собственной судьбе.

Саре казалось, что она выходит замуж за открытого и простодушного парня, не слишком серьёзного, но доброго и пылкого, и это было правдой, но поверхностной – не истинной. На самом деле Время Дэвида, отпущенное на то, чтобы прийти в себя, было на исходе, и он, не сумев стать в

центр своей жизни, определился на её окраине. Чувство к Саре оживило одно из провинциальных обличей Дэвида – из тех, что толпились там. Новый образ Дэвида отличался от прежнего, как пёстрая бабочка от серой куколки, впрочем, метаморфозы человеческих форм определены не так чётко как у насекомых. Дэвид принял своё новое рождение со всей страстью, отпущенной ему на зрелость: семья, священное писание, танец молитвы, чёрная шапочка-невидимка, дающая спасительную тень, служба с её живительными социальными соками. Превращение произошло стремительно, как наступление ночи в джунглях – Дэвид не заметил исчезновения прошлой жизни...

Не заметила и Сара – она была занята собой и, ничего не зная о человеческой природе, жила, прислушиваясь к внутренним голосам. То, что она там слышала, было простым, светлым и возникало привычным счастьем: родители, учёба, муж, дети, работа, достаток, дом – всё было улыбками её Бога – доброго Хозяина, для которого она, как для любовных свиданий, зажигала свечи и одевалась в романтические платья, чувствуя себя избранницей. Где-то происходили ужасные вещи – чудовищные настолько, что не было сил принять их существование в общем жизненном пространстве, и Сара отделяла себя от Мира мистическим кругом света: зажигала субботние свечи и успокаивалась, чувствуя себя под защитой...

Рождение сына потрясло её в тот момент, когда в начале субботы, протянув руки к танцующему огоньку и заморожено глядя на него сквозь алую прозрачность пальцев, Сара не ощутила привычного покоя, который прежде разливался в эти минуты теплом в душе. Она прислушалась, как всегда, к себе – всё было как прежде, но как-то запустело – необитаемо, словно её душа была не на месте, а где-то там – за пределами освещённого круга, и эта разорванность ощутилась болью, как если бы была ранена плоть.

Метнулось под неподвижными руками пламя, в соседней комнате заплакал ребёнок, и Сара, прижав его к груди, почувствовала, что душа вернулась и согрела её нежностью, которой она прежде не знала, словно миг страдания обнажил в ней скрытую глубину, возникшую новым измерением. Сара запомнила это мгновение, но не одной из улыбок её Бога, а откровением – бесконечно важным знанием, которым нельзя поделиться, как нельзя поделиться биением своего сердца... И как тогда, когда она бросилась к плачущему сыну в его комнату, покинув защищающий её круг, Сара стала всё смелее покидать пределы спасительной ясности, в которой обитали прежде её мысли, с тем, чтобы понять в каком мире будет жить её сын. Она пыталась поделиться своими открытиями с мужем, увлечь его за собой, но тщетно.

Дэвид обожал жену, сына и защищал свою страсть – от них... Сара и Ицик стали центром его мироздания, и вокруг них вертелись, притягиваясь и отталкиваясь, все обстоятель-

ства его жизни. Он готов был отдать *всё*, только бы *они были смыслом его жизни и подтверждением избранности* ... Возникали горькие минуты, когда, просыпаясь утром, Дэвид не хотел начинать унылый марафон. Липла мысль “зачем?”, и если бы не мгновенная безусловность ответа: “Сара, Ицик” – Дэвид не сумел бы спастись от тоски, что всегда подстерегала его там – в щемящей пустоте, куда он поместил – святынями – жену и ребёнка... Если *они* покинут это место, что станет с ним – что останется ему? И Дэвид *замкнулся* – закрыл душу в отчаянной решимости удержать там своё божество, отказываясь понимать то, что говорила ему Сара, теряя её... Расставания, как и встречи, подписываются на небесах, но люди, доверившиеся року, уже не могут прочесть. Дэвид и Сара прожили чужими десять лет, успев родить второго сына.

Оформляя развод и уходя с младшим сыном, Сара сказала: “Спасу хотя бы его” – восьмилетний Ицик остался с отцом. Дэвид к тому времени превратился в семейного тирана, мелочно третирующего домашних в соблюдении ритуальных подробностей, которые легко подавили его прежнее любопытство к природе, политике, искусству – всё стало враждебной суетой. Даже смены времён года виделись ему не цветениями и листопадами, но весенними и осенними священнодействиями, а рассветы и закаты – утренними и вечерними молитвами. Форма его жизни приобрела жёсткость кристалла, потеряв способность к перерождению.

Маленький Ицик ходил в школу, где учили только свя-

ценное писание, и с каждым годом становился всё тише. Отца он не выделял из общего фона жизни – его существование было *порядком вещей*, как водопровод или пакет со свежими булочками к завтраку. Исчезновение матери и редкие встречи – украдкой, когда она возникала порывом нежности и аромата, долго было единственной интригой, обозначающей его жизнь. Однажды, на школьной перемене, он стоял в своём любимом месте – в конце коридора у окошка, и наблюдал знакомого паука, хлопотавшего над обессиленной мушкой, и, вдруг, ясно представил свой чёрный костюмчик и светлые локоны, уже лишённые его – Ицика – плоти, висящие на липких нитях рядом с чьими-то пыльными крыльшками... Это видение стало преследовать его: книга, чудесные появления и исчезновения матери, пёстрые пятна и звуки чужого Города, отец, булочки, молитвы – всё было паутинками, на которых висело то, что было Ициком.

Встречи с матерью становились всё более редкими, а потом и вовсе прекратились, и Ицик забыл её, а годам к пятнадцати – и своё детское видение, которое сменилось мечтой об Иерусалиме. У него появилась цель, и юность была определена *исходом* из Америки, которая казалась ему ненавистным Египтом – единственным видом рабства, которое он знал... Весной начала девяностых Ицик со своим отцом отправились к далёкой родне в Иерусалим праздновать *песах*...

Не привыкший к ярким впечатлениям, Ицик воспринял перелёт через океан в меру своих ощущений, рассчитанных не на восторги, а на недоверчивое *приглядывание*, соизмеримое с возможностями переживаний по мерке, выданной хозяином его жизни – отцом, и потому синий со взбитыми сливками океан и сверкающая на чёрном бархате Европа виделись ему *пустыней*, в которой миражом сверкал Иерусалим...

В аэропорту Ицик заметил только приметы своих грёз: влажное тепло воздуха, пальмы и евреев, одетых так же, как он – в чёрные костюмы и шляпы. Пёстрая толпа, похожая на ту, от которой он бежал из Нью-Йорка, ощутилась досадными помехами, от которых их с отцом увезло послушное такси – они вышли на маленькую, похожую на амфитеатр, площадь, из которой вырастал, поднимаясь к небу, *Иерусалим*... Белые камни устилали его стены, дороги, тротуары, ступени, ведущие к небесам, скамьи, на которых можно было отдохнуть в пути. Иерусалим обнял Ицика бережно, сильно и немного виновато – как мама, и он ощутил забытый запах и солёный вкус на губах, не поняв, что плачет... Они вошли в один из белых домов, где Ицик верил, что его ждали и любили, и знали о нём всё, чего он не знал сам.

* * *

Лея захлопотала вокруг родни, с которой не была прежде

знакома, но знала, конечно, что Дэвид давно разошёлся с женой и живёт с сыном, что парня этим вечером решено познакомиться с девушкой из хорошей семьи – Ривкой, и что неплохо бы женить и его отца, и есть две вдовушки, но одна, пожалуй, не подойдёт, так как Дэвид оказался сублильного сложения, а ту разнесло как на дрожжах, но зато вторая – в самый раз: миниатюрная, домашняя, спокойная, и дети у неё такие же тихие... – родня будет довольна. А Ицику, сразу видно, нужны *хорошие руки* – жена с характером, и может быть, стоит познакомиться его не с легкомысленной Ривкой, а с другой невестой – тоже почтенная семья, и дочь, хотя и не красавица, но энергичная, а парень, похоже, *не в себе*, и всё равно ничего не поймёт, а потом ещё и спасибо скажет... Ривка же – с её голубыми глазками и папиным кошельком – долго не засидится... и, пожалуй, есть такой на примете – *хорошенький*... Все будут довольны и благодарны ей – мудрой Лее... Всё-таки, решать такие дела нужно *на месте*, вот, только, что делать с этими чужими женщинами – уж они-то тут явно лишние и могут испортить *пасхальную трапезу*, особенно младшая. И, словно в подтверждение, Лея услышала дикие звуки, и, войдя в гостиную, увидела уставившихся друг на друга молодых людей: икающего в испуге Ицика и безумно хохочущую молодую русскую, вокруг которых растерянно столпились все гости.



К Ицику вернулась икота, которая, было, отстала от него с того момента, как они сели в самолёт – так что Ицик даже забыл о том, как мучила она его на улицах Нью-Йорка, когда мимо, выдувая изо рта пузыри, мчались на роликах *чужаки* – пёстрые и ловкие, как насекомые. Ицик чувствовал, что они огибают его не так, как других прохожих, с которыми *встречались глазами, чтобы разминуться*, но, скорее, как огибают столики уличного кафе, которые не могут посторониться *сами*, и ему становилось так одиноко, словно и он – Ицик – был вещью, или даже... совсем не был *ничем*... И тогда ему хотелось задеть и, даже, ударить кого-нибудь из тех, кто владел здесь всем – только бы его заметили – признали, что он есть... Однажды он, сделав над собой усилие, толкнул какого-то сине-жёлтого; тот споткнулся и пролетев, молотя в воздухе руками, упал, но сразу вскочил, и, мельком оглянувшись, помчался дальше. Ицик запомнил его взгляд – *сквозь* – как у человека, который хотел посмотреть, но ничего не увидел... И вот, спустя годы, *тот взгляд* вернулся – выпрыгнул из глаз странной девушки и вобрал в себя его – Ицика – настиг неожиданно и ударил именно тогда, когда Ицик был готов довериться судьбе...

* * *

В своём календарике, который лежал в бумажнике, Михаил заботливо окружал зелёной линией своё время: выходные дни, когда *он занят собой*. Последнему году он дал имя: “Исход”, и время, получив определение, обнажило его настоящую жизнь – не так, как он ожидал – не красочным полотном, но вполне завершённым эскизом. В возникшем наброске не было величия, но это был *подлинник*, и, не трясясь на разочарования, Михаил, принял его, как свою настоящую жизнь, с которой стал соизмерять все *иное*. И вот, потеряны почти два дня; к тому же, похоже, чужая церемония осложнена детективом... и Михаил, отмерив своё терпение в два дня, с приятной улыбкой присел у окна.

* * *

Безумный смех юной толстушки из Москвы ударил Олю, взвинченную нелепостью этого дня, и ей самой захотелось завизжать изо всех сил – до судороги напрячь себя, как во время родов, чтобы избавиться – вытолкнуть из себя выросшее до невыносимых размеров смирение...

Последнее время её преследовало видение, что она – некое существо, похожее на моллюска, которое *метафизиче-*

ски превращает инородные песчинки, мучающие его нежное нутро, в живой жемчуг: мыслящий, чувствующий... Даже во сне её преследовало смирение: она умела летать, но последнее время летала так, чтобы никто не заметил – специально низко и будто, например, она не летит, а едет на велосипеде. У машины не было ни колёс, ни руля – только рама, которую приходилось зажимать между ног, что очень мешало полёту. И, вот, первобытные звуки чужой истерики ворвались, выталкивая её из перламутровой раковины, но та, преодолевая вольницу, мгновенно захлопнулась, и вспыхнувшее, было, лицо Оли покрылось бледностью: “Нет, нет – я не стану кликушей на чужом карнавале.”

Женские фигуры озабоченно передвинулись, шелестя голосами – совершили рокировку и патовая ситуация была преодолена: Рита и Оля хлопотали вокруг утихающей Машки, Лея ласково журчала Ицику о проблемах *восходящих* из России. Центр всего происходящего опять сместился к столу, покрытому белой скатертью: на нём появились блюда – числом семь – для странной игры, все ходы которой расписаны с начала до конца, но, вместе с тем, каждый играет в неё по своим правилам...

* * *

Как весенние соки пронизывают каждую травинку, связывая её с дождевыми каплями, так в полнолуние месяца Ни-

сан напрягаются невидимые нити между людьми, пропущенные через прихотливое сплетение истинных отношений: не по чинам, соседству или родству, а по тем неосвязаемым мистическим связям, которые невозможно проследить за время жизни. Так, в одну и ту же ночь, вот уже тысячи лет, встречаются люди, которые, казалось бы, никогда не должны были встретиться, словно чья-то небрежная рука смешивает их судьбы, и они – вместе с первой звездой – составляют причудливый *пасхальный порядок*...

Хозяином полнолуния в этом времени и месте – весной начала девяностых в Иерусалиме – стал Стол, накрытый белой скатертью, и Он, как любая избранная для поклонения вещь, требовал от прислуживающих ему людей жертвы: вина и яств, слов и поступков. И Лея – жрица Стола – повинувшись, принесла Ему в жертву “риту-машку”...

В подвале дома были две небольшие белённые комнатки, и в них собирались жильцы для решения общих проблем или в непогоду, когда хлестали зимние дожди – для молитвы. Это была домашняя синагога с немного кособокой кафедрой, библиотечкой со святыми книгами, разномастными стульями, принесенными прихожанами, и шторкой, отделявшей во время молитвы мужчин от женщин. Был там и электрический чайник, жестянки с кофе и чаем, пластиковые стаканчики. И если бы не голая лампочка в чёрном па-

троне, криво вздёрнутая под потолок, подвальчик казался бы даже уютными.

Сюда Лея, долго не раздумывая, и привела неугодных Столу гостей. К её удаче, в комнате уже сидело несколько *русских*, которые попали сюда в результате нехитрого естественного отбора. Под шумок вспорхнувших восклицаний, Лея, ласково улыбаясь, исчезла, немедленно вычеркнув происшествие из памяти, словно из листочка со списком покупок, что брала с собой в магазин... Это был её привычный компромисс: *не брать в голову* то, что могло отвлечь от ритуала выживания, расписанного по минутам...

* * *

Пенсионер из Сибири оказался в подвале первым – его тоже привезли прямо из аэропорта, но никто даже не впустил старика в квартиру, испугавшись хриплого кашля, запаха пота и пёстрого галстука на полосатой рубашке. Юлий Семёнович уехал, окончательно рассорившись с зятем, вернее, тот просто его выгнал – деваться было некуда, и отчаяние подсказало выход из тупиковой ситуации. Решение об отъезде в Израиль вызвало среди его родни и знакомых всеобщий энтузиазм: старик был обласкан всеми, включая зятя, испытав неведомую прежде радость популярности, в которой утонуло его беспокойство о будущем. И вот, он впервые *заграницей*... или ещё нет? Комнатки были точь-в-точь похожи на

домоуправление, где в последние годы он был активистом: стол со строгими книгами без картинок, стулья, портрет почтенного человека в Красном Уголке. Из состояния настороженного созерцания Юлия Семёновича вывел вид электрического чайника, и он, залив в него воду из крана, заварил себе чай из пакетика, с устройством которого познакомился совсем недавно, достал бутерброд, припасенный в самолёте, и стал с удовольствием перекусывать, думая, что пока, слава богу, всё хорошо, хотя, конечно, непонятно зачем привезли его сюда, но, видно, там знают зачем. Подкрепившись, Юлий Семёнович присмотрел, было, за ширмочкой поставленный на-попа матрас, но тут дверь приоткрылась, впустив мужчину и женщину лет пятидесяти.

Мужчина казался тенью и эхом своей жены, которая с порога накинулась на Юлия Семёновича – как если бы, он был домоуправ, а она жиличка, у которой в третий раз протёк потолок. Захотелось даже прикрикнуть, мол, вас много, а я один, но Юлий Семёнович вспомнил, что он *заграницей*, и промолчал. Женщина была одета в облегающее её многосложную упитанность короткое цветастое платье с оборочками вокруг выреза и по подолу. Туфли на каблуках были явно надеты впервые, что следовало из кровавых волдырей, выглядывающих из сплетений ремешков, и Юлий Семёнович вспомнил, что точно такие же туфли купила и его дочка, переплатив спекулянтке, за что и вышел у неё тогда скандал с мужем, окончившийся изгнанием Юлия Семёновича.

Из бурного монолога следовало, что супруги приехали ещё в прошлом месяце и даже успели получить багаж, где лежали вещи на выход, без которых они бы не смогли пойти в гости. И вообще, багаж, слава богу, дошёл отлично, и даже сервиз, из-за которого она больше всего волновалась, был в целости. А у её знакомой пропало два ящика, но, может быть, и не пропало, а муж продал втихаря, как и новую каракулеву шубу и демисезонное пальто с норкой, а деньги заначил. Потом женщина сообщила, что приличные вещи есть на специальных складах для вновь прибывших, и мужа она одела там с ног до головы, и что Иисус Христос – кто бы мог подумать – еврей, а арабы – двоюродная родня, и что их пригласили на праздничное застолье в порядочную семью, но сейчас все пошли молиться *по-ихнему*, как они с мужем ещё не умеют, но научатся, а пока просили немного подождать здесь. Дочка тоже хотела пойти, но не пошла, потому что вышел скандал из-за джинсов, но вообще-то, она очень интеллигентная, хотя нервная, и пишет такие красивые стихи, что их печатали в газете Октябрьского района, а здесь она хватает язык так, что скоро сумеет писать стихи и на нём, и, пожалуй, быть поэтом – для женщины – отличная профессия: и чисто, и на виду, и денежно...

* * *

Дверь впустила Риту и Машку. Блиц знакомства был ко-

ротким: “Нас выбросили – сказала Рита – как мусор... подонки...” Женщины сели в угол и горестно умолкли. На небе загорелись три первые звезды; из смежной комнатки вышел человек, одетый в длинную серую рубаху, подпоясанную ремешком. Он мельком оглядел компанию и неопределённо хмыкнув, приготовил себе чай. За шторкой послышался шум, и оттуда появились, бляя и толкаясь, два белых барана. Немного покружив, они остановились в Красном Уголке и замерли, прижавшись друг к другу.

“Отличный чай – сказал мужчина – В прошлый раз был фруктовый, но я люблю чёрный – покрепче и послаже; в конце-концов, раз в году можно себе позволить...”

Первой опомнилась женщина в дефицитных туфлях: “Кто Вы?”

“Разве я не представился? – удивился мужчина – Простите, Бога ради: Ангел – к вашим услугам. А Вы – Бела – инженер по соцсоревнованию, а это Шура – Ваш коллега и муж... очень приятно.”

“И я – по соц... – опомнился от удивления Юлий Семёнович – Очень приятно, слышал... что-то...”

“Ах, так это Вы шесть месяцев недосылали нам инструкции, срывая квартальный план по инструктажу” – грозно придвинулась к Юлию Семёновичу Бела.

“У нас не было фондов, и потом я уже на заслуженном отдыхе, хоть и продолжаю активно работать в ЖКО на общественных началах. А вы не проявляли должной инициа-

тивы...” – в голосе Юлия Семёновича звякнул металл.

“Хмм... какой странный язык – покачал головой Ангел – Стиль похож на египетский времён Тутанхамона: *должной инициативы*... противоестественно, но я справлюсь, конечно. Пожалуй, хорошо, что я не взял более двух баранов” – обратился он к Рите и Машке, молчащим столь красноречиво, что, казалось, на их лицах бегут светящиеся строчки из вопросительных и восклицательных знаков.

“Дело в том – сказал Ангел, любуясь живостью их лиц, вспыхивающих то надеждой, то отчаянием... Дело в том, что если бы кто-то из тех, кто оказался в рабстве именно в эту ночь, решил бы на исход, я бы принёс за него в жертву барана – для поддержки обмена веществ. Конечно, де-юре это недопустимо, но де-факто можно сделать исключение – чудо, так сказать... Впрочем, до сих пор чудес не было, и мне приходится кормить эту парочку бездельников тысячи лет по вашему счёту.”

На глазах у Риты выступили злые слёзы: “Мы совсем отчаялись – никому не верим... Так надеялись... но сейчас... больше не верим – пусто в душе, страшно...”

“А я верю – тоненько сказала Машка – хочу верить...”

“Это ещё не одно и то же – улыбнулся Ангел, впрочем, пора объяснить всё по-порядку. Товарищи, внимание, инструктаж.» Он захлопал в ладоши, умело остановив стихийный диспут инженеров по соцсоревнованию, грозивший перейти в драку: «Инструктаж по исходу из рабства! Прошу внима-

ния...”

“Займите место за кафедрой, как положено” – впервые подал голос Шура.

“Хорошо” – кротко ответил Ангел и зашёл за кафедру, немного потеснив дремлющих там баранов.

“Немного из истории вопроса” – начал он...

“Конспектировать? – перебил его Шура – Или есть печатные тезисы доклада?”

“Как не быть? Ради Бога, давно приготовлены, рекомендую: “Библия” – полный конспект, но, конечно, специфика первоисточника: нужны уши, так сказать, чтобы слышать... Советую также вольное изложение на русском языке: Пушкин Александр Сергеевич, Чехов Антон Павлович – гениальные конспекты для личного осознания. Или, Шекспир Вильям: “Быть или не быть – *вот вопрос*. Что для души достойней? Покориться превратностям судьбы, или восстав, сразиться в поединке с роком?” ... Впрочем, я увлёкся: уже зажглись все звёзды, луна вошла в зенит, и у нас мало времени...”

Юлий Семёнович поднял руку: “Можно в туалет?”

“Конечно, перерыв на пять минут, и прошу не задерживаться. Пора-пора...”

* * *

“Итак, несколько слов по сути вопроса. Как известно, при-

существование людей на обитаемых планетах такого размера как Земля рентабельно лишь при условии, что среди них будут пребывать не менее двух тысяч шестисот двадцати трёх свободных душ, то есть, индивидуумов, осознающих себя и Мир, в котором им приходится жить. Душа разумная способна на милосердие, то есть, на ответственное отношение к жизни. Простите за банальность, так сказать, азбуки, но без милосердия – к себе самому, прежде всего, человечество обречено на болезни, войны и прочие извращения, отвлекающие его от счастья. И это бы не беда – мало ли: “Бог дал – Бог взял”, но нарушается экология Космоса, а этого мы, конечно, не можем себе позволить.”

“Правильно – энергично взмахнув рукой, воскликнула Бела – Не можем позволить: иш, чего захотели!”

“Не выкрикивайте с места – сказал Юлий Семёнович – Берите слово в порядке очереди”.

“Вас никто не выбирал в председатели” – защитил жену Шура.

“У нас демократия” – продолжила, было, дискуссию Бела, но тут строго прозвучало “бээ” потревоженного барана, и Ангел, воспользовавшись поддержкой, перехватил инициативу:

“Как показала история, люди, в отличие от всех других божьих тварей, агрессивны, более всего, к самим себе. Вот, простите за вторжение в частную жизнь, простенький пример: ступни и пальцы Ваших ног, уважаемая Бела, покрыты

кровавыми волдырями от ужасной обуви, которую Вы сами – лично – выбрали, отвергнув удобные тапочки, из тех, что в количестве двадцати пяти пар привезли в своём багаже в ящике с пометкой “домашняя обувь”. Вы страдаете, но, не осознавая причины, набрасываетесь на Юлия Семёновича, а завтра, если не изойдёте из этой ситуации, то есть, не переоденете обувь, непременно поскандалите и с дочкой...»

Шура вздохнул. Бела открыла рот для ответа, но Ангел возвысил голос: “Человечество прошло сложный исторический путь к гуманной обуви, защищающей, а не уничтожающей бrenную плоть, а по высокому счёту, и вечную душу! – он залпом допил свой чай и продолжил уже спокойно – Исход в скверной обуви просто невозможен, и всё же, идя навстречу мольбам человечества, и согласно плану по спасению Космоса от катастрофических последствий глупости, раз в году – в пасхальную ночь – происходит встреча делегатов от рабов с Ангелом во всех пятых углах, вписанных в шары подсистем, с целью коррекции координат относительно Божьей истины” – Ангел отёр пот со лба и оповестил, что торжественная часть окончена и можно задавать вопросы.

“Не понял” – сказал Шура.

“Это вопрос или декларация? – уточнил Ангел, и, не дожидаясь ответа, продолжил: «Всё очень просто: раз в году в полнолуние месяца Нисан я прихожу к людям, оказавшимся в тупиковой ситуации, и предлагаю исход...»

“В коллективном порядке?” – спросил Юлий Семёнович.

“Бог с Вами, Юлий Семёнович, коллективный исход – нонсенс, то есть, чушь собачья. Исход – явление очень личное, я бы даже сказал – одинокое, и решительно невозможен в толпе, или, как Вы выразились, “в коллективе”.

“Мероприятие добровольное или принудительное?” – привстал Шура.

Ангел покачался, взявшись за сердце: “Вы решительно не понимаете о чём идёт речь. Вот, например, Вы – кто?”

“Я – инженер по социалистическому соревнованию”.

“А ещё?”

“Всё”.

“Как это «всё»? Вы – человек или кто?”

“Конечно, не рыба же...”

“И что вы здесь делаете?”

“Жду. За нами должны прийти.”

“Кто должен?”

“Хозяева.”

“Значит, у Вас всё хорошо?”

“Хорошо.”

“Ничего не хорошо, много ты знаешь» – заволновалась Бела – «Товарищ Ангел, помогите нам пожалуйста материально: квартира, небольшая пенсия и порядочный молодой человек для моей дочери-поэта”.

“Какого поэта? – подумал Шура – неужели Ложкина из пятого подъезда?”

“Я милостыню не подаю» – сухо проронил Ангел – «Толь-

ко советы, так сказать, пророчества... “

“Пожалуйста, можно мне пророчество – сказала Рита – мне и Машеньке...”

“Какое? Есть пророчества двух сортов: исходные и безысходные. Первый сорт – истина, скрытая ото всех, кроме самого пророка, который в определённой мере видит её – в общих чертах – понятно?”

“Почему не все видят истину?” – спросила Рита.

“Такова данность – тайна бытия, так сказать... Истина, как и сам Господь Бог – одна на всех, но один познаёт, другой – нет. Это как таблица умножения: для одного, то, что “семью семь равно сорок девять” – истина, а для другого – тайна; или, например, один знает, что ложь – зло, а другой – без понятия. Конечно, мы могли бы с вами приятно поговорить сейчас о том о сём: о жизни и смерти, о Боге и человеке, добре и зле – обо всём, о чём никогда не беспокоились говорить все те, кто угодил в пятый угол... Но, увы, время на размышления вышло – истрачено на суету, и без посторонней помощи, то есть, без чуда – не выбраться... Выживание невозможно без осознания... впрочем, простите, я увлёкся. Короче, придётся – по счёту три – совершить выбор... Сожалею, но я – только Ангел – посредник, и говорю не от себя. И “Раз, два, три” – скажу на исходе этой ночи, когда погаснут последние три звезды – вы не заметите, а я увижу и вам сообщу – вот и вся моя скромная миссия...”

“Осветите, пожалуйста, вопрос о международном положе-

нии” – поднял руку, вздремнувший было, Юлий Семёнович.

“Господи, не всё ли равно, ну, пожалуйста: Советский Союз, как и все деспотии, распадётся в ближайшие десятилетия на криминальные общины, Израиль сделает выбор: и либо реально создаст своё Государство с действующим законодательством, освободившись от инфантильных притязаний на исключительность, либо исчезнет с политической карты Мира, как это было с ним не однажды...”

“А дружественный нам Гондурас?” – спросил Шура.

“Заткнись, сука! – простонала Рита – мы – в дерьме, и время на исходе – не понял?”

“Попрошу не выража...айй” – Бела энергично ткнула мужа в бок.

“Я хочу познать истину, Сударь – Машка сама не ожидала, что произнесёт слово не из своего лексикона: ”Сударь” ...

“И я с ней” – сказала Рита.

“Напоминаю, решение каждый должен принять отдельно – мягко сказал Ангел – личный выбор, о котором никто не узнает. В тот момент, когда прозвучит “Три” ничего не произойдёт – все останутся на своих местах. Изменится только внутреннее состояние, и оно будет зависеть от выбора каждого: принять или нет знание об истине, которое подарю я в своём пророчестве.”

“Хорошо” – согласилась Рита: “Но Вы говорили о двух видах пророчества – или мне показалось?”

“Действительно, если человек выбирает исход, то я гово-

рю ему истину – одну для всех, а он уже должен сам, по своим возможностям, отправиться в путь. Но если человек не согласен на исход, то я могу ему на прощание сообщить о его безысходности: какой она для него будет в будущем – “предсказать судьбу”.

“А можно для начала предсказать безысходность, чтобы посмотреть, так сказать, перспективу, а потом уж...” – спросила Бела.

“Абсурд. Ну какая же перспектива у безысходности? И потом, выбор – явление всегда немного авантюрное. Пятый угол, в конце концов, это... чёрт знает что – беспредел – абсолютное рабство. Короче: или-или. Могу немедленно сообщить каждому “что будет... чем сердце успокоится...”

“А я, вот, слышал недавно, что нужно ходить сорок лет по пустыне, а у меня одышка и печень пошаливает...” – сказал Шура.

“Пустыня – это исторический пример, используемый как метафора...”

“Значит, не надо ходить?”

“Откуда я знаю, что надо Вам? Может быть, Вас занесёт в джунгли, или в Воронежскую область? Я даю только общие рекомендации, многие из которых, кстати, у всех на слуху, и, были бы *уши*... Предупреждаю: вы можете быть крайне разочарованы истиной, настолько она проста, вроде того, что, мол, хочешь изойти из одышки и развивающегося цирроза – делай зарядку и перестань пить...”

“А нервы?” – спросила, шумно дыша, Бела.

“Обувь нужно носить... милосердную – устало сказал Ангел – и кушать меньше...”

“Я – пожилой человек...” – начал было Юлий Семёнович

“Возраст – не более, чем обстоятельство *времени*. А исход – явление *вечности*... Как бы проще объяснить – событие не только жизни, но *бытия* – не только тела, но и души... То есть, тело-то бrenно, а душа вечна, и настоящий исход – не перемещение тела с места на место или от молодости к старости, а осознание самого себя – покаяние... Чтобы вывести себя из тупика обстоятельств на истинный путь, нужно осознать себя. И кто вас только учил?! – Проще договориться с людоедами из племени Зулусов, они хоть о переселении душ слышали...”

“Я – пожилой человек; – упорствовал Юлий Семёнович. – Нахожусь на заслуженном отдыхе, как ветеран по социалистическому соревнованию, поэтому, уважаемый докладчик, прошу изложить мне мою долю пророчества, так сказать, личными. Меня интересует следующий вопрос: в прошлом году у меня из шкафа пропало пять тысяч старыми, и я подозреваю зятя, но он сказал, что это Борька спёр – мой друг детства. Так какова же истина?”

“Нет проблем – вздохнул Ангел – Спёр, как Вы справедливо подозреваете, зять, а Борис – невиновен, так как не нашёл вашу заначку. Прощайте, Юлий Семёнович”.

“И мне, пожалуйста, чем сердце успокоится...” – сказала

Бела...

“Внучка родится через три года. Правда, на русском не будет говорить, но у ребёнка будет отличный аппетит. Работать будете с мужем на конвейере текстильной фабрики – десять лет до пенсии... Квартирку получите льготную, правда, автостоянка под окном, но жить можно... Прощайте, Бела и Шура!”

“Машка, сказала Рита, давай изойдём, а то будем и мы на текстильной фабрике...”

“Мама, ты же слышала: по одному – вместе нельзя; не держись ты за меня...”

“Не буду... только, как же...” – прошептала Рита.

Лицо Ангела стало суровым: “Раз!” – произнёс он, словно ударили часы на неведомой башне...

“Мама” – заплакала Машка – мне страшно...”

”Два” – пробило на башне.

“Беги, девочка!” – и Рита, болезненно вскрикнув, ударила дочь по щеке.

”Три!”

“Свободна” – всплеснул женский голос...

Погасла последняя звезда, и небо стало светлеть на востоке... По весенней пустыне в сторону Мёртвого моря шли двое: человек в длинной серой рубахе, подпоясанной ремешком, и белый – без единого пятна – баран.

Первый день псаха: Нисан 5760 года.

19 апреля 2000 года.

Рассказы

Калитка

Осенью девяностого в дневнике возникла запись: "Мы похожи на идущую на нерест рыбу, и нас не бьёт только ленивый. Позади марафон, должно быть, это исход... так куда мы изошли?" Лена ошибалась дважды: марафон не был позади... и не было «мы» – была цепочка одиноких недоразумений – неосознаний себя и мира со слепыми устремлениями в стихию без понимания её законов, границ своей судьбы и судеб других людей, путаницы причин и следствий – хаоса, исход из которого невозможен в толпе.

Тогда, осенью девяностого года, город еще отзывался на своё имя – Иерусалим. Это потом зимние горизонтальные дожди разбросали его на улицы, площади, дома, и Лена писала в дневнике: "Мой стул стоит в пустыне... пустыня... пустота... ноль, но ноль, тяготеющий к плюсу, если видеть, как ярко звёзды".

В свой первый Иудейский Новый Год семья оказалась без денег, без еды, без близких. Цепочка недоразумений, смутных страхов, ошибок сплелась в безлунную, осеннюю ночь. Мужчина, женщина и два мальчика спускались по каменным ступеням, устланным хвоей, по склону холма, среди невиди-

мых сосен и призрачно белеющих домов туда, где слышался праздник. Окно, из которого прежде доносилась скрипичная музыка, молчало.

Внизу, у круглой синагоги, собралась тихая толпа. Люди сидели на принесенных стульях, на ступеньках сбегających вниз лестниц, на склонах, покрытых травой.

Лена хотела подойти ближе, но муж остановил: "Не будем мешать – там все свои..."

"А мы – чьи?"

"Ничьи" ...

Вечный город... ничейный город – он для тех, кто исходит из своих иллюзий, безразличный к сплетению недоразумений и смутных страхов. Город равнодушно принимает, дарит невесомость тому, кто находит опору в себе, и не удерживает тех, кто устремляется в круг чужого света и падает, обожжённый, на дно судьбы.

Они стояли в темноте, у границы освещенного круга, не смея преступить...

Был исход Судного дня и чудная лёгкость после дня поста в предвкушении праздничной трапезы. "Я – змея после линьки", – Леон с наслаждением напряг и расслабил плечи, улыбнулся звёздам, выходя из двери синагоги. На нём была белая вязаная шапочка со сложным узором – кипа – такие носят религиозные евреи из Алжира. Прежде Леону казалось, что узоры на отцовской кипе – единственная его связь

с Африкой, иудейством, и потому сам был удивлён своему решению оставить квартиру и налаженную жизнь в Париже ради домика с кусочком каменистой земли на южной окраине Иерусалима. "Я не успел опомниться – роды были стремительными," – говорил он друзьям, и всем было лестно от свободного и красивого кульбита уважаемого шестидесятилетнего европейца, было приятно упомянуть в конце делового разговора, что надо бы навестить Леона в его "иерусалимском периоде", и что-то в его затее... безусловно, есть – как-то дышится там... особенно...

Леон оказался во Франции ребёнком, унеся в мышцах воспоминание о холоде – родители потом объяснили, что ему было четыре года, когда они всю ночь, захлёбываясь в ползущих по земле стылых тучах, ждали посадки на паром. Не рассветая, начался день, все поднялись по сведённым судорогой сходням, и замёрзшая, мокрая Африка, кряхтя, отчалила.

В огромном трюме было тепло и уютно от неяркого оранжевого света. Раздали горячий и волшебно вкусный суп, и Леон запомнил робкое счастье надежды на лицах родителей. Потом уже никогда у них не было таких улыбок, и Леон рос, стараясь поменьше глядеть в бездну их глаз – лучше не глядеть вниз, когда идёшь по натянутой верёвке.

Парень был серьёзен и жил, словно выполняя ритуал. Бог знает, как феи раздают дары младенцам, но он вел себя до-

стойно – в такт с мелодией, что слышна немногим. Это был один из тех счастливых случаев, когда жизнь складывается благополучно. Французы очень кстати обрушили на молодого кареглазого парижанина своё покаяние, и он отнёсся к нему, как и ко всему, сдержанно – приняв стипендию для учёбы в университете и уклонившись от участия в обличении колониальной политики.

От отца ему досталась белая вязаная кipa и хрипловато-оранжевые с волшебным вкусом слова: "Не пролей". От матери – грусть, похожая на пустой стул, странно стоящий посреди нарядной комнаты: она умерла рано, и с нею ушла его надежда ещё раз увидеть её робкое счастье. Он не сразу понял как это было важно, и что, возможно, в чётком ритме его поступков была мистическая тайна, и Иерусалим возник той последней комнатой на его пути, в которую нужно было успеть войти – красивой комнатой с оранжевым абажуром над большим круглым столом, где сможет встречаться вся его семья, и где не будет пустых стульев.

И действительно, одноэтажный домик в окружении десятка старых олив сразу превратился в место паломничества. Сын, что прежде месяцами забывал позвонить, приезжал с внучкой и гостил неделями. Съезжались вечно занятые друзья, утверждая, что здесь им как-то особенно дышится и видится. Импозантный бродяга Марсель превратил сарай в свою мастерскую и высекал из камня уже пятую фигуру Давида, утверждая, что в полнолуние видит его тень, слышит

игру на пастушьей дудочке и звяканье колокольчиков его стада. Действительно, с холмов Вифлеема в полдень спускался резкий запах, бляеные овец, и тёмные арабские пастухи в пиджаках на длинных рубахах, с платками на головах, подходили к ограде, заворожено наблюдали за работой Марселя и просили пить.

Любимая внучка Леона, тоненькая, с ёжиком на круглой головке и круглыми очками, Ли, взяла дополнительный курс в Кембридже о чём-то «африканско-еврейском», и аккуратно присылала наставления по земледелию, скотоводству, дизайну и ритуальным трапезам.

Сегодня вечером все ожидали ужина с сюрпризами из конспекта Ли, и жена Леона, Мишель, предусмотрительно положила на свою тарелку яблоко, чтобы весь вечер отрезать от него ломтики серебряным ножиком. Она подтрунивала над всеобщим этнографическим энтузиазмом. Но и ей нравилась иерусалимская затея мужа, как новая степень свободы, когда можно за утренним кофе решить, где ужинать: в компании с Марселем, пристроившись с яблоком возле его идолоподобных Давидов, или устроить пирушку с приятельницей – там, – в квартире на улице "Короля Лу", где нужно только сменить цветы в синей вазе...

За чертой освещённого круга Леон увидел фигуры, словно сошедшие с полотна "голубого периода" Пикассо, и на мгновение залюбовался точными, трагичными мазками, но потом очнулся – понял, что перед ним

живые люди... В порыве раскаяния сделал шаг в их сторону, а замеченный, уже не сумел остановиться. За несколько мгновений он успел понять, что перед ним «русские», которые в последние месяцы прилетали тысячами и были похожи на одинаковых куколок, должно быть, очень разных бабочек... Перед ним была теперь такая куколка, казалось, не имеющая своего лица – это был живописный портрет: художественная метафора – материализованное впечатление...

Лена взволновано смотрела на отделившегося от толпы красивого человека в большой белой кипе. От подошедшего веяло уверенностью и спокойствием. "Случилось, – задыхнулась она, – так должно было быть – их должны были принять... нельзя быть совсем ничьими", – и Леон с похолодевшим сердцем увидел на лице женщины ту самую улыбку – робкого счастья.

"Русские" приняли предложение посетить праздничную трапезу в его доме с такой застенчивой готовностью и благодарностью, что сомнение, на миг выглянув, скрылось. Леон удовлетворённо подумал, что из этой компании возникнет в свой срок совсем недурная бабочка – у него намётанный глаз, и эти гости – к удачному году. По дороге он был оживлён, шутил на преувеличенном английском, с которым были знакомы эти люди.

Явление гостей дома восприняли с королевской терпимостью – как стук молотков Марсея на зорьке, как овечьи облака, сползающие с Вифлеема, или, как если бы Леон при-

вёл белого верблюда под яркой попоной. Домик, окружённый оливами, был отдан подсознанию – для грез наяву, и обычно скупые на чувства взрослые играли в «Иерусалим», как дети, понимая, что так могут себе позволить только те, кто сумел построить жизнь в чётком осознании звуков, запахов и снов своего священного одиночества.

Леон окинул стол изумлённым взглядом – он был заставлен тарелками с муляжного вида блюдами, среди которых узнаваемо было только лукавое яблоко его Мишель. Все посмеивались, а Ли сияла, объясняя, что на днях получила зачёт по новогодней трапезе в зажиточном доме африканской диаспоры второй половины последнего тысячелетия и, вот, – ах – это восхитительно! Круглоголовое дитя гамбургеров тайно священнодействовало полтора дня, соперничая с Марселем в плодовитости, и возник прелестный «сюр»: живописный и экзотичный, как сама еврейская судьба в колониальной Африке...

Все, благодушно посмеиваясь, рассаживались вокруг, наперебой расспрашивая Ли, с какой стороны лучше подцепить это клетчатое желе, и, действительно ли, правда, что топлёный жир, засыпанный перцем, нужно продолжать топить в зелёном чае, и уверена ли она, что эта рыба действительно заснула...

Лену с мужем посадили напротив их сыновей, и она глазами показала детям, чтобы они вели себя сдержанно, не

жадничали – все четверо чувствовали себя страшно неловко. Было видно, что хозяйева – изумительно красивые и добрые израильтяне – любящая семья, и собрались они на свой праздник, из века в век храня затейливую семейную традицию... и, вот, были так великодушны – пригласили к себе... путников... и, кто знает, может быть, помогут с работой...

Лене хотелось поблагодарить, объяснить, что они тоже хорошие и талантливые, всё понимают... просто переживают... "голубой период", но сказать об этом она не могла, и не могла сказать, что восхищена великолепием стола и мастерством хозяйки. Было неловко чувствовать, что собравшиеся прерывают весёлое журчание беседы с методичностью часового механизма, чтобы обратиться к гостям с порцией доброжелательства. Ли хозяйничала за столом и особенно усердствовала, колдуя над тарелками гостей. Лене даже показалось, что её муж и дети единственные, кто пробует... Сама она есть не могла – была слишком возбуждена, но ей почудилось недоумение в глазах мальчиков...

Леон уловил в глазах мальчиков усиливающееся недоумение и ответил невпопад, вызвав общий смех. Ему с детства было знакомо ощущение "чужого карнавала", когда пробираешься проходными дворами к себе, уклоняясь от грубого, назойливого веселья. Но теперь... это был его праздник, его затея, и когда, казалось, она удалась... мир треснул, как бумага на заклеенной на зиму форточке, и в ярком сквозняке распахнутого квадрата Леон увидел пустой стул, казалось,

уже исчезнувший из его жизни: он стоял увязнув ножками в мутном стекле, и вокруг была пустыня – она вытекала из распахнутых глаз женщины и заполняла собой вселенную.

Ли, его кареглазая Ли, умница и красавица Ли... была похожа на куклу Барби. Пошлость и фальшь всего происходящего обрушилась оглушительной пощёчиной, и Леон, ощутив боль, извинился с рассеянной улыбкой и вышел в сад.

Колесо городских огней катилось Млечным путём к оранжевой точке светящегося окошка его дома. Что же он сделал не так? Он не должен был пригласить этих людей? Ввести живую обездоленность в свой домашний театр? Ведь тогда, на пароме, им подали настоящий суп... это было совсем не много, но настоящее, а его протянутая рука оказалась чем-то вроде дёрганья мышцы у мёртвой лягушки в отвратительном лабораторном опыте.

Леон взглянул на небо и усмехнулся: между двумя последними взглядами вверх – тем, у двери синагоги, и теперешним – дистанция в вечность, как и между тогдашним Леоном, казалось, сменившим кожу, и теперешним – мучительно разорванным...

Он осторожно шёл по освещённому звёздами саду, угадывая деревья, и ему казалось, что это вовсе не сад, а пространство его души, и он всматривался в него, пытаясь понять, где... в тени каких олив затаилась беда, вынудившая его прийти сюда с пониманием своей вины.

"Мой стул стоит в пустыне... пустыня... пустота... ноль,

но ноль тяготеющий к плюсу, если видеть, как ярко звёзды..." – услышал Леон и ощутил подле себя Ли. Она подошла неслышно, но звуки и запахи в душевном пространстве приходят по иным законам, и Леон увидел внучку, невидимо стоящую в глубокой тени самой большой оливы.

"Что-то не так?" – спросила она.

"Да, не так.»

"Что, дед, не так?"

"Пошлость, девочка."

"Но это игра – шутка."

"Да, но мы зашли далеко – я втянул в неё случайных людей...»

"Они сами захотели.»

"Да, они хотели сами, и выпутываться им придётся самим, а нам – самим.»

"Но мы в порядке, дед."

"Да, мы в порядке, девочка, но что-то не так...»

"Что, дед?"

"Я заманил в свою иллюзию их... и тебя...»

"Меня?"

"Тебя, Ли, и ты положила пуговицу слепому в его протянутую руку... и даже не заметила...»

"Дед, ты о чём – об этом дурацком желе?"

"Они не знали, что оно дурацкое, они хотели есть...»

"Но дед... да, дед...»

"Понимаешь, Ли, я не сумел почувствовать – слишком си-

лён был соблазн весёлого забвения, и эти уставшие русские уже не сопротивлялись. Я встретил их у края освещённого круга – они не переступали его, словно какая-то сила держала их, но я окликнул – из своего недоразумения... Мне показалось, что они – не настоящие, что это рисунок Пикассо, что мы – персонажи одной пьесы: Иерусалим, серп луны над головой, я – в отцовской кипе, обездоленные люди за кругом света – метафоры... метафоры... Слова, сосны, камни, люди, звёзды и смена времён года – бесконечные россыпи метафор – материализованные отблески непостижимого мирового порядка... и мне показалось, что я владею... нет, не своими иллюзиями... а истинами..."

"Дед, ты пытался создать мир... сам?>

"Да, я был счастлив, мне казалось, что я – творец, что высшая гармония близка... что я избран – ещё один шаг... и преступил. Ли, мне стало мало власти над Луной, соснами, отцовской кипой – мне понадобились живые души, и в своей гордыне я соблазнил этих людей поверить в свой мир – моё творение. Усомнился, было, на миг, но успокоил себя, потому что мне было неудобно понимать – осознавать своё сомнение, печалиться – я хотел счастья бездумно, как хочет змея сменить кожу, и мне нужны были свидетели моего могущества. Эти русские... ведь они – сама кротость, и мне нужны были добрые души. Ли, – я хотел счастья любой ценой, а потом понял, что эта цена – ты, Ли. Понял, когда ты подкладывала, сияя от радости и гордости, папье-маше

на тарелки этих голодных мальчиков, которых мы через час выставим за дверь...»

"Дед, милый, добрый дед, мы – злодеи?»

"Не знаю, думаю, мы – пока – только два дурака, и ещё можем избежать злодейства... Глупость – причина злодейства,

Ли, и мы с тобой пока ещё владеем причиной... с запахом пошлости...»

"Дед, а если бы ты не почувствовал... пошлость?»

"Катастрофа, Ли, пошлость – запах катастрофы...»

"Дед, пошли домой, скажем гостям, что мы – дураки, и ты поможешь мне собрать с тарелок, выбросить всю эту дрянь, и у нас в холодильнике полно молока, и вообще, можно приготовить суп... нормальный, горячий..."

"Пошли, девочка, я расскажу им, что познакомился с Мишель, когда начинал практику в госпитале для беженцев, а она была истощена и умирала от воспаления лёгких. А потом, когда мы были уже вместе и любили друг друга, она сделала аборт, потому что не доверяла даже мне, и не хотела рожать, не став самостоятельной, а потом, в депрессии, резала вены, и нашего ребёнка родила только спустя годы, получив профессию... Что бедняга Марсель... нет, Марсель пусть расскажет о себе сам.»

Тени покинули сад, и Леон, обняв за плечи Ли, поднялся на порог и застыл, услышав странные звуки. Это была песня – незнакомая мелодия, старательно и, видимо, на пределе сил, выводимая слабым женским голосом.



Лена проводила взглядом хозяина и выскользнувшую за ним прелестную девушку, должно быть, внучку. Гостями занялся Марсель. У него была борода и трубка Хемингуэя, зычный голос и большие руки. Он рассказывал мальчикам, что живёт везде и нигде, что свободен как ветер, всегда весел, занимается творчеством, а те смотрели на него заворожено.

Лена чувствовала, что всё это уже было... было... в каком-то пошлом спектакле с псевдохемингуэем и живописными лохмотьями, где все тоже принимали значительные позы, и хотелось забыться в красном плюше, но нужно было успеть на электричку – уйти за пять минут... да-да, именно так, успеть уйти, но не бежать – уйти достойно... проходными дворами, чтобы не испортить добрым людям их праздник – заплатить за спектакль, поблагодарить, уйти... Господи, что за пошлую роль они здесь играют... каких-то нищих, убогих... впору запеть квартетом бетховенского «Сурка». Это она... – она втянула семейство в свою бездарную иллюзию... позволила своей душе дёргаться, как лягушечьей мышце в отвратительном лабораторном опыте... опутала малодушием, трясущимися поджилками, постыдным "чьи мы?" ... и, вот, лица детей уже прорастают катастрофой льстивого и завистливого рабства...

"Пошлость – запах катастрофы" – услышала Лена и улыбнулась острому счастью понимания происходящего, похожему на испытанное однажды вдохновение – словно занозу выдернули из души, и в ней возникло умиротворение ясности: "Завтра столько дел, и у детей занятия в школе... Нам пора... да, заплатить... чем-то равноценным... забавным: метафорой «а-ля-рус», и расстаться по-доброму – на равных... ноль-ноль... но тяготеющий к плюсу – без недоразумений...»

"Русский романс" – сказала Лена, вставая, приняв позу «бельканто» и улыбаясь оживлению в глазах мальчиков. "О-тво-ри осто-ро-жно калитку и войди в тихий сад ты как тень..." – выводила старательным голосом Лена и видела, как смеются, сползая под стол, расколдованные дети, чувствовала рядом мужа – впервые за этот вечер он улыбается, сжимает её локоть. "...потемне-е-е-е накидку, кру-же-ва" – осмелела Лена, подпустив в голос страдательную ноту – "на га-а-ало-о-о-вку надень..."

1997 г.

Милосердие

Некто сдал карты, и выпало две дамы. Одна начинала свой пятый десяток, другая завершала. Старшая была неизлечимо больна и хотела жить. Младшая была здорова и мечтала о смерти.

Юрист международного класса, холёная, уверенная, не знавшая родов Сара жила в дорогом квартале Тель-Авива в квартире с антикварной мебелью и подлинниками картин в массивных рамах. Свой диагноз она не знала. Врачи сказали, что у неё недостаток кальция в костях, поэтому она испытывает боль в суставах и слабость в ногах. Последний месяц Сара могла передвигаться только с помощью специальной этажерки. Вставать с постели стало трудно, руки неумело искали опору. Друзья и родные особо весёлым хороводом кружились по дому, шумно готовили и съедали диетические блюда. Холодильник был набит полупустыми баночками и кулёчками, из мусорного бачка торчала разруха, и Сара всё чаще замирала, прислушиваясь к холодному ветерку где-то внутри...

Анна вошла, и её душа покорно запричитала, как мальчик для битья, уловив ожидаемый запах смерти. На самом деле пахли цветы: корзины и вазы стояли на полу, рояле, столах. Так много цветов Анна видела только на похоронах, и бога-

тая комната ощутилась ею картинкой из чужой смерти, недоступной как катание на доске по океанской волне, как флирт белых пиджаков под парижскими каштанами.

Свою собственную смерть Анна обдумывала привычно и равнодушно. Она уже давно воспринимала жизнь через боль и страх. Эмиграция длилась четвёртый год, а до этого в страшной спешке она сама разрушала годами выстраиваемый мир: распродала, дарила, теряла, пока не остался час до отъезда и несколько чемоданов в углу пустой комнаты. Анна лежала на полу рядом с карамельно-жёлтым телефоном – последней вещью, которую предстояло ещё отдать.

Сара с тревогой думала, что кто-то чужой поселится в её квартире. От этой мысли каждая вещь – от старинной лампы до баночки с кофе – приобретала щемящую самооценность. Она не хотела делиться с женщиной, которая станет жить в отражении её зеркал, трогать глазами и руками её флаконы, шкатулки, передвигать вещицы, годами охранявшие её жизнь.

Родители Сары бежали из Польши в середине тридцатых годов, и в детстве у неё не было ни своей комнаты, ни даже своего шкафа. Сара ненавидела приличную нищету, подавленную гордыню и вечно встревоженную, семенящую миниатюрность породившей её плоти. К доходному диплому она пришла к тридцати пяти годам и потом страстно покупала, жёстко торгуясь за каждый шекель. Замуж Сара не пошла,

боясь тесноты в своём шкафу... Но теперь... временами одолевало равнодушие. Картины, книги, чашки становились всё менее доступными, и в одну из таких минут Сара позвонила в русское бюро, где можно было нанять прислугу дёшево.

Через день к ней прислали женщину. Та мучительно старалась выглядеть непринужденно, но сидела в кресле так неудобно и *так* не видела ничего вокруг, что Сара успокоилась и повеселела: русская никогда не сможет забрать власть над её вещами, потому что сосредоточена на себе и своём загадочном русском мучении. Ей скажешь доброе слово – и она в неистовом порыве благодарно пожертвует собой. Затем холодный взгляд повергнет её в тоску, заставит страдать и плакать в подушку. В терзаниях она будет прислушиваться к своим голосам, и хозяйке легко будет управлять этим экзальтированным хором. А то, что составляло радость её, Сарино, благополучия: тёплые мягкие полотенца, ажурное пресс-папье на изящном деревянном столике у окна, увитого розово-цветущей лианой, останется *недостижимым* для бедняжки... Нет лучшей прислуги, чем интеллигентные русские, разве что филиппинки с их культом церемонного услужения. И Сара подумала, что стоит, пожалуй, выписать служанку с Филиппин.

Анна поставила сумку и оглядела комнату, где должна будет жить: белёная коробочка с металлическими стеллажами до потолка, уставленными конторскими папками. Видимо, она была задумана, как архив, но потом в неё поставили где-

то не поместившийся готический зеркальный шкаф и что-то миловидно хлипкое на кривых ножках с игрушечными стульчиками по бокам. Огромная рушечными стульчиками по бокам. Огромная хрустальная люстра занимала половину пространства, у окошка стоял диван.

Анна хотела спать. Было поздно, но она теперь не знала, действительно ли поздно... и можно спать... или нужно что-то делать, пока той женщине – хозяйке... не станет *поздно*.

В детстве в их семье жили домработницы. Это были беженки из гибнущих деревень. Они за еду и ночлег нанимались в прислуги к горожанам, которые запутались в послевоенном быте и, чтобы освободиться хотя бы от самой чёрной работы, с отвращением пускали в свои убогие «углы» чужих, пахнущих утерянной жизнью женщин. Потом, к середине семидесятых, домработниц не стало и тяжёлые сумки, очереди, уборки и стирки достались самим горожанкам, которые уже успели податься в инженеры, врачи, жили напряжённо, конфликтно... Анне досталась как раз такая неустроенная жизнь, с которой она не справилась и бежала... *беженка... очередь Анны*.

Присев на диван, как всегда в последние годы в минуты неподвижности, Анна ощутила, как начинает суетиться обступающий её мир. Чертями скакали воспоминания, кликушествовали предчувствия. Она читала, что человек обречён связывать собой время: прошлое, настоящее и будущее – что ж, Анна вполне ощущала удушающую петлю, уйти от кото-

рой удавалось только в новый виток суеты, в оглушающий марафон, когда время зря кукует и щёлкает, не задевая, само по себе. Может быть, от этого – от того, что Анна забывалась, спасаясь от непосильной муки вспоминать, пытаться понять происходящее, думать о ждущем её – *быть...* где-то *там*, в недоступном ей пространстве, случалось что-то важное и непоправимое: возникали и исчезали чьи-то жизни, встречались и терялись души... из-за Анны... когда она пропадала в своей суете. И оставленное без её присмотра время в дикой вольнице перемешивало порядок вещей и, вот, странно выпало две дамы...

Анна услышала своё имя и, резко вскочив, бросилась на голос хозяйки, но на пороге поняла, что вовсе не встала и даже не шелохнулась... Растерянно, словно издалека, Анна смотрела на себя, едва узнавая удивительно похорошевшее в безмятежности лицо. Стало жаль тревожить, побуждать к нелепому механическому танцу уютно устроившееся на подушках беззащитное тело. Мгновение тянулось бесконечно... Возникла пауза, достаточная для всегда непостижимого и неожиданного гостя, и вот, суть иного порядка овладела душой Анны – *милосердие*.

Сара уже трижды громко звала Анну. Она с трудом добралась до комнаты прислуги. Русская сидела, легко откинувшись на подушки дивана. Свет от люстры выливался из собранных в лодочку ладоней. Женщина не дышала.

Через месяц Сара улетела по делам в Лондон.

1996 г.

Си

На вершине высокого холма могила великого пианиста – каменная октава замерла в аккорде над ущельем, тесным крутыми склонами. Тысячи сосен проживали здесь свой век, не ведая того, что в их природе есть аромат – запах невозможен без влаги, а здесь дожди бывают только в короткую зиму и тратятся скупо...

Подъехала машина – из неё вышел мужчина, а женщина только приоткрыла дверь и осталась сидеть, сосредоточенно глядя вперед.

«Иди сюда» – голос мужчины казался тусклым – «смотри, я давно хотел показать тебе это место...»

Женщина нерешительно подошла к краю площадки.

«Красиво... потрясающий вид...» – ответила и подумала, что её способность восхищаться стала компактной – ровно одна порция на предмет, независимо от его величины – будь то полевой цветок, глаза ребёнка или, вот, сосновый водопад у ног...

Она бросила камешек вниз и вдогонку сорвалась её мысль – летела, задевая уступы на обрыве, цепляясь за хвойные лапы, планируя в воздушном течении, пока не упала, подняв фонтанчик пыли, на дно высохшего ручья.

...Си лежала на доньшке чаши из грубого зеленоватого

стекла и смотрела в небо – светлое по краю и густеющее синевой в вышине. Немного саднили царапины, полученные при падении, прореха на штанине... не важно... С тех пор, как она научилась удирать таким вот чудным способом, боль от падений, что раньше терзала невыносимо, стала лишь лёгким напоминанием о прежних страданиях...

Ещё год тому назад она пыталась бы что-то объяснять ему, оставшемуся теперь – там – в недоумении... Говорить, слушать, пытаюсь понять смысл произнесенных им слов – пустых, брошенных, как игральные кости, наудачу... А потом краткая схватка на краю, и она бы сорвалась вниз, тонко вскрикнув, нелепо хватая воздух и уже не владея своим телом, и последним ощущением – бело-зелёный, пронизанный солнцем калейдоскоп и удар – глухо... так падает ворсистый теннисный мяч куда-то за черту игры... – и опять хор умолкших, было, на миг, птиц...

Си с наслаждением потянула вверх руки, улыбаясь и подбирая себе новое имя...

Анна... нет, пожалуй, слишком строго и красиво, а Лу было в прошлый раз... Лика? – мило и романтично, но так зовут одну знакомую – занято... занято чужой судьбой. Может быть, Си? Си... Си... меня зовут Си... какое необычное имя... мой отец – великий музыкант... ах! простите... он умер недавно... какая потеря... да-да... похоронен... фантастически красиво – аккорд над обрывом... Так Вы его дочь

– ах! – ну конечно, Си – как необычно...

Си поднялась, отряхивая пыль... Несколько царапин на руке да прореха на джинсах чуть выше колена – надо же, умудрилась упасть на ровном месте... ладно – ерунда... и, всё же, нужно немного успокоиться... посидеть на этой лавочке... как кстати – сквер из нескольких каштанов... Однажды – лет семи – возвращалась с одноклассницей из школы... так же цвели каштаны, и каждое соцветие было похоже на бальное платье принцессы. Спутница – Нина – девочка с тяжёлым взглядом – попросила сорвать ей цветок. Сказала: "Ты – выше..." И Си (тогда её звали иначе, но теперь это не важно) не стала возражать, но удивилась – роста они одинакового и рядом стоят на физкультуре. Си встала на цыпочки и аккуратно обломил стержень соцветия, не дёрнув и не измяв белых воланов... А тут, как раз, проходили две старшеклассницы и строго выговорили, мол, рвёшь цветы в общественном месте...

«Да, нехорошо это» – сказала Нина...

«Но ведь ты же сама... попросила...» – задохнулась обидой...

«А ты должна была мне ответить, что, мол, нет, Нина, – нельзя рвать цветы в общественном месте...» – тяжёлая походка, коричневая форма с чёрным передником, косички, скрещенные на затылке и завязанные двумя капроновыми бантиками.

А отец – великий пианист – ещё не возник тогда, а тот, что был в ту весну, как раз уехал в командировку. Он всё время был в разъездах – нашёл себе работу, чтобы поменьше бывать дома, где всегда был в чём-то виноват. Он и в самом деле был виноват, но не знал ни перед кем, ни в чём... Поэтому, если бы он и не был в командировке, и дочь рассказала бы ему о своей обиде, то он ответил бы: «Не обращай внимания» – и, может быть, даже купил бы ей мороженое, чтобы помочь перенести это самое внимание на утешительную сладость, как привык это делать сам... Мороженое тогда хранили в железных бидонах, доставая их лопаткой и накладывая горкой в хрустящий вафельный стаканчик. Пломбир стоил дороже молочного, потому что был жирнее, и считалось, что это хорошо...

Люди тогда предпочитали мечтать. При этом они думали, что «думают», но в действительности, конечно, просто мечтали – мечтали что думают. Мечтали, конечно, о счастье – потому что, «думать» приходится о жизни, а «мечтать» можно о счастье. И, как-то сама собой вышла путаница между такими разными вещами как «жизнь» и «счастье», и приходилось много лгать, чтобы как-то доказать себе и другим, что жизнь – счастье, потому что... если нет счастья... то какая же это жизнь?.. – и всё было построено на этой лжи...

И вот, когда папа вернулся с войны, и надо было ему устраивать свою жизнь, он стал мечтать о счастье и о женитьбе – счастливой, конечно... А о ребёнке он даже и не мечтал, но когда, вернувшись из командировки, застал дочь, то размечтался о том, как будет водить её в кондитерскую, когда она подрастёт. И действительно, его мечта сбылась... А всё остальное, что возникло между ними, счастьем не было... Поэтому Си могла пожаловаться разве что папе – пианисту, но к тому времени, когда она решила это сделать, он уже умер и лежал на живописном холме под высокохудожественным обелиском. И очень хорошо, что она не успела ему рассказать про свою обиду на предательницу Нину. Что бы он мог ответить ей, кроме того, что счастье – в музыке? Так он знал сам, живя в пределах своего дара, и не представляя себе, что бывает иначе...

Вот, пожалуй, трагический парадокс – в неравенстве дара... Возможно, что это и не парадокс никакой. То есть, если выйти за пределы дара – не ограничивать себя, подчиняя ему всю жизнь, то и нет никакого неравенства... Тут важно определить в какую сторону идти: если в вечность – расширяя пределы, то можно, пожалуй, приблизиться к началу того, что казалось прежде парадоксальным... А можно избежать парадокса просто не замечая дара – отказавшись от него или даже уничтожив, избавляясь таким радикальным способом от неравенства...

Вот так... или почти так думала Си (в то время её звали

иначе, но это не важно), стоя у обрыва... Она уже почти год как перестала искать папу или кого-то другого – сильного и умного, кому можно было бы пожаловаться и на Нину и на прочие несчастья. Потому что отказалась – сама – от счастья – освободилась – свободна...

...Этот её поступок, собственно, и обесцветил голос её спутника – благообразного и положительного – вылитого папу, похожего на героического фронтовика и пианиста...

*А дальше вы всё знаете: мысль сорвалась с обрыва,
а Си присела на лавочку в сквере из трёх каштанов...*

1999 г.

Автопортрет в синем

Эта история... началась с одной уборки. Я вытащила все ящики из туалетного столика и разложила их содержимое. Последним возник флакон синего стекла с золотой крышечкой. Когда-то в нём был волшебный крем – очень дорогой, нежный, прохладный, похожий на голубоватый шёлк.

Лет пять тому назад я, кажется, измучилась... Космический мусор обрушился на мою планету, и я не успевала прибираться. Множество пыльных обстоятельств мешало дышать, глаза воспалились от ядовитого марева, ползущего с экватора, и не было дождя. И тогда я отправилась в косметический магазин и, миновав дешёвые полки пахучего, большого и яркого, остановилась перед ласковой сиреневой старушкой, стоящей на хрустальном мостике. Она сделала шаг навстречу и спросила:

– Что с вами, милая?

– Видите ли, моя планета...

– Да, эта избыточная активность, поверьте на слово, к добру никогда не ведёт. – Вы думаете?

– Я знаю. Все эти вспышки энергии – не от большого ума. Конечно, солнечные протуберанцы красивы... Но, согласитесь, истинная нежность – в лунном свете: прелесть компромисса, постоянство изменчивости... Впрочем, я заболталась. Проходите... ай-ай-яй... да вы просто измучились...

можно я Вас буду называть *милая*?

– Умоляю, да...

– Так, для начала нужно поплакать... Вы давно не плакали? – Я, видите ли, сильная...

– Какое несчастье... Очень сильная?

– Да.

– Может быть, всё не так уж безнадежно, может, Вас обманули? Что Вам сказали?

– Ты – сильная, и тебе нельзя плакать.

– И Вы... действительно не плачете?

– Ещё как... однажды целых три года...

– Ну?

– Никто даже не заметил.

– Ай-яй-яй, Вы, должно быть, продолжали убирать за всеми, кормить, а свои носовые платки стирали, гладили и складывали в стопочку?

– Конечно, как же иначе...

– Да, случай действительно не простой... Вы не сердитесь, что я расспрашиваю? Ведь мне нужно подобрать Вам самый подходящий крем.

– Что Вы, меня так давно никто не расспрашивал – я и не помню...

– А что Вы помните?

– Эхо – мои слова возвращались мёртвыми, и я в страхе бежала от них.

– То-то я вижу, что Вы совсем ушли в себя. Вот, пожалуй,

Вам подойдёт: раскрывает и защищает. Сами понимаете, что эффект достижим только в сочетании – старушка протянула синий флакон с золотой крышечкой – но это очень дорого, милая, простите. Нам тут приходится, сами понимаете, тратиться. Один флакон – заметили? Он – синий? Знаете сколько это стоит – *синий*? Мы могли бы и фиолетовый, скажем, или даже вишнёвый, но, к счастью, наши клиенты платят за качество.

– Может быть, у меня не хватит?

– Что Вы, я давно не встречала такую состоятельность. Сколько Вы тогда проплакали? Три года? Убирали, кормили и платочки складывали в стопочку?

– Да.

– Вполне достаточно. Вам – флакончик, а нам – те три года. Меняемся?

– Да.

– Вот и славно. Вам повезло. Утром и вечером... Смотрите: внутри такая кисточка – можно рисовать. Доверьтесь впечатлению, но исходите – из классики. Вот, прочтите инструкцию: здесь на девяти языках... – одно и то же. Итак, завтра мы делаем солнечное затмение, скажем, процентов на восемьдесят – хватит, пожалуй, – и никто даже не заметит... В четверть третьего Вас устроит? Отлично. Так вот, ровно в два с четвертью выходите к себе во дворик, берёте шланг для полива и направляете струю на Солнце. А мы, со своей сто-

роны, тоже примем меры. Мгновение – и всё прекрасно. А потом воду закрыли, шланг на место... ну, вы знаете, не мне Вас учить прибираться... И сразу – к зеркалу, открывайте флакончик и кисточкой... Удачи, милая... Распишитесь.

– Кровью?

– Бог с Вами, впрочем... у Вас какая группа?

– Вторая, резус положительный, вены голубые...

– Так я и думала: кровь решительно не при чём. Просто распишитесь, мол, плакала в дни рождения – этого достаточно...

Солнечное затмение на этот раз лучше всего было видно в соседнем дворе – видимо, фокус рассчитывали по старой системе, а это всегда ведёт к погрешности. Кроме того, яблони в наших дворах очень похожи: хоть они и разного сорта, но по виду не отличишь – только на вкус, так что легко ввести в грех.

Но когда с неба – прямо на кусты роз – вернулась вода... Никакой мистики: просто я, как всегда, устраивала себе летний дождь. Дело в том, что волею обстоятельств, я живу в таком месте, где нет – совсем нет – летних дождей и, конечно, это не просто... и может стать первопричиной слёз. А когда я жила там, где дождей было много, то мечтала о безоблачных небесах... Летний дождь – самое простое из всего, чему я научилась. Достаточно направить шланг в небо и на покатую крышу веранды так, что вода возвращается слегка

потеплевшей прямо в поднятое к небу лицо с полуприкрытыми веками. Прикрытость – непременно условие игры: как можно иначе довериться?

Для начала я решила, всё же, рисовать в классическом стиле, чтобы хоть как-то определиться. Дело в том, что в инструкции по применению крема совсем не оказалось перевода на русский, а этот язык, к несчастью, единственный, который знаю, и это обстоятельство – вторая первопричина слёз... “Как быть” написано на английском, немецком, французском, японском, китайском, арабском, и ещё на трёх, но не на русском. Так случилось, что говорящие на русском не покупают у этой фирмы и, может быть, я – первый клиент...

Итак, мне пришлось, в начале, определиться на полотне, а потом уж заняться автопортретом. Необходимо было обозначить себя какими-нибудь общепонятными символами, не вызывающими агрессии. Раньше я тоже совершала попытки такого рода. Так, например, готовила суп из разноцветных овощей: сладкого перца – красного и жёлтого, оранжевой моркови, белой капусты, зелёного горошка, – и подавала всё это в синих тарелках. Но мои усилия съедались равнодушно, и я поняла, что из жизни невозможно создать произведение искусства, и что этот путь – тупик. Трудно признать ошибку, когда путь пройден почти до конца, и эта истина – третья первопричина слёз.

Подытожим: сухость небес, вавилонское столпотворение и запоздавшее покаяние в сочетании с солнечным затмением

создали эффект моего присутствия на презентации крема на русском языке.

Уходя в сторону, скажу, что сиреневая старушка из косметического магазина была внучатой племянницей той самой старухи, которую печально известный студент зарубил в Петербурге. В знаменитом русском романе, к сожалению, не описан случай исхода, который, на самом деле, в сюжете был. У ростовщицы была сестра – близнец, которая ещё в молодости вырвалась в Париж. Поначалу, конечно, ей пришлось работать в услужении, но затем она вышла замуж за булочника, родила ему детей, которые говорили уже на парижском, а младшая её дочка обладала тем самым шармом, который возникает, как награда за исход, уже во втором поколении. Таким образом, в этом мрачном повествовании могло быть всё не так уж и безысходно, если бы автор верил в спасительность примеров благоразумия. Парижанка посылала в Петербург на Рождество булочки, и так литературно описывала свою тоску по родине, что её сестра поверила в ностальгию, испугавшись перемен в жизни. С годами от страха в ней развилась порочная страсть к деньгам, что привело к преступлению.

* * *

С крыши ещё капало, когда я устроилась перед зеркалом и отвинтила золотую крышечку у синего флакона, полно-

го жемчужным сиянием, и ощутила прекраснейший из всех ароматов, который когда-либо давался мне в обоняние. «Боже мой, как утончён» – думала я: ”Жаль, что мой нос недостаточно совершенен, чтобы оценить его, но я верю в волшебные свойства крема”

Я прикоснулась кисточкой к лицу и ощутила нежность и силу прикосновения. “Как жаль, что я не могу разменять необычное ощущение на привычную мелочь так, чтобы пережить его последовательно – миг за мигом – растянутым во времени, а не сжатым в одно мгновение, на что я не способна...”

“Господи” – думала я – “я должна суметь ощутить бесконечное и бесчисленное... понять, ответить... Могу ли я? У меня даже нет инструкции на русском...” Испугавшись, что не сумею, я закрыла золотую крышечку, решив прежде нарисовать натюрморт простыми масляными красками на небольшом холсте – суп из пёстрых овощей в синей тарелке.

Это сложнее, чем устроить летний дождь, облив небо водой и зажмурившись навстречу. В живописи, даже на плоскости, необходимо знание множества важных вещей. Например, про льняное масло, – оно совершенно необходимо, чтобы подмешивать его на палитре, смягчая краски. Сплетничают, что художник присутствует в своём творении частично – “глазом и рукой” – но это не так. Скорее, он принесет в жертву своё ухо, нежели забудет добавить в краску льняное масло, согрешив против инструкции по применению дара.

А тут, как раз, подошел день моего рождения. А так как я не решилась воспользоваться флаконом, то сделка не вошла в силу, и я весь день провела в слезах. Но на этот раз я не тратила их зря – напротив, специально усилила сороковой симфонией с тем, чтобы наш с Моцартом суп в синей тарелке произвёл впечатление на хорошего человека и, может быть, даже на плохого.

Поднявшись вверх, замечу, что это движение – единственный способ отличить хорошее от плохого. Зло часто похоже на добро и наоборот... Всё зависит от фокуса. Так, например, прелесть восхода и заката могут ощущаться одинаково, но... далее – в продолжении ощущений – в осознании Солнца... его явлений... путей... То есть, невыносима жизнь на Васильевском острове со скверной старухой, и один исходит в Париж, а другой – напротив – остаётся со старухой навеки. Я использую слова “добро-зло”, потому что они – из инструкции по применению крема, который я купила для себя.

Это случилось лет пять тому назад – действительно, я как-то вдруг измучилась... Космический мусор обрушился на мою планету, и я не успевала убирать: груда пыльных обстоятельств мешала дышать, глаза воспалились от ядовитого марева, ползущего с экватора. К тому же, давно не было дождя. Мне нужно было решиться на перемену в жизни, и я бы уехала, пожалуй, в Париж, и даже пошла бы, на первых порах, в услужение к булочнику. Однако, мне нечем было

платить: за перемену места приходится платить временем из будущего, а у меня уже не было его, и я заплатила прошлым – тремя годами... Меня даже называли “милая” и дали в подарок дождевой зонт с эмблемой фирмы.

Признаюсь, мне не по душе убийство. И студенту этому, что старуху зарубил, не хотелось её убивать. Но ему удалось обмануть себя, а когда обман рассеялся, было уже поздно. Я привела его однажды в магазин к сиреновой старушке. Конечно, она не знала, что этот молодой человек когда-то убил её двоюродную прабабушку... Знаете, что она ему сказала?: “Простите, фирма очень сожалеет, но у нас нет подходящего для Вас крема” – должно быть, сочла несостоятельным. И подарила ему зонтик и два бесплатных билетики на гамбургеры в закуской на первом этаже.

* * *

Я нарисовала несколько натюрмортов в разном освещении: со связкой луковиц на столе и с апельсинами у керамического горшка, с мятой салфеткой и бокалом вина, в котором светился отблеск лампы. Почему-то, всем особенно нравился этот бокал – на тонкой ножке с красным вином и бликом. Эффект достигается простым касанием кисти. Куда больше мастерства понадобилось, чтобы изобразить салфетку, небрежно брошенную в углу полотна... Странно, тарелка с супом, написанная на полотне, произвела впечатление

большее, чем настоящая. Меня заметили, словно я и сама материализовалась среди нарисованных предметов. Тогда я стала описывать жизнь вещей: их дивную суть и предназначение, форму и свойства, вкус и аромат, чудную пестроту, прелесть оттенков. Наконец, овладев техникой, я решилась приступить к автопортрету. Достала синий флакон, открутила крышечку... – флакон был пуст. Я заглянула в зеркало и увидела в нём себя...

1999 г.

Любовь с собачкой

В студенческие годы была у меня знакомая по имени Любовь, которая мнила себя секс-бомбой. Весила она не менее ста кило, имела буйные сорняки на своих поверхностях, но всё это не мешало ей наслаждаться идеей своей избранности. Иллюзия эта никогда не подтверждалась воплощениями, но и не тускнела. Если молодой человек, который назначался в дежурные обожатели, не проявлял активности, то Любаша объясняла это интригами, эффектом любовного оцепенения и прочими роковыми обстоятельствами.

Многие знали о её причуде и часто потешались, подыгрывая и изображая восхищение. Считалась она дурочкой, но были и такие, что видели в ней счастливую и даже завидовали её неразменному рублю – мол, что ещё человеку нужно? – всегда сыт и пьян. Некоторые пользовались придурью, чтобы тоже попить-поесть за пару бросовых комплиментов: “Любаша, что же ты? Ведь N. по тебе сохнет – загубишь парня... Да, трёшки не найдётся занять?” – девичьи глаза в траурной рамочке наливались поволокой и Любаша платила. В остальном она была вполне среднестатистична.

Было нечто, неприятно трогавшее меня в этом знакомстве, что со временем проявилось в памяти отчётливей... У Любаша часто собирались компании. В её квартире было две комнаты, и все чувствовали себя там как-то даже не непри-

нуждённо, а... безответственно, словно всё, что происходит в присутствии хозяйки – как-то не взаправду, а понарошку – за всё заплачено неразменным рублём, и если сигарета случайно упала на ковёр, то можно не обращать внимания... как-то само собой потушится и уберётся. На вечеринках у Любаши была атмосфера... бессильного буйства, как будто всех покидали сдерживающие силы, но вместе с ними терялось ещё что-то, без чего было как-то пусто... Шуток, смеха и объятий становилось всё больше, а радости – меньше... Густела тема о Любви – покорительнице мужчин, компания прокисала в утробном веселье, а хозяйка наполнилась торжеством: царила и властвовала.

Однажды я узнала, что у неё есть родители, похожие на сиамских близнецов. Пару раз я замечала их крадущуюся в подъезде тень, а однажды зайдя к Любе за учебником, увидела одинаково тревожно-просительные лица, выглядывающие из двери кухни. “Это ко мне” – незнакомым жёстким голосом сказала Люба, и двуглавое пятно метнулось и скрылось.

Люба была единственным поздним ребёнком, стремительно переросшим папу с мамой, которые не смогли осознать, что с ними случилось, как не может узнать лесная пичуга в своём гнезде кукушечье яйцо. Им не по силам было понять, хорошо это или плохо, что из их тоски и одиночества, из желания быть “как все” возникла та, которая властно заполнила собой пустоту жизни, и которую они назвали

Любовью.

“Ко мне придут” – говорила Люба, и это значило, что они должны приготовить всё, что велено, и идти гулять, но не в свой двор, где их могли увидеть, а в соседний, где в дождь можно было укрыться в песочнице под грибком, а в холод и ветер – в подъезде у батареи.

Прошли годы, родители исчезли на кладбище, замуж Любаша не вышла, и детей у неё не было, но были какие-то хронические романы, о которых она, взволнованно дыша, рассказывала в случайных встречах, и были “новости о Любви”, как называли любашины романы старые знакомые – повзрослевшие, разбежавшиеся по своим каруселям. Теперь каждый платил уже за себя, и, казалось, несоразмерно большую цену, чем стоило катание на обшарпанной лошадке, словно в стоимость билетика вплетались какие-то трудноисчисляемые проценты – ни одной счастливой судьбы...

Любаша содержала каких-то придонных жителей. Каждый ролик её иллюзиона оканчивался скандалом с победой прописных истин – прописанного на жилплощади добра над непрописанным злом – и торжеством Любви. Как-то выходило, что всякий раз Любаша отдавалась страстям в казённых рамках, сохраняющих её имущество. Исключением был белый шпиц, у которого все документы содержались в идеальном порядке, как и у самой хозяйки, и с которым она неизменно прогуливалась по улице, как по набережной Ялты.

1998 г.

Трио

Слова, слова, слова...

В. Шекспир

"Можно было бы устроить пикник" – голос Евы прозвучал на одной ноте, словно она этой фразой настраивала его для совсем других слов, и затем немного ниже: "у меня есть банка ананасов и черный хлеб..."

"Ночью... в пустыне..." – Абрам повернул руль, вписываясь в виток серпантина: "я не ем ананасов, Ева, ты же знаешь..." – огромный мотылек ударился о стекло, брызнула струйка воды, и заработали дворники – "... ты же знаешь, какой я скучный тип..."

"Мы были для этого мотылька роком..."

"К счастью, не наоборот... Как тебе понравился городок?"

"Трудно поверить... похож на летающий остров... мне даже показалось, что кусты его изгороди зеленые только изнутри, а снаружи они – рыжие, как и вся пустыня... Должно быть, когда городок взлетает, остается влажное пятно от просочившихся фонтанов, но через четверть часа и оно высыхает – след простыл... представляешь, что было бы с нами, если бы мы столкнулись с летающим городом – там, за поворотом..."

"Надеюсь, у них отличные дворники... Ева, нам ехать еще

больше часа, а ты в меланхолии, словно мы уже в постели..."

"Говорят, городку лет тридцать, а тому, что неподалеку – крепостной стеной – тридцать веков..."

"Три тысячи лет... Знаешь, Ева, у меня странное чувство узнавания этих мест... словно я уже был здесь..."

Машина обогнула невидимую половину холма и понеслась вдоль его освещенной луной половины. Луна была в ущербе, и тени казались черней своих предметов.

"И я узнала... черные тени, рыжие предметы, отличные от всех оттенков черного и рыжего, словно цвета застыли то ли в атаке, то ли в панике... или инерции... как нечистая сила, застигнутая петушиным криком..."

"Ева, мне не по себе... я за рулем, ночь, пустыня, а ты меня пугаешь безумными метафорами... вместо того, чтобы развлекать..."

"Пожалуй, ты определил формулу наших отношений – и теперь... и тогда..."

"Тогда?"

"Ну да. Ты всегда за рулем, а я всегда пугаю тебя вместо того чтобы что? Знаешь, мне кажется, что я – некий цвет за пределами твоей способности видеть, и ты пытаешься подмешивать меня в свою палитру по мере надобности. Вот, недостает тебе зеленого, и ты меня подмешиваешь с зелеными, красного – с красными, но выходит всегда немного не то, чего ты желал, потому что я не зеленая краска и не красная, и не любая иная из тех, что различимы тобой в твоей радуге".

Помолчали, взглядываясь в треугольник мира, освещенный фарами машины. В дальнем свете он казался однообразным холмистым пространством, но в ближнем в нем все время что-то происходило: мелькали всплески чьих-то жизней, и воображение дополняло их до образов, хранимых в памяти:

"Вот, ты заметила, мелькнул хвост... лиса, должно быть... или шакал..."

"Да нет, это была ведьма на метле, лилипутка..."

"Ах, Ева..."

"Я развлекла тебя?"

"Да, я даже согласен съесть твои ананасы... вот, только дома за столом..."

"Ну да, и ты, Абрам, назовешь этот ужин "пикник в пустыне". А потом пройдут годы, ты забудешь, что было на самом деле, и останется в памяти образ: пустыня, Ева, ананасы, шакал на обочине – всё будет упаковано в то, что ты называешь компромиссом "искусства жизни"..."

"Да, но сесть за руль ты не хочешь..."

"Нет, милый, тогда рухнет наш тандем, а ему уже тридцать веков... Абрам, наш петух, похоже, пропел... мы запутались и... застыли то ли в атаке, то ли панике... или инерции...»

"Ты помнишь?"

"Ну да... Дом родителей стоял в низине, и в погребке было сыро даже на исходе лета. Они были несчастливы самыми безнадежными ущербами, ну знаешь, когда женщина краси-

ва, глупа и агрессивна, а мужчина мнителен, слабоволен и порядочен. Меня зачали в их первую (и последнюю) брачную ночь. Это была даже не дуэль, а... несчастный случай, как с давешним мотыльком: он лишил ее женственности, а она его – мужественности, и всю оставшуюся жизнь они судились друг с другом – чей ущерб больше... А так как в их доле, отрезанной крепостными стенами от пустыни, никто ничего не знал, то я стала джокером в их судьбах: свидетелем, прокурором, адвокатом, алиби, жертвой и палачом... Они разменивали на меня свои судьбы, пока не исчерпали свои жизни до донышка и не умерли от тоски... А я... получила в наследство смирение – губительную привычку зависеть от чужих... – быть не в себе..."

"Но ты выглядела совсем не несчастной. Ты была... Ева, ты была ужасно смешливой – до неприличия... Ну да, помню, я был потрясен, как на твоём лице дрожали блики, словно в воде... и мне хотелось, чтобы никто кроме меня не видел их..."

"Тебе удалось, Абрам, ты нашел приличный для тебя компромисс – я стала отражать тебя одного..."

"Ну, знаешь, Ева, все это метафоры, а жизнь есть жизнь и надо следить за дорогой, или..."

"Или дворники?"

"Вот именно, а ты что сделала? Я уже почти готов был перестроить наш погреб, начал отводить воду, на городском обеде мне уже достался бараний глаз, ты понимаешь, чего

это мне стоило, а ты? Бросила семью, детей и сбежала с этим фатом, коммивояжером, соблазнилась бутылкой шампуня... Я готов был простить тебя, Ева, но ты же никого не слышишь кроме себя. Мое великодушие... Чего ты добилаешься?"

"Я вымыла волосы... Я прежде даже не знала, что волосы мои не рыжие, как пустыня... поверь, возник удивительный, ни на что не похожий цвет, и потом такая мягкость и чистота... нежность... влага испарялась, и я чувствовала, что весь мир вокруг моей головы смягчался и даже солнце бледнело. Я видела, Абрам, как его лучи преломлялись, чтобы не обжечь меня... мир признавал мое присутствие... это было счастье..."

"Скажи, мне, Ева, только одно, прошу тебя, скажи теперь, от кого был тот ребенок?"

"Зачем тебе? Ведь он умер..."

"Мне важно. Я хочу знать, Ева, я имею право. Я твой муж".

"Милый, прошло три тысячи лет... я не знаю... правда. Ведь я умерла тогда под забором..."

"Вот он, Ева, твой компромисс..."

"...Ну да, что мне оставалось, когда этот тип выгнал меня. Да, я была на сносях, но ребенок-то не родился... Кто же знает теперь, кто его отец..."

"Женщина всегда знает".

"Выдумка мужчин. Вы нуждаетесь в восполнении своих ущербов. Для мужчины, женщина должна знать все, чего не

знает он сам... И главное знание, которое он ищет в ней, это подтверждение собственной мужественности... Что тебе теперь до этого ребенка, который даже не родился три тысячи лет тому назад..."

Помолчали, смотав два витка светлого серпантина.

"А что хотят знать женщины, Ева, что хочешь знать ты?"

"Все. Или, хотя бы, цвет своих волос... Я ведь не только твое отражение, Абрам, не только подтверждение твоей мужественности, не только чье-то алиби... не восполнение чужих ущербов... Я есть и сама по себе – поняла это, когда преломились лучи солнца, и возник этот цвет – восьмой, кажется, в радуге... жаль, что ты не видишь, Абрам, но он теперь есть вечно... данность мира, понимаешь? Подтверждение моего присутствия..."

"Восьмой цвет? Ты уверена?"

"Нет".

"Ну, слава богу, значит, у нас еще есть шанс доехать домой".

"Увы, ни в чем не уверена, Абрам, вот в чем сложность... не на что опереться. Вот, например, этот город... я совсем не уверена, что он остался там – в прошлом, а не ждет нас за поворотом..."

"С дворниками?"...

"...Ни в чем не уверена. Знаю теперь меньше, чем тысячи лет тому назад, когда жила в случайных отражениях – бесчисленных образах впечатлений о себе – возникала рыжей

лисицей, лунным зайчиком, ведьмой..."

"И я ничего не знаю, Ева..."

"Как жаль, ведь ты за рулем..."

"Ну да, я выучил правила приличий и, вот, даже удостоился бараньего глаза, Ева, а ты видеть не хочешь... меня... Зачем тогда все это? Лучше умереть под забором..."

"Постой, скоро приедем, я приготовлю тебе ужин. Включим лампу..."

"Ближнего света..."

"Ну да, под оранжевым абажуром".

"Ты вымоешь голову яблочным шампунем..."

"Абрам, там впереди..."

"Только этого не хватало..."

Впереди на обочине стояла машина и рядом человек в позе подчинения. Абрам сдал назад вопреки внутреннему голосу, зовущему рвануть вперед. Слабой гнилушкой мелькнуло доверие к незнакомцу, мол, занят он здесь собой и не станет приставать к путникам, но незнакомец безнадежно сорвал с себя прекрасный лик печали и засеменял, затаптывая тени, в отвратительно радостном возбуждении. Абрам подумал как, должно быть, и Господу Богу тошно взирать на обращенные к нему с обочины лица, обезображенные бессмысленной надеждой и верой...

Луна вошла в свой самый ущербный миг и отразила свет фар случайной машины, застрявшей в роковом треугольнике... а все, кто не спал в эту пору, продолжали верить, что

свет – белого цвета... Ева набросила на плечи шаль и поднялась в прохладу пустыни. Лицо Дана обратилось к ней и приняло нормальное человеческое выражение – ему стало грустно, что эта женщина, возникшая так просто, словно она вышла на крылечко погладить собаку, сейчас исчезнет, как и тогда... когда он нашел ее мертвой под забором... И он так никогда и не узнает, был ли это его ребенок...

Дан провел вечер у старика, разрушительной энергии которого хватило бы на то, чтобы уничтожить всю пустыню, но обстоятельства позволили ему построить только один городок, и Дану не показалось мало... В редакции его предупредили, что старик не в меру болтлив, но чтобы так... Он цеплялся за микрофон, ни за что не хотел прекращать интервью и, должно быть, подсыпал свою страсть и в мотор его старенького «Форда» – так, что тот заглох... Черт бы побрал всех агрессивных романтиков с их разбитыми от дурацких молитв лбами... Но городок построил... – нормальный человек не сумел бы...

Старик громыхал посудинами слов, заваривая хмельное зелье из припасенных на черный день эмоций, пьянея все более и более: "Пустыня была, как чертова задница"... когда они стояли на вершине холма – трое хилых и экзальтированных от усталости и недоедания юношей... страстно мечтая о городе – своем городе с фонтанами, тенистыми скверами и павильонами с ледяной газировкой – совсем как там – на проклявшей и изгнавшей их родине... – каждый из них го-

тов был вырвать свое сердце ради этого города... И вот, теперь... он остался один... торговцы пьют газировку прямо из его жил... Старик страшно кричал, что отдал бы и теперь свое сердце, только бы разрушить Город-предатель и выгнать вон... из Его Храма... всех... прочь...

Дан вяло соображал, что пора сменить профессию, пока его равнодушие к словам не стало фатальным, и не возник необратимый процесс отторжения любых культурных форм... Он думал, что можно для начала пойти коммивояжером... и вообще, всерьез поискать женщину...

"Заглох?"

"Заглох".

Абрам постучал носком ботинка по шине и посмотрел мимо: "Могу подвезти".

"Не стоит".

Компромисс был исчерпан, но Ева добавила капельку участия:

"Хотите, мы оставим Вам банку ананасов и черный хлеб".

"Спасибо, не стоит, простите за беспокойство".

"Ничего, сожалею".

Капелька участия оказалась последней, и содержимое компромисса пролилось через край формы прямо на зажигающие абрамова «Пежо», погасив его фары и луну, которая, кто следит за событиями этой ночи, отражала именно их свет. Наступил необратимый ущерб, когда слова теряют смысл, и время с пространством едва различимы в далеком свете эго-

истичных звезд, светящихся равнодушно – сами по себе...

В наступившей темноте чиркнула спичка, и луна на мгновение отозвалась уютным оранжевым бликом, осветившим волосы женщины, замершей на вершине жесткого треугольника, кажущегося «роковым» для тех, у кого нет иных точек опоры, более пригодных для перевертывания своих земных миров...

Дан подошел к Еве, взял ее за руку и сказал: "Пойдем, здесь недалеко, а то у Абрама, похоже, заглох мотор..." и Ева, мельком оглянувшись, сделала пару нерешительных шагов следом... Абрам закурил сигарету: "Ева, ты уходишь под забор? Учти, скоро эта ночь пройдет и станет светло – ты знаешь, как бывает светло в полдень в пустыне..."

"Да" – продолжил Дан: "похоже, что это единственное знание, которое ты подарил ей, приятель... Ева, только что твои волосы вспыхнули удивительным светом... немного оранжевым, уютным, теплым... неповторимая прелесть... кажется восьмой цвет... в радуге. Думаю, в полдень он будет соперничать с солнцем..."

"Ты уверен, Дан?"

"Конечно, милая".

Абрам, а ты?"

"Не знаю, Ева, сомневаюсь – просто есть порядок: семь цветов в радуге... Садись в машину и поедem домой..."

Ева вернулась и замерла, вглядываясь в ночь. Глаза привыкли к рассеяно-серебристому миру, освещенному только

звездами и огоньком сигареты.

"Не знаю..." – голос Евы звучал на одной ноте, словно она настраивала его для совсем иных слов: "у меня чувство... несвободы... от чувств... нет опоры... в мире... для меня... для моего ребенка... Я отказалась тогда – от себя – потому что не хотела привести в мир, где нет места для меня самой... своего ребенка".

"Вот" – сказал Дан: "Я не выгонял ее – она сама ушла... Чего тебе не хватало?"

"Опоры... Я больше не могла быть – не в себе – ... боялась потеряться еще более – разорвать себя, умножив ущерб..."

"Могла остаться..."

"Могла вернуться..."

"Откуда... куда? Что происходит со мной? Иду за тем, у кого меньше сомнений... абсурд..." Ева нерешительно шагнула, оступилась, потеряв равновесие, и исчезла, пропав на обочине... – растворилась в своей тени... – так всегда бывает с теми, кто уходит в беспредельность своего одиночества...

Конец.

Вернее, пауза, которую заполняет собой небесное тело под названием Луна – идеал компромисса, бездушно отражающий все божьи искры... в мире, не терпящем пустоты.

Машина обогнула невидимую половину холма и понеслась вдоль его освещенной половины. Луна была в ущербе, и тени казались черней своих предметов. Дорога уводила на холм, и пустыня с высоты казалась похожей на контурную

карту. На вершине холма, мерцая огоньками, ждал городок.

"Ева, мы почти приехали...»

"Невероятно, городок похож на летающий остров – сам по себе, словно опустился с неба..."

"Знаешь, у меня такое чувство, словно я уже был здесь: пустыня, ночь, луна в ущербе, ты, Ева...»

"Можно устроить пикник..."

1999 г.

Кибитка

Было это в конце советской власти в маленьком приморском посёлке, фантастически красивом даже в запустелых восьмидесятых. В курортных городах оседали все нормальные отдыхающие, а сюда приходилось идти пешком много километров, и потому добирались самые отчаянные из “диких” – так назывались граждане, отдыхающие без “путёвок” в “дома отдыха”. Местные жители сдавали им свои “углы”, то есть, части комнат. Однажды, на одной из веранд неказистого деревянного домика, очутились люди, согласные терпеть убогий быт ради уединенных свиданий с морем – вдали от общественных пляжей. Маленькая заповедная бухта пряталась между лапами горы – черепахи. Там была нежная, тёплая галька, малахитовый плеск и светящийся воздух.

Наташа была столичной учёной дамой и приехала с восемнадцатилетним сыном, похожим на ухоженного дога. На веранде, напоминающей лабиринт, им досталась единственная кровать в нише, криво занавешенной простынёй в петухах.

Отвращение к столичному снобизму привело на веранду и доктора математики с крупными жёлтыми зубами и унылым племянником. Им и двум робким провинциалкам – маме и дочке – выпали общие места.

Хозяйку местные-посёлочные не любили за то, что она,

отовариваясь в точке питания как мать одиночка, снабжалась и от любовников. Знали, что у неё два холодильника. Один стоял в ванной и там же, прямо на плиточном полу – единственном квадратном метре твёрдой поверхности, свободном от барахла – она кромсала мясо большим тупым ножом и несла его к плите, капая кровью на голый живот. Ходила она всегда в купальнике – маленькая, очень женственная, гордая, полубезумная, рыжая...

У неё был сын – ненавидящий и презирающий весь мир подросток, и две дочки – темноволосые, худенькие, похожие на эльфов. Девочки проводили дни на пляже, скользя по колену в прибое и отражая глазами мир, а ночью спали на веранде – где придётся, свивая себе гнёзда из куч платьев, белья и безделушек, которые всегда валялись на полу, как опавшая листва.

Хозяйка часами сидела у перил веранды с таинственно-порочной полуулыбкой, глядя в одну точку, и тогда жильцы отдыхали, прихорашивая свои ночлежки. Иногда ею овладевали взрывы активности, и она шла, как экскаватор, по периметру веранды, двигая выпадающей из лифчика грудью растущий ком своего хлама. Все в панике разбегались и, возвращаясь, обнаруживали перемены в топографии, словно после вулканической деятельности. Где-то вспучивало раскладушку заткнутым под неё старым матрасом, в другом месте образовывалась воронка – там, где раньше стоял сундук – и только хаос оставался неизменным. Математик добродуш-

но скалил жёлтые зубы, Наташа поднимала бровь, словно дегустировала пикантный сыр, провинциалки тихо шуршали собранными на берегу камушками и ели печенье «Шахматное» – единственное, что можно было свободно купить в местном ларьке. Их раскладушки блуждали между более устойчивыми «углами» соседей, и те перебрасывались поверх их голов загадочными фразами, где часто упоминалось слово «система».

Провинциалку звали Олей. Жила она словно в полусне. Казалось, ею двигали неясные отрицания, из которых, она, отвергая – одно за другим – обстоятельства своей жизни, складывала свой путь. После восьми классов Оля ушла от родителей, перебивалась кое-как, снимая скверную комнату у слепой старухи. Беременная – отказалась от замужества... И на веранду она с дочкой попала, ведомая неясными побуждениями. Стремясь к прекрасному и неведомому Морю, Оля и девочка оказались на автобусном вокзале, пропахшем жареными пирожками и бензином... Взяв сумку с двух сторон за ручки, они долго шли по спускающейся к синему горизонту улице к лежбищу, укрытому голыми телами... Растерянно пробрались к краю пляжа – бетонной ступеньке, о которую в мутном прибое бились яблочные огрызки. Девочка подняла глаза на маму и та торопливо солгала: “Это ещё не море” – сказала, стараясь сдержать отчаяние: “Скоро уже, пойдём”. И они пошли вдоль отрицания – вдоль *неморя*, и поздно ве-

чером, случайно, не зная о существовании заповедной бухты, оказались на её берегу. “Вот – море” – сказала Оля, и они легли на хвойную подушку и уснули в густеющем малахите.

Оле нравилась веранда, её обитатели и призрачная жизнь, созвучная неясному, но властному ритму её мира. Ей казалось, что Черепашья бухта – её настоящий дом, а прежняя жизнь – нелепость. Она уплывала к горизонту, прикрывая веки так, чтобы не видеть неба – только море, и ей казалось, что она в саду, полном солнечных бликов, зелёной прохлады, сумерек. Голос дочери заставлял очнуться, Оля оглядывалась на её далёкую замершую фигурку и, возвращаясь, успокаивала дочь, обещая больше не заплывать так далеко, а девочка ревновала её к морю и боялась его...

Наташа была доктором медицины и последнее время с горечью осознавала, что, подобно тёмной бабе-ворожихе, колдовала над судьбой, слепо сгубив свою жизнь.

Рабоче-крестьянские предки дали ей в наследство основательность, хватку, титул гегемона и тоску по голубой крови и самодержавию. Юность она провела среди золотой молодёжи, которую потом называли “шестидесятники”. Дитя это было, увы, скорее, не первенцем свободы, как хотелось думать, а нежизнеспособным последышем, зачатым на сталинских поминках. Наташа жила в двойственном осознании происходящего с ней. Ей льстила принадлежность к «избранным», волновали восхищение и зависть непосвященных, нравилось

играть королеву, участвовать в почти настоящих интригах. Но она была слишком умна, чтобы не видеть убожества реальных отношений.

Однажды, после очередной тайной вечеринки, проснулась в одной постели с полужнакомым типом, в комнате общежития, где спали и другие парочки из их компании. Пыталась понять, как оказалась здесь – складывала объяснение, словно детские кубики, и вышло, что по *принятому у них порядку*, и если бы она не подчинилась ему, то была бы изгнана и наказана – ей бы отомстили, пустив по следу сплетни и подлости.

Наташа испытала неведомую прежде ярость и, сделав разворот на полном ходу, атаковала первой, явившись на *их* вечеринку с той страшной улыбкой, что возникает, когда душу сжигает ненависть. Она объявила на безупречном сленге, что уничтожит каждого, кто посмеет произнести её имя – ладная крепкая фигура, тяжёлые чёрные волосы, собранные в “конский хвост”, зеленоватое сияние небольших глаз – не посмели.

Наташа прокляла советскую тусовку и приняла тайное посвящение. Она поверила в свою миссию – царицы-матери в изгнании. Всё сходилось: она была настоящей живой женщиной в царстве мертвых – плоть от плоти осиротевшего народа и единственной, кто осознавал происходящее: случился неосязаемый потоп, и осталась только она, и только она может спасти Россию. Все избранники – красные и белые –

убогие сектанты, мелкие грызуны, выживающие в стаях, а русскому народу нужен был монарх божьей милостью – её сын от Рюриков.

Наташа стремительно делала карьеру: выгодное замужество, кафедра, диссертация. Затем окунулась в родословные – её влиятельный любовник имел доступ к генеалогиям. Возникло три претендента в доноры: крупный чиновник, драматический актёр и сибиряк без телефона. Наташа ненавидела чиновников и презирала актёров, сибиряк представлялся ей пьющим. Проведя полночь у зеркала со свечами, она утром улетела в командировку в Омск.

Избранник жил с замужней дочерью. Пил только зять. Наташа сослалась на путаное предположение и назначила свидание в гостинице. Его действительно звали Александром Романовым. Родители погибли в тридцатых, детдом, БАМ, вечерний технологический в Омске, случайный брак. Русоволосый, серые мягкие глаза, красивые руки; Наташа молилась...

Потом вернулась в Москву, развелась с мужем и перешла в режим “автопилота” – её карьера вошла в штиль, где в ближайшие пару десятков лет не должно было быть неожиданных ветров и течений. Наследника назвала Николаем.

Наташа страстно отдалась сотворению мира, созвучного её высокой миссии. Она отвергала всё, что, как казалось ей, прорастало из плоти советского режима, восполняя собой всё недостающее для достойной жизни, какой она себе её

представляла: уединение, простота, комфорт, спорт, языки, литература, музыка, живопись. Утром она пила кофе, раскладывала пасьянс, и Николай был убеждён, что все её дни складываются из таких же неспешных церемоний. Её настоящая жизнь была от него скрыта. И долгие годы Наташа радовалась своей изобретательности и силе, с которой ей удалось держать над сыном небесный свод, как зонтик в непогоду.

Отношения у них были близкие и непринуждённые. Парень был похож на мать, только, пожалуй, мягче – либеральней – говорила Наташа. Они могли бесконечно говорить о литературе, живописи и были схожи во вкусах. Друзей у него не было и не было врагов – Наташу боялись.

Николаю было шестнадцать лет, когда случилось ужасное. У них был единственно близкий человек – Леночка – одинокая учительница рисования, которая с детства давала Коле уроки. И вот, в тридцать шесть лет с ней случилось чудо разделённой любви. Леночка вышла замуж за превосходного человека, а на случайный лотерейный билет молодые выиграли машину и уехали в свадебное путешествие. Чудо происходило на глазах у Коли, и он казался растроганным... А потом случилась трагедия: в первый же день путешествия молодые разбились. Позвонили из больницы по номеру телефона из Лениной записной книжки и сказали, что женщина ещё жива, а её спутник погиб. Ответил Николай – он что-то читал и кратко поблагодарил за сообщение. Наташа пришла

через полчаса. А ещё через час позвонили, что Лена умерла.

«Ах да, я забыл тебе передать» – Николай покаянно пожал плечами, улыбнулся, спросил обычное: «У тебя всё нормально?» Наташа тяжело села на стул, странно свесив руки, молча просидела час. Не ответила на вопрос об ужине. Ночью ей приснился голый младенец, вмёрзший в продукты морозильной камеры. Утром увидела в волосах седую прядь.

С тех пор их жизнь превратилась в ад. Наташа разрушала своё творение с такой же страстью, с какой прежде создавала. Её царевич обернулся дьяволом. Она любила его и ненавидела – пыталась увидеть в нём человека – человеческую душу – и не могла. Сын был заживо погребён в саркофаг, созданный её усилиями. Она пыталась выманить его словами, вышибить пощёчинами – он вёл себя с царственной невозмутимостью...

«Посмотри вокруг!» – кричала она: «Увидь мир... меня! Ты видишь меня? Ты увидишь меня, если я сейчас проткну ножом своё сердце?!» – сын молча ждал, когда прекратится её истерика.

Однажды Наташа привела Николая на городской рынок. Он шёл за ней с мученической улыбкой, нёс сумку, в которую она положила помидоры и персики. А потом сказал: «Всё, довольно, я устал» – и лёг прямо между рядами на грязный асфальт. Он стал нервным – боялся, что мать исчезнет, и мироздание, которое она отказывалась держать теперь, рухнет и придавит его – стал груб и ревнив, следил за ней.

Этой осенью его должны были забрать в армию, что означало верную гибель.

Жизнь на веранде неожиданным образом показалась вновь обретённым раем. Наташе и Николаю чудилось, что они едут в кибитке бродячего цирка. Пёстрые тряпки, странные маски, театрально красивые закаты, малахит бухты, янтарь луны... В одну из ночей сын остался в комнате хозяйки, и Наташа усилием сдержала желание стать сторожем у двери...

Николай презирал математика за рассудительность, меланхолический оптимизм и жёлтые зубы, но подружился с девочками-эльфами и провинциалками. Дружба была странной – устраивались неподалёку друг от друга, словно воробы на ветках, и молчали. Иногда Николай читал стихи.

Однажды заболела Олина дочка. Она всегда бредила, стоило немного подняться температуре, и Олю очень пугали её бессвязные монологи – обычно девочка была тихой, молчаливой, и напряжённый голос, резкие движения казались чужими и очень страшными. Оля стояла на коленях перед раскладушкой и дрожала, пытаясь укрыть дочь собой, виновато улыбалась, стыдясь исходящего от них беспокойства...

Наташа видела, как Николай подошёл и молча укутал Олю в свой свитер, а затем положил девочке на лоб руку и сказал сильно, спокойно: «Сейчас ты уснёшь, будешь спать, проснёшься здоровой и никогда больше не будешь бредить».

Девочка затихла и уснула. Оля застыла в благодарности, молилась одними глазами. Наташа видела, что сын бледен, с влажным от испарины лбом и тенью у потемневших глаз...

Олина девочка больше никогда не бредила.

Элегия

Однажды я заблудилась в большом странном городе. Не помню, как попала туда, но всё было мне незнакомо и непонятен язык, на котором говорили люди. Очень хотелось пить, я была голодна и устала, но всё в этом городе было мне чужим и безразличным. Я бесцельно шла по улицам и казалась себе невидимкой. Уличные торговцы продавали еду и питьё, но я не умела купить... В узком, похожем на коридор переулке, на выступе глухой стены лежало нечто, похоже, съедобное, но я, остановившись на мгновение, пошла дальше, не взяв.

Я пыталась вспомнить, как попала сюда и что было прежде – и не могла. Свои мысли я слышала на языке, который не связывался с предметами окружающего меня мира. Я не могла отразить на нём картинку, которую видела – не могла сказать себе о еде «хлеб». Голос моего сознания звучал по иным законам и был не совместим с этим городом.

Прежде я никогда не задумывалась о связи Большого мира с собой – своей внутренней жизнью... – с тем, как собираю в себе всё происходящее, как зависима от звучащего во мне монолога. Вот, не сумела сказать «хлеб» – не сумела воспроизвести в слове то, в чём жизненно нуждалась... и прошла мимо, словно не видела еды и не была голодна... Я не сумела обозначить данность символом, совместимым с мо-

им сознанием, и реальность осталась за гранью моей жизни, а я теряла силы от голода и жажды.

На площади собралась толпа и там совершалось действие, видимо, в некоем ритме, потому что угадывалась закономерность, неведомая мне... Для меня происходящее там объединялось стремлением усилить хаос. Это было похоже на строительство песочного замка, но в обратной последовательности, когда каждое движение отнимает горсть песка – разрушает первоначальный замысел, смысл которого не определялся в образах, хранимых в моей памяти. Это был *незамок, некорабль, недом, нехлеб*... И сам город был – *негород*. Казалось, он существовал в отражении моих глаз, но его подробности были не определены из-за незнания мною слов и потому ощущались миражом.

Действие на площади достигло своего апогея – становилось всё невыразительней: люди вяло шевелили пальцами, что-то бубнили, сонно моргали, затихали понемногу, ложились, засыпали, и площадь, казалось, пустела... У меня кружилась голова, но страха не было – моё одиночество было таким полным – совершенным – что, видимо, даже чувства скользили по его идеальной сфере...

Почти теряя сознание от усталости и слабости, я забрела в место, которое ощутила как тенистый дворик с маленьким фонтанчиком у стены. Кажется, я долго пила слабые капли.

Рядом стояла усыпанная старой листвой скамейка. В изнеможении я опустилась на неё, и последний всплеск сознания стал сном о Бахчисарайском фонтане...

Когда я проснулась, в светлеющем небе растворялись звёзды. «Бахчисарайский фонтан» – вспомнила – «дворик, скамейка, вода...» Мне показалось, что я уже не одна, узнавала каменные ладони – я пила из них вчера перед сном, сумев утолить свою жажду, и теперь фонтан связывал меня с этим, уже не чужим мне, городом.

Я встала со скамейки и увидела, как смятую рыжую листву покинула фигура женщины, скамейка опустела, словно я разбрасывала себя горстями, пока не возникло дно из обнажённых деревянных рёбер с облупившейся краской.

Город возникал из небытия – проявлялся усыпанной старыми листьями скамейкой, фонтаном и словами, чудесно произнесёнными однажды и ставшими для меня теперь возможностью жить. Двор зарос кустами сирени, и она цвела теперь, рассыпалась передо мной тяжёлыми букетами и томным ароматом...

Я вышла на улицу, пройдя под круглой аркой, и остановила проезжавшую пролётку. Город ещё не проснулся. Дворники мели тротуары. По каменным лицам домов струились скупые слёзы – переливались по чашам балконов и пропадали в подземной реке. Пахло сиренью.

Я остановилась у кондитерской и толкнула звякнувшую

дверь. Сонная хозяйка принесла мне булочку и горячий шоколад. На скатерти в светло-сизую клетку стоял кувшинчик с тюльпаном, пахнущим сиренью. Шоколад был густым, очень сладким, но вкус у него был кофе и, прикрыв глаза, я пыталась понять тайну этой чашки.

"Простите, как называется этот город?" – спросила я хозяйку.

"Сейчас семь утра... обычно мы открываем немного позже, – улыбнулась она. – Ещё булочку?"

Мне стало тревожно. Я уже не была голодна и одинока: город отзывался – я пила из его чашки. Что происходило между нами? Я не владела здесь ничем – даже его именем, запахами и вкусом. Вчера, в идеальной одинокости, я была голодна, но спокойна. Я понимала, что потерялась в Мире, и мысль, даже такая грустная... спасала меня – я отвечала себе, и моё одиночество не было абсолютным. А потом мысль устала, и вырвались видения: Бахчисарайский фонтан, "поэтические грёзы", запах сирени, которая цвела – когда-то – на весенних каникулах в Бахчисарае...

Когда тюльпан пахнет сиренью и шоколад – кофе, а ты пьёшь, потому что иначе не можешь жить, то с каждым глотком в душе растёт страх. И, выходя из кондитерской, уже не знаешь, пролётка ли ждёт у двери или электричка подземки; помнишь только, что уносит куда-то и лучше забыться. Это, словно, если бы рука, что ещё мгновение тому назад держа-

лась за скобу от люка космического корабля, соскользнула случайно – вот он – в дюйме от напряжённых пальцев... нужно зацепиться... за... за скобу? Корабль?... Землю? Космос? Жизнь? Не всё ли равно теперь...

Я пила шоколад со вкусом кофе и боялась жизни... Я не знала, что вырвут из моей забытой памяти несколько глотков неосознаваемой жизни, не знала, какое воплощение примет кофейный запах за дверью кондитерской, но я... уже не могла... – не хотела признать призрачность города – отказаться от спасительной иллюзии: мирного часа за столиком со светло-сизой скатертью и тюльпаном в кувшинчике, от воды из фонтана и уединённой скамейке в сиреневом раю.

К моему столику подошёл брат. Он заказал что-то, как всегда, сложное и обильное, и принялся рассказывать, с удовольствием жуя, бесконечные подробности сюжетов... В его монолог вплетались хохот, автомобильные гудки, раздражённые голоса и сам он, казалось, мерцал, как экран...

Брату принесли блюдо с мороженым.

“Скажи, как называется этот город?” – спросила я.

“Попробуй ореховый пломбир» – сказал брат.

“Прости, мне пора...”

“Ты всегда ведёшь себя...” – слова замерли за спиной; я боялась дослушать, – боялась, что мираж брата окажется сильнее моих и ждущее меня за дверью обернётся испанским сапогом.

Вдоль улицы стояли серые дома с балконами, завешенными линялыми детскими колготками. Прополз накренившийся на бок троллейбус с торчащей из двери половинкой хлебного батона, пахло бензином, пирожками и серыми влажными тряпками.

"Простите, как пройти?" – спросила я у проходящей с тяжёлыми сумками женщины.

"Дальше..." – ответила она.

Я прошла до конца квартала: "Сейчас будет переулок, где в подвальчике обувной магазин, затем я выйду на площадь, пройду к автобусной остановке и – домой. Да, нужно купить молоко, хлеб и, кажется, кончился кофе.

Я прошла переулком – мимо нескольких ступенек, спускающихся вниз, к двери с прибитым над ней огромным ботинком. В нескольких шагах, в стене, за решётчатой дверью увидела круглый дворик, который не замечала прежде. Он зарос лианами сиреневых бугенвилей. У стены стоял скромный фонтан с едва сочащейся влагой, рядом была присыпанная старыми листьями и увядшими цветами скамейка. Казалось, пахло сиренью. Я приостановилась, ощутив укол душевной печали, тронула рукой калитку, но она не поддалась, и я прошла дальше, свернув на улицу, знакомую до узнавания лиц манекенов в витринах...

Вот, сейчас остановится мой автобус, и я сяду у окна рядом с девушкой-студенткой. Я вошла в автобус и оглянулась

– свободное место было у окошка напротив входа.

"Простите," – сказала я пропускающей меня девушке. Она рассеяно кивнула, не отрываясь глазами от конспекта на коленях.

"Сейчас будет парк, а затем площадь с бронзовым кентавром и начнётся дождь" – я создавала город, в котором должна была жить, а он отвечал мне своими улицами, дождями и позволял пить из своих чашек.

1997 г.

Реквием по генеалогии

Городок был похож на пыльную витрину галантерейного магазина. В центре стояли часы с боем – украшение, гордость и память о лучших временах. Иногда они трубили насмородным звуком, и тогда жители говорили: "О!", поднимая вверх указательный палец. Так они приветствовали *таинство жизнеутверждающего проистечения* и переводили фокус зрения за горизонт – туда, где оканчивалось стекло витрины и начиналась деревянная рама с облупленной краской. Оттуда свистел сквозняк, заставляя шелестеть и раскачиваться пастельный атлас и кружево развешенных лент, в сплетениях которых прятались влюблённые парочки: кавалеры снимали пиджаки и набрасывали их на зябкие девичьи плечи.

На полу витрины были щедро разложены кошельки и футляры для очков, и в их суконных и бархатных апартаментах жили самые уважаемые семьи – главный галантерейщик, психиатр, протезист и дамский мастер. В престижных, но неуютных футлярах одеколонов жила богема. Актрисы подрабатывали вязанием и считалось хорошим тоном иметь кофточки и шарфики от... "Знаете, она ещё играла блондинку: от неё ушёл муж к... вы должны знать – у вас, кажется, такой же шарфик. Подумать только, надо же – те же нитки – они все живут со всеми..."

Но большинство горожан теснилось на многоклеточных шахматных досках, в карточных домиках, а некоторые даже в тубиках от губной помады, где всегда был риск вляпаться.

Фармацевт овдовел очень рано и, как было принято в фармацевтических кругах, женился на сестре своей бывшей жены – трогательно хорошенькой и необразованной бесприданнице. Когда-то у фармацевта была своя аптека – чудесная комната со шкафами, наполненными таинственным бутылочным сиянием и горьким нежным запахом. А потом морскую раковину купили... Это всегда происходило одинаково трагично и непонятно – являлся *пятипалый* и поглощал безвозвратно – никто не был защищён от рока.

Самым безопасным местом считались часы с боем, но там, среди рычагов и зубчатых колёс обретались пьющие и страшноговорящие часовщики, а на чердаке вместе с чучелом лысеющей птицы жил сумасшедший философ. Он писал серовато-коричневыми перьями свой труд. Его боялись даже самые отчаянные и говорили, что в ночь перед каждым явлением пятипалого, слышат, как философ плачет и что-то бессвязное кричит. Говорили, что когда он испишет последнее перо, распахнётся завешенная паутиной дверь, в ней появится голая птица и прокукует конец света.

Фармацевт не мог смириться с утерей аптеки, и потому был нервен со своей молодой женой. Она ничего не смысли-

ла в латыни и мучительно стыдилась и краснела всякий раз, когда он заговаривал с ней по-учёному, как будто забывая с кем имеет дело... Она обращала к нему молящие о прощении глаза, а он трагически хватался тремя пальцами за лоб и восклицал: "Боже, о-о-о..." Обычно кульминация происходила ближе к ночи, и кротость юной жены вознаграждала учёного мужа. Но иногда порывы гнева застигали его в полдень или даже утром, и тогда женщина закрывала глаза.

Похоронив мужа, жена фармацевта посмотрелась в зеркало – там отразилось постаревшее лицо, и ей стало стыдно за морщинки у потухших глаз. На вдове женился, как было принято, брат фармацевта. Он был шутник, весельчак и игрок. Шутя, назвал жену «Бабкой» и прозвище прилипло. Прожили вместе они не долго. Однажды Бабке стало плохо, и её увезла скорая помощь. В больнице ей стало лучше, и она на следующий день вернулась домой, но там уже не было ни мужа, ни денег, доставшихся ей в наследство от первого брака, исчезли даже книги на латыни. Скоро стало известно, что весельчак перебрался жить в дамский кошелёк из крокодиловой кожи. На деньги фармацевта был сделан ремонт подкладки и куплены новые полки для латинских книг. Молодожёны были вхожи в лучшие дома. Их сын выучился на фармацевта, умел жить мило балагурия, был завидным женихом и женился традиционно, как принято среди фармацевтов: осчастливил сироту из близкой родни – трогательно хо-

рошенькую бесприданницу, которая робела своего учёного мужа и, вздрагивая, заливалась жарким румянцем при звуке латинских слов.

Родители молодого фармацевта умерли в одночасье, и шептали, что было подмешано, но слух – дело житейское... мало ли, что говорят злые языки... Говорят, например, что кошелёк – из *искусственного* крокодила, и что философ был сыном фармацевта от первого брака, но не преуспел в латыни, ушёл на войну и там сошёл с ума...

Карточные домики были на снос. Так и строились – на снос. Но в них успевали прожить два и даже три и четыре поколения. Там всё время что-то падало и ронялось. На ступеньках все спотыкались, о косяки бились, натыкались на углы и проваливались в рытвины, колодцы и люки. Пахло хлоркой. Жители тусовались с просительным выражением на лицевой стороне и угрожающим – на тыльной. Все мечты были о *сносе*. Все разговоры были о "когда нас снесут и как получим новую жилую клетку". Но, когда свершалось долгожданное чудо, новые клеточные страдали от ностальгии и говорили, что прежде было свободней и живописней, что утеряны цель, смысл жизни и что рок сыграл ими в дурака.

Три женщины проживали в углу сползающего вниз каре. Старшая прислуживала средней и младшей. Она была одета в старую кофту и белый платочек. Лицо её смотрело, как с

древней закопчённой иконки, помещённой в глубину плохо освещённого иконостаса. Зимой и летом она выносила по-мойное ведро и ходила к колонке за водой, что-то мыла и скребла. А в свободное время сидела в оцепенении за печкой и смотрела скорбными глазами. Средняя где-то работала и приносила домой сумку с едой. Молодая страстно мечтала о сносе. Потом она родила девочку, а старшая умерла – и всё осталось, как прежде: старшая носила ведра, скреблась и затихала за печкой, средняя работала и приносила домой сумку, а младшая мечтала о сносе...

На шахматных досках все были на виду: перегородок между клетками не было, и люди приспособились не замечать друг друга. Говорили: "не бери в голову" и "не обращай внимания", а любимым утешением было: "расслабься и получи удовольствие". Конечно, с удовольствием там проживали только самые способные не думать, что не каждому дано – для этого нужно особое свойство. Но за три-четыре поколения произошёл естественный отбор, многие ушли на войну и там героически погибли защищая родину, а в новых поколениях умирали не приходя в себя – приходиться уже было некуда.

Правда, иногда, в непогоду, болели мертворождённые мысли, а когда на площади простужено ворчали часы, поднимался вверх палец, восклицалось "О!" и надеялось на «жизнеутверждающее проистечение», как красиво сказал поэт,

живший в хрустальной пробке от французских духов. Слова были крылатыми – летали на воле и не привлекали внимания, а если кто-то случайно заговаривал о смысле слов, то присутствующие злились и требовали прекратить выражаться в общественном месте. "Не берите в голову" – напоминали самые легкомысленные. Обычно это были прыгающие в бок кони. Они исчезали уже в конце фразы и их здоровое ржание и мощные ляжки подтверждали верность сказанного.

Пешки были тугодумы. Они передвигались шажком, носили форму в подтверждение своей лояльности, но при этом неожиданно больно били из-за угла. Ходить по трупам, как большие фигуры, они не умели, зато отлично размножались.

Высшей ценностью была, конечно, сама клетка. Говорили, что раньше фигур было меньше чем клеток, и они жили по закону. Но потом шахматы купили и, потеряв одну пешку, заменили её не то копейкой, не то пуговицей, после чего наступили беспорядки. Поначалу пешки пытались скакать вбок, как кони, или носиться по диагонали, как офицеры, но скоро поняли, что не умеют так, и стали размножаться естественным для клеточных образом, воспетым поэтом, как «весна жизнеутверждающего проистечения», за что поэт получил хрустальную пробку от французских духов.

Однажды на одной клетке родился трудный ребёнок. Вначале он был как все, но потом обнаружились странности. Например, ребёнок всё время пытался куда-то спрятаться. Он

городил из стульев и занавесок пещеры и пытался жить там. Утаскивал в укрытие свой горшок и ни за что не хотел пользоваться им как все нормальные дети – сидя посередине своей клетки и весело переговариваясь с соседями. Но хуже всего было то, что он задавал вопросы – смотрел круглыми глазами и задавал дурацкие вопросы. Ему говорили: "Не бери в голову," а он спрашивал: "Почему?"

Ребёнка пытались лечить. Он месяцами лежал в больнице, где стулья были привинчены к полу, а по ночам не выключался свет. Но болезнь не поддавалась лечению. Несчастные родители жили в страхе, что общество заподозрит в них источник дурной наследственности, и всё время следили друг за другом, обвиняли в порочности и призывали в свидетели родню и соседей. Ссоры и скандалы на клетках всегда находили сочувствие у зрителей, скрашивали жизнь и наполняли её динамикой. Семья сосредоточилась на борьбе с недугом: больному ребёнку отдавали все силы и время – не спускали с него глаз, ни на минуту не оставляли одного. Все это видели и жалели безутешных и преданных родителей. И всё же, однажды ребёнок сбежал... Говорили, что видели его среди часовщиков и, как будто, даже близко от логова философа...

Пятипалый был тем единственным, что равняло всех – никто не был защищён от его ужасного появления. Сминались шёлковые небеса, в воздух взлетала шкатулка или грешок и исчезали, словно втянутые в воронку смерча. Их

больше никогда не видели, а после его явления горожане несколько дней были особенно торжественными, чинными, вежливыми друг с другом. Говорили: «Пронесло» и "Все там будем". Отдавали друг другу старые долги и гладили детей по голове. Но если *пятиталый* долго не являлся, начинались скандалы и даже потасовки. Терялся ритм, словно давало перебои сердце. Казалось, не хватает воздуха и, вот-вот, в грудь вопьётся страшная игла, но небеса сминались навстречу молитвам и *таинство жизнеутверждающего прористечения* продолжалось...

Галантерейная лавка была на бойком месте – рядом с пивной, и захмелевшие прохожие легко расставались с пятаками, чтобы купить какую-нибудь безделушку, а в соседнем доме – наискосок – была женская гимназия, и барышням всегда нужны были ленты и бисерные кошельки. Витрина обновлялась почти каждую неделю.

1998 г.

Пульс

Она ответила, немного помолчав: «Знаешь, ты очень милый, что больше не хочешь затащить меня в лес и сделать со мной всё, что положено делать с такими, как я...»

Он рассмеялся, слегка задыхаясь от радостного облегчения и, прижав телефонную трубку плечом, закурил сигарету. Немного грузный, седобородый господин в круглых очках сидел за большим столом, укрытым книгами и исписанными листками, оседлав табуретку, похожую на спортивного «козла», и растерянно улыбался уже не словам, но самому себе – незнакомому – неужели это он сказал? Действительно... неделю тому назад произнёс эти противоестественные для него слова напряжённым до хрипоты голосом.

Они ехали в его машине, догоняя огромное красное солнце, спешащее за горизонт. Женщина молчала, пряча лицо в мохнатый воротничок пальто, собранный в сжатые кулачки. Казалось, она держит себя, как держат за шиворот испачканного котёнка, ещё не зная, что с ним делать... Сидела, опершись о спинку кресла плечом, вполоборота к мужчине за рулём, глядя на него, словно следя и боясь отвести глаза...

«Что ты смотришь?» – спросил раздражённо, мнительно: «Я плохо выгляжу?»

«Нет, очень хорошо... у тебя красивый профиль...» – голос искал поддержки, улыбки...

И тогда он сказал, чётко разделяя слова: «Жаль, что здесь нет леса, где можно было бы сделать с тобой всё, что положено делать с такими, как ты». Злой рукой сжал её колено, смял юбку. Машина вильнула, и рука, дрогнув, вернулась на руль.

Всю оставшуюся дорогу молчали. Солнце закатилось наполовину, затем ещё на четверть и скрылось, оставив тёмно-красный дым...

Лев занимался древними языками: древнегреческий, арамейский, иврит, латынь – и называл сам себя «книжный червь» – с мрачноватой усмешкой, словно предъявлял фамильный герб на воротах частных владений. Сказал эти слова и знакомясь с Ириной – вышло что-то вроде «Лев – книжный червь» – со старомодным кивком куда-то в сигаретный дым. Она тоже уважительно покивала, и улыбка пробежала по её лицу – именно пробежала, не задерживаясь: первыми дрогнули уголки губ, потом морщинки у глаз, и они на миг ласково смягчились... и опять вежливое сосредоточение – церемония улыбки завершилась...

«Мило» – подумал он...

А ей представился, как всегда некстати, огромный, похожий на льва червяк, работающий челюстями над изъеденной уже крепостной стеной полуразрушенного замка, сооруженного из папье-маше и облака театральной пыли...

Потом, когда между ними возникло то, что он классифи-

цировал – пунктуально, как всё, что делал – как «роман», он читал ей отрывки своих переводов из древних рукописей, а урчащий червь с косматой гривой отвлекал её, выдергивая из нескончаемого потока чужого сознания, ломящегося по одному и тому же древнему, как мир, литературному руслу... Какие-то учёные эллины и иудеи наперебой бросались в мыслепоток, отдаваясь его мощному течению, и их сносило в банальность. И только изредка – раз, быть может, в эпоху – какой-нибудь смельчак пытался плыть вопреки течению и идеологической пене: неуклюжим движением, всплеском свободной мысли, парадоксом – и возникала история... история мысли – *человеческая история*...

«Ну как?» – спрашивал он, оторвавшись от звучащего литаврами текста...

«Замечательно» – отвечала... старательно: «Знаешь, что ещё замечательно? – то, что в этом году в Париже была всемирная конференция философов, и собралось их две тысячи...»

«Какая связь?»

Пожала плечами... – не могла же она начать рассказывать про львиную трапезу и мощное течение, снесшее в Париж две тысячи важных мужчин в костюмах и галстуках. Должно быть, среди них не было женщин... во всяком случае, хороших...

«Как ты думаешь, сколько среди двух тысяч философов хороших женщин?»

Он снял очки, положил их на открытую страницу, смотрел изумлённо – не дурачит ли его...

«Просто я представила, как в большом зале жемчужных тонов сидят, сдержанно оглядываясь, две тысячи солидных мужчин, начиненных одинаковой информацией, как рождественские гуси яблоками...» – и добавила, поколебавшись: «Ну... немного разные приправы:... восточные... западные... и ни одной хорошенькой...»

Лев даже покраснел от возмущения: «Эта начинка, как ты изволила выразиться, суть образования... бесценное...» – резко встал, придержав рукой падающий стул – и вышел энергичный жест, усиленный стулопадением – крещендо всё тех же гневных литавр, что звучали в тексте, придавленном теперь круглыми очками...

Он хотел продолжать, даже набрал побольше воздуха, чтобы мастерски нырнуть в поток своего сознания... Но потом увидел её лицо и всю фигурку, одиноко сидящую на безнадёжно удаляющемся берегу, уплывающем в прошлое – его прошлое. Он почувствовал на пределе душевных сил: словно усилием выбросил себя – свою душу – вверх, как выбрасывает на берег своего ребёнка тонущая мать... и услышал сквозь шум своего голоса, озвучивающего чужие тексты, ноту, похожую на «ля» камертона...

Ирина сидела покорно, как зритель в театре, когда уже понятно, что хваленная пьеса скучна, но ловушка из бархатных кресел захлопнулась и неловко нарушать своим побегом

удобство сотен расслабленных рук, сложенных на коленях – и она тоже сложила свои руки на коленях, смирившись с тем, что сквозь её судьбу – не тронув души – пройдёт космическое тело страстного монолога...

Лев перевёл дыхание... Ирина увидела, как его глаза стали беспомощными и шаг неравномерным – большой, два маленьких и неловкое опускание на колени – перед ней – обхватил руками бёдра и положил голову лицом вниз, уткнувшись в её повлажневшие ладони, и она держала эту голову в руках, не зная, что делать с ней... и с ударом душевной жалости, похожей на нежность...

Шептала: «Ну-ну... ну что ты... всё так хорошо... ты умный, милый... что ты говорил?.. Ну хорошо... ну ладно...»

Пожалуй, это было ещё до того, как она сказала про конференцию в Париже – тогда, когда они ещё говорили друг другу «Вы»... ну да...

А потом возникло недоразумение, когда она заторопилась, а он не отпуская: «Ты куда?»

«Пусти, я в середине месяца – не защищена...»

«Вот и хорошо...»

«Что хорошо? – пусти»...

«Не уходи – хорошо, что не защищена – я не отпущу...»

Изумлённо открыла глаза... даже не поверила... лежала навзничь – его руки тяжело держали её запястья... попыта-

лась освободить плечо и не смогла... мысль мелькнула: «Бог шельму метит... ведь знала, знала, когда соглашалась прийти, что будет именно так... знала и врала... одевалась в чёрное кружево... дура»... Сказала заискивающе: «Пусти...»

«Ты уйдёшь...»

Рассердилась, и он сразу почувствовал и разжал руки... уронил тускло: «Беги – всё равно тебя уже нет со мной...»

А потом поил чаем с молоком и мёдом, говорил покаянно: «Было так хорошо с тобой – не отбирай теперь...»

Опять оглушила нежность: «Было хорошо...»

Посмотрел недоверчиво...

Изумилась своей власти... мелькнуло: «Что теперь?»

Он словно услышал – засуетился: «Ты будешь жить наверху – там можно поставить твой мольберт».

«Мне пора – последний автобус».

«Останься... до утра...»

Но Ирина уже металась, собирая разбросанные вещи, и в душе её рос страх: всё, казалось, теперь складывалось в её жизни почти... счастливо – свободно, как мечталось – только-только выплыла на вольную воду... «Зачем пришла, шельма... чем заплачу? Прости, Господи, прости...»

В позднем автобусе ехали уставшие после работы люди, свободных мест не было, Ирина стояла на передней площадке. Ей казалось, что все знают, что она – шельма в тонком чёрном пальто – едет со свидания, подробности которого придумала прежде, как если бы рисовала картину. Немно-

го красок растерянности, нежности, немереных шагов... вот, пожалуй, вдохновенным мазком – сизым – пульсирующая веточка на запястье...

Ирина ощутила, что уносит на себе его прикосновения – чуть повыше кистей рук – средоточием новой несвободы...

Телефон разрывался, когда она отпирала дверь, Лев что-то горячо говорил, и Ирина отвечала «Не знаю», но уже знала, что придёт к нему опять, и что будет им плохо...

1999 г.

Театральный день

Мне позвонил друг Горацио и спросил, как прошли мои театральные встречи.

Поделиться впечатлениями мне очень хочется – видимо, я не самодостаточна. Кстати, что это означает? Слышала, как один профессионал объяснил, что среди одиночек есть изгои, есть люди замкнутые, а есть самодостаточные счастливицы. Что до меня, то когда меня не принимают, я уйду в себя – а куда денешься? – приходится довольствоваться своим внутренним пространством, и нет в том особого умысла...

Вот и дети выросли и ушли – совсем как в семье носатого ворона – живут такие в Африке среди марабу, бабуинов и слонов. Большие чёрные птицы с красными сооружениями у мощного клюва, предпочитают полёту пешие походы, видимо, потому, что так легче хватать всё, что бог послал: змей, скорпионов, мышей, пауков. Живут в единобрачии, воспитывая редких детей. Иногда мама с папой так усердствуют, запихивая в своё дитя живность, что малыш задыхается – сипит, бедняга, с двумя хвостами, торчащими из клюва, а родители стоят над его страдающей душой с новой порцией гадов и хлопают глазами от вдохновения...

Вчера я уже знала, что оба режиссёра – обездоленные люди, цепляющиеся за тень театра. Но они позвонили спустя неделю после первой встречи, голоса их были задумчивыми,

и я не смогла сказать, мол, умрите, несчастные. После такого заявления нужно немедленно застрелиться самой, да так, чтобы не промахнуться, но я не чувствую пока твёрдости в руке, а твёрдость намерений недостаточна. Впрочем, когда это сочетание возникнет, вряд ли мне понадобится давать напоследок распоряжения.

Я уже знала, что режиссёр Гоша работает дворником, а вечерами встречается с такими же изгоями, и они разыгрывают самодостаточность. Собственно, это занятие и определяет, в некотором роде, суть театра. А режиссёр Игорь объявился профессионалом – ну, и бог с ним. Он хромал, курил, пил кофе за мой счёт, пророчествовал, прятал взгляд – чего уж там. Этим людям я отдала мои пьесы. Спустя несколько дней каждый из них позвонил, и голоса в трубке звучали вполне по-человечески: «Надо поговорить».

Для второй встречи я позволила себе лишь немного любопытства. А в прошлый раз мне удалось обмануться, что иду я в свой театр: оделась в чёрные гольф, чулки и ботинки, серую юбку, волосы легли сами собой в овал, как на древнегреческих головках, брызнула французскими духами, сварила кофе. Мне казалось, что играю я замечательно, хотя, может быть, всё выглядело ужасно – как если бы ума лишилась не юная Офелия, а Гертруда и, вообразив себя любимой своего сына, стала бы приставать к солдатам, даря им прутики и упрекая в трусости и предательстве...

Утром у меня теперь достаточно времени, чтобы собраться в своё удовольствие, зная, что в чужом спектакле грядущего дня этот час – единственно мой. Не спеша постояла под душем, промыв волосы и ополоснув их настоем розмарина – куст растёт под окном моей спальни. Волосы от него приятно пахнут и вьются энергичней обычного. Включила музыку, сварила кофе и тут вспомнила, что театра, собственно, больше не будет, по крайней мере, сегодня... А будет довольно утомительный день с предсказуемо нелепыми встречами. В одиннадцать встречаюсь с Игорем, в два – с Гошей...

Моросил косой дождик, и я упёрлась в него раскрытым зонтом. Утром из нашего посёлка уехать в город можно только на попутной, и пришлось довольно долго ожидать милости. Я потихоньку остывала, чувствуя, как меня покидают вкус кофе, аромат розмарина и запах театральных кулис...

Надо сказать, что мне удалось перевести свою «Офелию» на английский. Переводчик представился грузинским князем в изгнании, рассказал о бесчисленных бедах, выпавших на долю его древнего рода, и о том, что однажды он так погрузился в работу, что раздулся, как бочка, и даже не смог надеть любимые итальянские туфли. Однако фразы, которыми он изъяснялся, были построены умно и изящно, и я, испытав отчаянное доверие к незнакомцу, выложила деньги. Конечно, он изображал ранимую творческую личность, как будто в нашем диалоге я – сборщик налогов...

Тут нужно остановиться и, пожав плечами, с доверием взглянуть в глаза собеседника, мол, богема, все эти «творческие личности» – маски, и незачем даже срывать их: нет под ними истины, ради которой стоило бы утруждать себя. Театр – демонстрация внутренней жизни человека, его естества, скрытого природой от публики. Так, обнажение внутренних органов – печени, лёгких, крови, костей – происходит в анатомических театрах, а души – в драматических. И так уж заведено, что публичное откровение – всегда драма, и превращение театра в балаган похоже на то, как если бы хирурги и патологоанатомы приходили бы порезвиться в операционную или морг. Есть, конечно, и первобытный театр, в котором натура обнажается катастрофично – война.

Игорь пришёл с девушкой, представив её журналисткой. Слава была похожа на сфинкса, курила – я погрузилась в двойное облако дыма. Она произнесла: «Прочла Вашу Офелию, а затем и Гамлета... Шекспира...»

Офелию нельзя играть, её нужно читать, – озвучил обещанный разговор Игорь.

Есть многое на свете, что нашей мудрости не снилось... – обратилась я к Горацио...

Надо было бы сразу разойтись, но Игорь успел добавить, что, к тому же, в пьесе слишком много действующих лиц, и от этого у актёров будет меньше зарплата, да и кофе мы уже заказали: Слава – с молоком, Игорь – чёрный, а я, как всегда, капучино. Вернее, не как всегда, а как последние три года –

с тех пор, как сыграла счастливую сцену из своей судьбы. Я всё представляла, что сын освободится из армии, вернётся в университет, и однажды, поздней осенью, дождливым утром, часов в десять, мы встретимся. Я буду ждать его в длинном синем плаще и с зонтиком в сине-красную клетку, а он выйдет в перемену между лекциями, улыбнётся мне – я видела это так ярко, что когда наступил мой час, не могла понять, реальность ли это. Действительно, моросил дождик, я стояла под кроной дерева, в сухом круге и видела, как сын торопливо идёт ко мне, улыбаясь в поднятый воротник курточки. Мы прикоснулись друг к другу, и он повёл меня в маленькое кафе рядом с библиотекой. Сели у столика возле стеклянной стены, за которой был внутренний дворик с пальмой и плющом, вьющимся по стене. Сын заказал капучино...

Принесли кофе, Игорь сказал, что хотел бы поставить мою трагикомедию о нашей эмиграции, но что я должна подготовиться к разочарованию, потому что для автора перевод на язык сцены всегда мучителен. И потом, герои в пьесе только обозначены, и надо бы их расписать, ибо актёр – существо злобное и мстительное, потому требует подробностей. Я сказала, что согласна на бесконечные подробности, ведь писала эту пьесу, как басню – там даже обозначено – «басня об исходе второго тысячелетия». А подробности – пожалуйста: вот, например, сегодня утром я видела великолепную раду-гу – одним концом она упиралась в арабское селение, которое растёт и растёт в сторону моей пустующей деревеньки.

Именно оттуда их молодежь повадилась подстергать наши машины и бросать в них бутылки с зажигательной смесью – есть пара удобных для этого мест, где дорога идёт по дну небольшого ущелья, как в ковбойском боевике – ба-бах!!!

Но Игорь уже цитировал Станиславского, а я думала, не значит ли это, что мы уже поговорили и пора прощаться; и ждут ли от меня оплаты всего счёта, или можно платить только за себя. Потом Игорь пожурил Славу за то, что она ленится писать, возникло враждебное мне слово «литераторы», и меня спросили, не хожу ли я в клуб писателей и поэтов. Я ответила, что писателям, по-моему, лучше не встречаться. Мне становилось душно, и я не сразу поняла, что отравлена сигаретным дымом, а не театральными встречами – легко перепутать от непривычки...

Ровно в два я подошла к эскалатору, встретила Гошей, и мы спустились в огромную закусную, заполненную пёстрыми деревянными столиками с прикрепленными к ним скамейками. Гоша угостил меня кофе в пластиковом стаканчике. Спросил, почему написала «Офелию»? Ах, я могла бы рассказывать и рассказывать без остановки – раскручивать свои мысли о Дании, сидя за столиком, похожим на деревянную лошадку карусели... А вокруг – в каретах, на оленях и летательных аппаратах кружатся солдаты, арабы, евреи, рассудительные офелии и безумные гертруды, а напротив – щедрый дворник, и я ему говорю, мол, Шекспир устроил трагедию на пустом месте, вернее, на почве Дании. А что до су-

ти вопроса, то как быть, если и жить-то невозможно в мире, превращённом в театр военных действий – приставала я к дворнику... Опять в Иерусалиме взорвался очередной Гамлет из палестинского королевства. Слышала, что есть такой аукцион, где можно выставить, что пожелаешь, и иногда находят покупатели. Так вот, я думаю, а не попробовать ли мне продать Офелию, скажем, за миллион долларов, мол, купите, господа, нетленную драму. Пока то да сё, пока слово прорастёт и окупится, автор пожила бы на проценты. А, может, купят за два миллиона? Как Вы думаете, Гоша?

А что бы Вы сделали с миллионом? – оживился Гоша.

Жила бы потихоньку на проценты, покупала бы житейские радости...

А если бы два миллиона?

О, тогда бы купила театр, поставила бы свои пьесы, ведь я вижу их как Вас, Гоша. И случилось бы счастье – сын отрёкся бы от слов «бесполезная глубина» – это он про меня так... Сказал бы: «Ах, мама, какая полезная глубина» – ещё бы не полезная, если заработала миллиард...

Миллиард? Ничего себе, и что тогда?

Тогда... зажила бы на необитаемом острове... родила бы ребёнка. Снилось несколько раз – так, ничего нового: золотой дождь... нежность льётся с небес, но я была не готова: ни места, ни времени – ужас! Это – как со словом: что толку слышать, если не можешь ответить... Гоша, Вы откуда сами будете?

С Урала, – его лицо омрачилось, – с *северного*. И я поняла, что моя необитаемая идея с девятью нулями и золотыми дождями слишком жестока для его реальности, и слава богу, что хватило мне ума промолчать, но пауза затянулась, и нужно ответить Гоше – зачем написала Офелию...

Зачем? У меня не было выбора: быть – не быть... нет свободы в отказе от дыхания, движения, надежды... Конечно, случается, что едва вздохнёшь, как в лёгкие хлынет сигаретный дым... Или доверишься чувству... ну и... сами знаете, как бывает, когда открываешься навстречу жизни, Горацио...

...Зачем же... – Гоша прервал наш разговор с Горацио...

...Чтобы прочла английская королева. Я даже купила шелковый костюм и сумочку, а туфли на каблучках у меня есть ещё с прежних времён – для этого случая. В сумочке у меня лежит батистовый платок и флакончик духов «Шанель № 5» – муж привёз из Парижа. У меня, как раз, очень болела голова, когда муж вернулся из командировки и подарил мне эти духи. Ну, знаете, что это значит для женщины моей судьбы, особенно если лежишь одна в тёмной комнате уже третий день. Вот, муж кладёт мне коробочку в руку, и я плачу, потому что это чёрт знает как обидно, когда тебе выносят с чёрного хода угоститься, пока там идёт праздник. Плачу и смеюсь, потому что деловая поездка в Большой Мир – понимаете, что это значит для мужчины его судьбы, особенно зимой. Я тронула пробочкой от флакона висок, но боль не

утихла тогда...

Считается, что Эпоха Возрождения – это Леонардо да Винчи, Микеланджело, но, думаю, без Лоренцо Медичи ничего бы не вышло – должен же кто-то умный, свободный, сильный... отделять агнцев от козлиц? Помните, что устроил потом Савонарола со своими хунвейбинами? Думаю, Господь в своей щедрости творит без устали, и, похоже, без присмотра: где-нибудь да прорастёт – по теории вероятности – в Средневековой Флоренции, Древнем Ханаане или Новом Свете, а может быть, в созвездии Льва...

А мы с мамой жили в бараке, – пожал плечами Гоша, – учился я кое-как, но мне нравилось бывать в книжном магазине. Было стыдно, что ничего не покупаю, поэтому я собрал какие-то копейки и выбрал книжку со знакомым названием, похожим на «Как закалялась сталь». Оказалось, что это пособие по металлургии... Кто сумеет это понять?

Разве нужно быть непременно флорентинцем, чтобы понять мальчика, который ночью, тайком приходит в часовню изучать труп, ещё не зная про изваяние Давида? Или нужно быть датчанином, чтобы *не быть*? Читала книгу, написанную человеком, который родился в племени, отрезанном от Мира, а затем, волею судеб, подростком оказался в Европе и там написал о прошлой жизни – всё просто, как у Пушкина: человек ищет счастье, ошибается, бунтует и смиряется, отрекается и верит ... что души людей живут в крокодилах – чего тут не понять?

Я вижу Вашу пьесу – произнёс Гоша – на сцене крест...

Нет, пожалуйста, нет – ужаснулась я.

Покосившийся...

Бог с Вами, Гоша...

А потом я зашла в магазин, где в витринах были выставлены ветчины, колбасы, сыры, торты... А вот и моя еда – творог обезжиренный. У нас в посёлке нет магазина, и возить приходится из города. Когда знакомые узнают, то ужасаются, мол, ах-ах – как же так? Ничего страшного... справляемся...

На следующий день мне позвонил Игорь, а затем и Гоша...

Видите ли, театр... Вы понимаете? К тому же, здесь нет вращающихся сцен, а покрытие... думаете, оно – из каучука? Увы, невозможно танцевать на пуантах! Нет вешалок... публика не ходит... сидят у ящика и злятся. Занавеса нет... Напишите другую пьесу – так, чтобы стало легко и хорошо – всем.

И поменьше действующих лиц, – теплел Игорь, – а то актёрам платить нечем...

Пожалуйста, побольше действующих лиц, чтобы занять всех ребят: они так тяжело живут, что один свет в окошке – театр. Вы уж, пожалуйста, напишите, чтобы всем нам было хорошо! – вдохновлялся Гоша.

Хорошо?.. понимаю... да, конечно... хорошо...

Этюды

Возвращение

Странное чувство овладевает мною, когда я пытаюсь вспомнить свой сон – словно сны мои отделены от реальности лишь лёгкой занавеской, и там они бродят как тени в ожидании, когда придёт их час. Но стоит мне тронуть эту полупрозрачную грань, и они устремляются ко мне, толпясь в надежде, что я возьму один из них... Среди них есть слабые, почти невидимые, и они чувствуют себя чужими, когда сильные и яркие беззастенчиво рвутся в моё сознание, и я, срывая их охапками, уношу с собой...

Так и с литературными текстами – сюжеты стоят у грани, как подсолнухи вдоль дороги, не смея переступить моё воображение, и только смотрят призывно, но я... сторонюсь, особенно рьяных и готовых лечь на бумагу безо всяких хлопот. Я знаю им цену – в одно разочарование – вслед за всплеском ложного вдохновения...

Мои сюжеты тихи, и не хватают читателя за чувства... И вообще, они предпочитают сидеть дома, и чтобы познакомиться с ними, нужно быть *вхожим* – то есть, не в мой дом, конечно, а в свой собственный – ведь, известно, что читатели делятся на тех, у кого дом есть и бездомных. Все остальные

неравенства иллюзорны. Дом строит каждый сам себе – для житья-бытья, ведь читатели – вроде улиток, если, конечно, видеть их не распятыми в чужом тексте, а свободными. И вот, чтобы быть вхожим в дом, нужно его построить и стать *вхожим* – всё просто, как истина...

И тогда сны не станут выживать в одних и тех же постылых страхах и восторгах, тщательно выписанных с натуры, а тексты доверчиво обнажатся, и мысль, сбросив причудливые слова, вернётся в начало...

Шепот

Иногда я играю в такую игру. Говорю себе: «Вот и Бродвей, как ты мечтала». Оглядываюсь с любопытством: лица разноцветной толпы приветливы, тела отстраненные, как представлялось. Стена из пёстрых добротных домов, витрин, столиков – всё так стильно и по-хозяйски, что похоже на убранство гигантской американской кухни.

Я плыву по течению и причаливаю на скамеечку в крохотном сквере из трёх жёлтых акаций. Наблюдаю Бродвей. Счастливы ли эти люди тем, что живут здесь? Можно ли быть счастливым от дыхания, если никогда не приходилось задыхаться...

– Счастливые люди, – говорит по-русски старичок, деликатно присевший на другой конец скамейки – Прихожу сюда каждый день, и всегда на эту скамейку садится кто-нибудь из России, и можно приятно поговорить. Знаете ли, в кафе им дороговато.

Странно, я могла бы устроиться где-нибудь под одним из этих приветливых зонтиков, пользуясь своей волшебной свободой. Могла бы подняться на круглое мраморное крыльцо и войти через вращающееся стекло в декоративный кофейный рай. Почему даже в мечтах я не переступаю порог реальных возможностей? Возможностей... – что я знаю о них? И о реальности... Нужно спросить у старичка...

– Сударь...

– Сударыня? – охотно отзывается он.

Я зажмурилась от радости, продлевая мгновение ласкающего звука. Как я соскучилась по этому слову, похожему на снег, летящий на фонари опрокинутой площади.

– Метёт – зябко поёжился старичок, поднимая воротник. Порыв ветра сорвал снежную шапку со сфинкса и швырнул её в низкое небо. Сани неслышно неслись вдоль набережной.

– Сударь, почему Вы заговорили со мной по-русски? – спросила я.

– Ваше лицо... это невозможно спутать... я много путешествовал – теперь везде бродят люди из России.

– Мы могли бы поужинать – я распахнула пуховое кружево и сбросила душистый мех на услужливые руки. Мы вошли в круглый зал, обитый голубым атласом. Сели в подобострастные кресла. В зеркалах засуетились тонкие тени. Лакей завис над бокалами.

– Ну, каковы мои возможности? – улыбнулась я.

– О да, я – свидетель, но без меня... – он едва заметно пожал плечами – России нужны свидетели. Вы даже в мечтах нуждаетесь в чужом одобрении...

– Сударь?

– Как дети... Вы могли бы сейчас сидеть в обществе Баритона или Английской Королевы, а предпочли меня. Вы боитесь неудачных отражений и слишком много философствуете. Вот, полюбуйтеесь, как суетливы Ваши мысли... Мы си-

дели на облупленной деревянной скамейке в пыльном сквере на исходе лета. Наискосок, у почты, спиной к нам росли гипсовые фигуры пролетарского вида...

– Россия распадается на отражения в беспомощных лицах. Знаете, раньше на Бродвее не было этой скамейки – я точно помню. Да и не могло быть – только посмотрите...

Действительно, ветхое сооружение из пяти щербатых досок (шестая оторвана) конфузливо прятало под сидение чугунные ноги.

– Вы тащите в себе Россию – вздыхал старичок – даже в своих мечтах не свободны. Зачем Вам эта скамейка, ведь Вы хотели прогуляться по Бродвею?

– Но я должна же где-нибудь быть – шепот сорвался и, покружившись, упал на белый лист.

Звезда вифлеемская

Знаете ли, есть такие тихие, не боевые девочки, с глазами, как у ночных зверьков, которые всё норовят в угол забиться и поскулить в подушку. Вечно они плетутся в сторонке. А когда им грозят, то не убегают, а стоят, как вкопанные, и смотрят замершими глазами на поднятый кулак – даже стукнуть противно, и приходится кидать камнем. Такие никогда на уроке не поднимают руку, а в столовой сидят над тарелкой до последнего – голову в плечи вберут и рот им не разжать, а как что, так бледнеют и со стула сползают на пол. То есть, пара-тройка эдаких на заведение и всё – снижаются показатели. Они так и норовят куда-нибудь забиться – за лопухи у забора, где дырочка в доске жёлто-зелёная...

Луг смотрел в дырочку бесконечного дощатого забора и видел тёплый серый глаз в трепещущих ресницах, прильнувший, как доверчивый зверёк, и ласкающий траву, ромашки, синее небо. Ну, в общем, понятно про детство-отрочество.

И замужество было какое-то невнятное – за соседа по коммунальной квартире – немолодого фотографа. В сундуке у него лежали шляпы с перьями, стеклянные бусы, веера, шапки – достались от дедушки, который тоже был фотографом и держал костюмы для дам, желающих сделать художествен-

ный портрет. И ещё ребёнком она часами перебирала желтоватые кружева и нитки тлеющих под оранжевым абажуром бус.

Фотограф вскоре умер, оставив молодую жену беременной. Она родила, как и жила – в своей комнате – одна: приготовила горячую воду, чистые простыни, бинты... улыбнулась крику ребёнка. Одеда мальчика в кружевную рубашечку, повязала на запястье атласную ленточку. Убрала свои волосы ниткой бус, накинула на полнеющую грудь белую шаль. Со светлым лицом взяла на руки младенца.

Они в безмятежности ожидали. Зря вошла звезда – волхвы не пришли...

Белый ящик

Если уткнуться носом в траву и приблизить мир на расстояние ресниц, то всё будет иначе. Лучше всего это делать весной, когда ненадолго расцветают самые маленькие цветы. Эти пёстрые существа вступают в диалог со зрачком, погружаясь в его чёрную глубину и, далее, легко скользя лепестками – в душевную бездонность, где происходит самое важное...

Женщина вздохнула и села на каменное крылечко. Воздух был по-весеннему нежен, цвёл лимон, и утро было в начале. Она не спешила. У ног жужжал сиреневый куст розмарина. Время лениво растянулось в дрёме и благодушно позволяло созерцать себя.

Утром по Интернету она получила письмо из Нью-Йорка: «Анна, посылаю Вам свой текст. Все хвалят, но мне не нравится. Всё у меня складывается как нельзя лучше, но нет счастья, и нет чего-то, без чего теряет смысл всё происходящее».

Эта переписка длилась всю зиму, и в каждом послании возникала некая подробность о снеге, которого не было в Иерусалиме, и Анна, получая очередное письмо, говорила себе, что выпал снег.

Она ответила: "Андрей, помните?: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...». Должно быть, счастье сродни вдох-

новению, которое может застать человека, только если он дома. А дом, должно быть, и есть «покой и воля» – единственное, к чему стоит стремиться в этой жизни. Андрей, я теперь не ищу счастья, потому что это абсурдное занятие, отвлекающее от чего-то бесконечно важного мне, что сосредоточено во мне самой – куда-то за горизонт...»

Потом Анна сварила себе кофе. Она насыпала в тёмную шахматную фигурку джезвы две ложки кофе, ложку коричневого сахара и слегка прокалила на огне, пока не появился лёгкий запах пожара. Затем залила водой почти до края, чтобы легче было собирать пенки: ведь кофейные пенки и есть самое главное в приготовлении кофе, и их нужно снимать в стаканчик из грубого стекла, пока они, покрыв его дно, не станут взбираться по стенкам. Кофе не должно достичь своих пределов на огне – нужно успеть потушить пламя или лучше поднять сосуд за деревянную ручку вверх – так, чтобы жар устремился вдогонку последним касанием, а потом брызнуть в томно дымящийся аромат несколькими каплями холодной воды.

Анна устроилась на крылечке, опустив босые ноги на плоский белый камень. Первое прикосновение казалось тёплым, но из глубины быстро просочилась прохлада недавней ночи, а за ней и сырость ушедшей зимы. Анна погладила рукой траву, пропуская колоски между пальцами. Навстречу ей стремительно спускались – с земли, словно с неба – миры: синие, зелёные, жёлтые, красные... Красные были в чёрный

горошек и пробирались через непроходимую чашу, раздвигая перепутанные нити своими слабыми лапками. Жёлтые были круглы и пушисты, а синие – изысканны, и всё они простодушно дарили свою прелесть – спокойно и свободно...

Один человек сказал, что если описать устройство часов как угодно подробно, то это не приблизит к пониманию времени... Пёстрая радуга складывается в белый цвет... или свет... или счастье созерцания пёстрого... или осознания белого?

Анна не знала. Она сидела на низком крылечке, погрузив ноги в траву и опираясь подбородком о сложенные на коленях руки.

Шах и мат

Настаёт день, когда иллюзии, которые гнала прочь, уходят... совсем. Бога ради, стойте, будьте милосердны – вот, я подошла к зеркалу – передо мной расстилается огромный сумрачный зал, переполненный жаждущими иллюзий. Я протянула руки и произнесла первые строки:

"...пустыня в летний полдень..."

угли тлеют в камине замка старого в снегах Лапландии замёрзшей..."

В горячую от зноя ладонь упали первые снежинки. Мохнатые звёздочки таяли, но их становилось всё больше, и вот уже маленькая фигурка на обледеневшей сцене почти не видна...

"...снег летит в дрожащий жар истлевших углей изнемогающей Сахары..."

Лицо потеплело от слёз... розово тяжелеют губы... жар горького изнеможения летит в зал...

"...вновь дуэль, где жизнь против судьбы..."

и человек себе бросает старую перчатку,

которая видала лёд и вьюги немыслимых в пустынном зное зим..."



Где-то на галёрке возникла и затихла неловкость – приземистая немолодая женщина пробралась к своему месту и села, виновато сдерживая дыхание.

Так, старое знакомство... Она без устали, правильно и последовательно строила свою жизнь, но концы связывались с обрывками, минуя начала, и мужья уходили, а с детьми случались несчастья... Так бывает с новичками в шахматной игре. Они вдруг пронзаются пониманием стремительной победы своих белых в пять ходов, и устремляются к цели, на пределе сил удерживая в мысли комбинацию «шаха и мата».

Они поглощены своей игрой и забывают про партнёра... И вдруг, атакующая королева взлетает в воздух, и всё пропало – конец... и не за что больше держаться... в мире – предателе.

Она похожа на большую черепаху, спрятавшую кладку своих яиц в песке ночного пляжа: сосредоточена на цели и торопится успеть до восхода солнца вернуться в море. И вот, её осветили прожектором, и она увидела свои уродливые лапы, страшную тень и перемешанные с песком разбитые яйца. Она силится поднять голову и посмотреть – откуда этот слепящий луч, но панцирь давит шею и виден только ярко-чёрный песок. А потом её пинком переворачивают навзничь, но

и в перевернутом зрачке всё та же каша из песка, перемешанного со слезами. А потом куда-то волокут, и это конец...

* * *

Мы сидели с ней однажды на лавочке в каменном дворике у пересохшего фонтана. Она роняла неправдоподобно огромные слёзы и рассказывала, как её сын сказал: «Я не сторож брату своему». А теперь он бросил школу, и улица утянула его куда-то... и, вот, вся кладка погибла...

Я сказала ей тогда: «Вспомни что-нибудь счастливое – яркое, пусть это будет иллюзия, но только... твоя»; я сказала ей: «Она станет твоим домом – ты сможешь приходить в своё счастливое воспоминание, как домой, чтобы отдохнуть там».

Женщина подумала и посмотрела на меня – её взгляд казался отражённым светом северного сияния, но вот в нём разгорелся уголёк, словно кто-то подул на тлеющую мысль, и она робко улыбнулась: «В пять ходов...» – глаза её вспыхнули надеждой – «Шах и мат»...

На галёрке робко кашлянули, огромный зал, затаив дыхание, смотрел на обледенелую пустыню и пылающий лёд подмостков.

Гусь с яблоками

Все несчастья – от сознания, что ты несчастлив. Пока живёшь, не задумываясь, и тянешь ляжку изо дня в день, то и нет особой грусти – не отпеваешь себя, не плачешься во все-ленскую жилетку...

Западня какая-то – в осознании себя. Если живёшь одним днём, то непременно угодишь в беду, которую не рассмотрел в трёх шагах, а начнёшь задумываться – не станет сил день пережить, не то, что жизнь. Вот и приходится играть с самим собой в прятки, мол, знать ничего не знаю и понимать не хочу... разве что... самую малость... подглядеть – так смотрят дети страшное кино: лицо руками закроют, а в щелочку между пальцами подглядывают. А в щелочке – такая жуть: годы нелепостей, недоразумений, напрасных усилий, ошибок... ошибок... – и это ещё если человек хороший, а если плохой – подлости, ложь, предательства. Как на это смотреть?

Если бесстыжими глазами, то тогда я не знаю. А если с покаянием, то это нужно всё сначала начинать и... в спасение верить... А кто теперь верит? И где силы взять, чтобы «сначала», когда уже всё накатано: день-день, день-день... окей-окей...

У одних «окей» похож на выдох, а у других – на вдох,

словно с запозданием – вопреки. То есть, у первых выходит здорово и естественно: вдох всей грудью и на выдохе – окей... – лёгкое дыхание. А у других счастье их какое-то надсадное, с хриплым свистом, что ли, – как глоток "не в то горло".

Один человек сказал, что предупреждает грусть-тоску специально припасенной на этот случай суетой – мишурой: только чувствует, как подкатывает сомнение – хлоп – открывает записную книжку с дежурным списком и активно начинает штопать прореху в своём счастье. Но по всему видно, что он не верит – не верит в своё окей: чего-то не хватает или в излишке. То есть, он не глуп – не настолько, чтобы не видеть фальши, но терпит – терпит насилие, что учиняет сам над собой – над своим умом, своей душой. Он запикивает в себя через силу своё «окей», как штопают рождественского гуся. Беднягу подвешивают в сетке за пару недель до застолья и штопают – насильно кормят кукурузой, разбухшей в воде. Страдалец пытается увернуться, но куда там: хватают за клюв, открывают его и запикивают зёрна, пока горло не задёргается в глотательных судорогах. А потом подают его на стол с яблоками... и пожеланиями аппетита и прочего счастья. И если за столом ребёнок из домашних спросит вдруг, а не тот ли это гусь... знакомый? – то соврут, отводя глаза. А мальчик не поверит, заплачет, пожалуй, и не станет есть... А потом пройдут годы, душа очерствеет, станет ему... вкус-

HO...

Не нужно меня любить

Послезавтра судный день. Третий день телефон не звонит и, думаю, не случилось ли что... Тревога, тревога...

Всё длится этот отвратительный детектив, в котором все роли были известны заранее: кто будет злодеем, кто жертвой... Неужели выпадет новый виток марафона? Нет более сил, Господи. Почему молчит телефон? Неужели придётся платить за каждую ошибку, за каждую слабость полной мерой?

Тихо и нудно ноет душа... Читаю Монтеня, читаю Толстого... Запад и Восток, вернее, Россия. Монтень занят собой, Толстой – Россией. Его мысль преследует истину, как ослеплённый циклоп – Одиссея. И результат похож: хитроумный народ обманул веру графа в то, что владеет особой, “русской” идеей, но и граф так подучил свой народ, что он, бедный, всё никак не найдёт родную Итаку...

Толстой говорит о жертвах, о любви к ближнему: «Как достичь всеобщего блага? – все должны жить не для себя, а для других, и выйдет, что каждый получит благо от всех» – и что-то в этом роде благостно-безумное, что Монтеню бы и в голову не пришло...

Толстой говорит о бескорыстной любви – о чём он?

О том, что некто, полагая, что без корысти, то есть, даром

– бездарно? ...не ожидая ответа – *безответственно*(?) обрушивается на иные души свои помыслы, энергию, чувства, называя это любовью и, может быть, разрушая неведомые ему – иные – миры...

Но, как же, без корысти, если взамен требует бесценного – любви(!) – души человеческой – да не одной, а всех сразу? Как же не корысть – безмерная?

Да это же разбой в Святая Святых! Душа моя Богу принадлежит... Да и с чего мне любить графа – за его «скромность, что паче гордости»? Сократ сказал одному философу, щеголявшему в рубище: «Сквозь дыры в твоём плаще видно твоё тщеславие». Воистину граф «прост» – но не та ли это простота, что «хуже воровства»...

Тревожно... Надоело жить тревогой. Душа изболелась. Милый компьютер, хоть ты меня пожалей. Милый, милый компьютер, пожалей меня, пожалуйста. Нет сил справляться с неустроенностью, зависимостью. Монтень говорит, что если жизнь не мила, то лучше освободиться от неё. Но как освободиться, если связана судьбами и всей своей жизнью с другими людьми, которых любила?

Вот, перестану сидеть у телефона, и возникнет пустота – некому будет незвонить... Господи! Я не прошу любви, а только равнодушия к себе... Пожалуйста, не нужно меня любить.

Красный блюз

Всё рушилось совсем не так, как мечталось. Никто не завоёвывал, и страшный бунтующий Мужик не пёр на Столицу. Всё уходило в Лету технологично. Скудели, казавшиеся прежде бездонными, источники, тускнела палитра, следствия теряли причины, надежда впадала в детство и улыбалась бурному росту чужеродной плоти. Она называлась «новой» и привязывалась к старым именам собственным, как прилагательное.

Новое было беспредельно... по-мезозойски дико. Но подслеповатые глаза ловили жизнь, как движение, а «оно» двигалось, казалось энергией под угасающими светилами теряющего силу созвездия...

Покаяние не случилось, и было преступлено... Маятник дрогнул и полетел в иные пределы. Молитвы рождались не из мыслей, а из протянутых пустых ладоней и блуждали при видениями в руинах. Мир разминался, как ком старого пластилина в рассеянной руке: в безобразном шаре не угадывались прежние воплощения, а будущие казались обречёнными на усталость замысла и плоти.

Одни видели в происходящем конец света или межсезонье, перебирали сундуки с воспоминаниями, примеряли предчувствия грядущих природ – не суетились, принимая конец ли... начало... как данность листопада, стремясь к

невесомости – в равнодушии бесконечно большего. Другие пытались бежать в страхе потерять плоскую меру, и это был бег по замкнутому кругу среди утеревших сущность нераскаянных прилагательных.

Эмиграция стала статичной, а одиночество превратилось в поэтическую метафору. Так, если бы, однажды романтическое небесное светило свалилось на землю лавиной серых камней и пыли, кто испытал бы благодарность за постоянство прошлых полнолуний? Ностальгия казалась пошлостью – банальный сюжет о плаче по утерянной иллюзии. Эмоциональное излишество вызывало опасение и брезгливость.

У знаний, как всегда, был вкус печали, враждебный слабым душам, и они отказывались **быть**, смешивая добро и зло в хмельной коктейль, но ампутированная печаль всё равно тревожила в непогоду, выгоняя ноющие души вон из их судеб в усиливающуюся бессвязность.

Брошенные судьбы слепо носились в стихии, всё разрушая и множа Хаос. Кристалл мироздания светился полно, но оси его структур бессильно плавали, как стрелки размагнитченного компаса...

Ложь

«Меня нужно брать на опыты», – сказала – «Знаешь, вместе с фальшивым звуком мне подаётся... болеутоляющее, что ли, чтобы можно было пережить ложь, и я погружаюсь в полусон, а она теряет силу и не бьёт, как прежде...»

Он молчал, не зная, что ответить. Произнесённые им слова, ещё звучащие в воздухе, уже не казались затейливыми и значительными. А женщина, для которой он говорил их, переместилась вдаль, уйдя в своё занятие. Она складывала на его колене букет из маленьких – величиной с булавочную головку – пёстрых цветов. Он никогда не замечал прежде, что у самой земли – у подножий серых камушков, скрытых травой, – живут эти изящные создания...

– «Знаешь» – она заглянула ему в глаза, словно вернувшись издалека – «Раньше я жила... в одном присутствии... Не знаю, как это можно объяснить – сосредотачивалась в той точке, где слышала своё имя. Пыталась понять того, кто обращается, как мне казалось, ко мне. Собирала себя на пределе своём, как если бы мне нужно было перешагнуть свой порог, чтобы тронуться в путь. Но, хотя и произносили моё имя, но звали не меня».

– Она пожала плечами, улыбнулась: «И тогда я научилась не верить – рассеиваться... Я отзываюсь ещё, но в записи – на случай неизбежных встреч».

– «Где ты была сейчас?» – спросил он и ощутил растущее беспокойство. На его колене, обтянутом белой тканью, сплелись в виньетку идеальные цвета: жёлтый, синий, красный, зелёный – словно радуга изменила свой путь, чтобы миновать повисшую в воздухе ложь...

– Она улыбнулась: «Вот, собирала цветы – там таких много...»

– Помолчали в короткой полуденной тени.

– Спросил безнадежно: «Где ты была?»

– Пожала плечом: «У себя...»

– «А мне можно с тобой?»

– «Нет» – покачала головой – «Как нам тогда разминуться?»

Материнство

– Прости, мама, но я не могу ответить тебе. Я чувствую... верю, что прохожу мимо чего-то, возможно, великого... но не могу ответить...

– Но я прошу не для себя, сын, ты должен не мне – себе. Отпусти меня... восвояси...

– Я не держу тебя.

– Держишь – ты держишь меня... судорожно, и не замечаешь этого...

– Чем я держу тебя?

– Тем, что не держишь себя – ты не ведёшь себя... по жизни своей – тебя ведут все кому ни лень, а я, не смея отвернуться, должна следить, вмешиваться, и я устала – невыносимо устала жить в твоей жизни. Ради бога, возьми себя в руки – отпусти меня или... или ты возненавидишь меня... Господи, прости...

– Я не возненавижу тебя. Чего ты хочешь? Скажи, я сделаю.

– Я хочу... я хочу... я хочу быть в своей жизни – уйти к себе... Прости, ты спрашивал не об этом... Ты... – ты должен быть в своей жизни – сам! Как мне тебе ещё объяснить, бедный мой... Я похожа на безумную?

– Немного, вроде тени отца Гамлета...

– Господи, ненавижу себя – клоун рыжий... со сломанным

заводом...

– Ну, мама, уж завод то у тебя в порядке.

– Знаешь, однажды, когда я работала на заводе... вдруг, испугалась, что меня уже нет... Понимаешь – нет совсем... Что я – давно уже не я... И тогда я пошла в единственное место, где можно было закрыть за собой дверь – в туалет – метровый грязный кубик. Расстегнула платье и стала трогать – водить пальцем по плечам, груди, удивляясь их гладкости и теплу... в этом железобетонном аду...

– Да, у тебя была трудная жизнь. Я знаю, мама, я хочу пожалеть тебя, но не могу. Я пробовал, мама, но не могу – не знаю почему. Наверное, я бесчувственный – бесчувственная скотина, мама; я – злодей, и у меня каменное сердце, мама...

– Нет-нет, ты не злодей. Знаешь, однажды, когда ты был маленький – лет пяти – ты подошел к играющим мальчишкам, что постарше, долго смотрел, придвигаясь всё ближе, пока они не прогнали тебя, и тогда ты вернулся ко мне и сказал: «Они пригласили меня прийти завтра».

– Я помню.

– Неужели?

– Ну да, ты мне уже рассказывала...

– Я?

– Ну да...

– А однажды всю ночь буянили соседи, а утром мне нужно было встать рано-рано...

– Ну да, и ты пошла к соседям просить тишины, и пья-

ный хам заорал на тебя, что, мол, ты у меня будешь белугой реветь, и тебя почему-то потрясло, именно, что «белугой» – ты рассказывала уже два раза – я уже пытался жалеть тебя, мама... два раза...

– Но я не рассказывала, как утром надела всё самое лучшее, что было у меня – чёрное кружевное бельё – и минут пять мы с отражением в зеркале молчали, пытаюсь совместиться. Понимаешь, сынок, я пыталась собрать себя – изгнать из своей жизни ревущую белугу, в которую пытались превратить меня той ночью... Знаешь, лестница грязного подъезда, и я бегу-бегу, задыхаясь, куда-то – и это не сон, потому что спать мне не дали – бегу, превращаясь в ревущую белугу, обрастая чёрной чешуёй – холодная тяжелая рыба – чужая жизнь... Я не могла так больше, понимаешь – это слишком...

– Не плачь, мама...

– Хорошо, но я не могла прекратить этот бег... И вот, я замерла тогда перед зеркалом, чтобы обозначить себя – проверить, есть ли я ещё, могу ли... зайти к тебе – маленькому, не испугав, ты не помнишь меня?

– Нет, я не помню тебя – только фото и твои рассказы... Мне кажется, что меня нет, мама, иногда мне кажется, что я живу не в своей жизни, а в твоей... Отпусти меня – я боюсь, что мы возненавидим. Наверное, вы – трагическое поколение, мама, но нет сил сочувствовать – переживать вашу жизнь... Вы видите в нас свой эпилог – это жестоко, мама!

Нужно было жить свою жизнь – быть в своей жизни самой, а не “для детей” – не плодить грешников... чтобы было кому лгать...

– Прости, мой мальчик...

– Прости, мама...

Патриаршие пруды

Вчера звонил сын... Окончился Судный день, и опять возник гул близкого шоссе. Есть не хотелось – приправы из тысячелетних эмоций лишили этот день звуков и вкуса...

Однажды в середине эмигрантского марафона я увязла в луже – настоящей, непролазной, огромной, слившейся с небесами – такие бывают зимой на новостройках Иерусалима. Уже стемнело, и вокруг было черно. Руки оттягивали пакет с мятой хурмой. Тяжелые чешские боты давно зачерпнули стихию. Окоченевший палец цеплялся за вывернутый зонтик. В шелест дождевых струй вплетался частый стук градин. Говорят, что «тяжело – не значит плохо». Увы, до определённого предела...

Я с вызовом посмотрела в небеса, и они отозвались громом и молнией, осветившей берега моей лужи, скелеты брошенных машин и меня, какой я буду будущим летом, когда хурму в прорванном пакете и моё лицо склюют вороны, мы с лужей высохнем, всё покроется цементной пылью от соседнего заводика, и только обрывки японского зонтика и русской шали будут суетиться на ветру.

Возникло последнее, видимо, воспоминание, как неуклюже прыгала вслед за уходившим автобусом и вдруг обмерла, увидав перекошенным взглядом женщину... Она была оде-

та во что-то простое, милое, уютное, лёгкое, тёплое, изящное... К ней подкатил, ласкаясь и стеля под ноги ступеньки, ручной автобус, а я осталась, и теперь пожинаю бурю...

Однажды, там, в прошлой жизни, я уже встречалась с этой женщиной... В Москве, в ранний советский период жила такая гражданка. Было ей около тридцати – красивая, изящная, грустная. Вокруг кипела обычная примитивная жизнь. Люди добывали жильё, одежду, пищу, отбиваясь на ходу. Одним от такой жизни было тошно, другие входили в азарт и увлекались ею, а третьи просто ничего другого не знали и не задумывались ни о чём. Гражданка жила отстраненно, устроено, замужем. Выпала ей доля быть любимой женой совершенно нормального, хорошо зарабатывающего мужчины. Была у неё и домработница – простодушная деревенская красавица. Таких уж теперь нет, а тогда бывали. Тогда *они* были беженцами – возносились, – а теперь, *мы*...

Гражданка могла даже позволить себе купить цветы по сезону, и, вот, тогда я и увидела её в первый раз. Я как раз висела на подножке валившего на меня автобуса и хлебным батоном вдавливала в него своего расплющенного сына. А она шла мимо – по тротуару с букетиком тревожно пахнущей мимозы – мимо штурмов, жертв, устремлений... Шла с печальным лицом, и мне показалось, что я узнала её... Но тут на спину с лязгом обрушилась дверь, задавленно пискнул сын, и меня увезли тогда...

Может быть, обладателю космических глаз моя жизнь,

особенно в её последней части – «вознесение» – и кажется прекрасной... Вполне возможно, что именно эпизод в луже особо силён, и от него возникают космические гармонии редких достоинств? Но, право же, не стало сил – не могу и не могу больше – даже под угрозой того, что никогда на московских улицах не запахнет мимозой... Всё, довольно с меня. И, рванувшись вверх, я свободно полетела к грохочущим и сверкающим небесам. Трагическая фигурка в мокром стремительно провалилась вниз – тряпичный клоун, уроненный в блюдце с остывшим чаем...

Мимо неслись освещённые окна и... в одном из них я увидела сына, озабоченно взглянувшего на часы. Господи, мне давно пора быть дома. Пора ужинать, готовить суп... Господи, он давно ждёт, пока я тут... бог знает чем занимаюсь... Душа моя согрелась любовью и, мельком взглянув в бесстыжие космические глаза, я понеслась назад к брошенному в грязи телу, продолжающему цепляться окоченевшими пальцами за сумки.

Сын звонил из Иерусалима. Вчера, в Судный день, он долго бродил по университетскому парку. Под синими в сосновых лапах небесами белели здания учебных корпусов и библиотек. Устроившись на скамейке в глубокой тени, мой мальчик читал роман из московской жизни. Таинственно собирались в манящий шепот слова: «патриаршие пруды»... Тревожило забвение детства. Тамошние небеса свет-

лели окошком с ситцевыми занавесками, мягко светило северное солнышко... и вот, пожалуй, всё... Ширма воспоминаний стремительно сворачивалась, открывая панораму Вечного Города – безжалостного, милосердного, знакомого до узнавания лиц...

У подножия университетского холма – ниже ботанического сада – есть пруд. В нём плавают утки и, выбираясь из воды, бродят между столиками маленького кафе и кланчат кусочки лепёшек. Сюда спускаются выпить кофе, лимонад со льдом и опять поднимаются в шумный, горячий город.

Прощание

– Я не хочу, чтобы меня так хоронили, слышите? Все слышали? – Галя пятилась по коридору, гоня себе под ноги мыльную воду с вялыми цветочными обрывками...

– А как ты хочешь? – спросил сын.

– Как я хочу – не важно – ты так не сумеешь с твоими тройками... Но заколотить меня крышкой немедленно, как только я испущу дух, и не выставлять в этом кошмарном шоу, прошу тебя...

– Хорошо, мам... не беспокойся, чего ещё тебе?

– Ещё вынеси мусорное ведро и эту коробку... Где твой отец?

Церемония была позади, но Галя уже знала, что эти похороны не отпустят её – слишком идеальным было безобразие всего происшедшего, и она знала, что дальнейшая её жизнь потечёт в изменённом русле, огибая этот день.

Ветхая тётушка обосновалась в проёме двери и, подобно греческому хору, тянула рефреном: «Какие красивые похороны, какие хорошие дети, как всё было красиво...»

Тётушка тоскливо соображала, что ей самой-то не придётся покрасоваться в приличном обществе, как сестре, которая всегда-то была удачливей... Ах, как всё было красиво: гроб

в красном сатине... вокруг родственники и сотрудники. И руководительница – солидная дама, голос зычный – так что тётушка всё слышала. Ах, как красиво говорила: «непоправимая утрата, горе подкосило... вечная память в сердцах». Говорят, что обошлась вместе с оркестром в копеечку. Дорого, конечно, но ведь и похороны... раз в жизни бывают...

Тётушкина дочь была шумной стервой, вернее, «стерва» предполагает некий, хоть и злобный, но ум, а тут было простодушие – то самое, что хуже любого воровства, когда вор просто не понимает, что он вор...

Так, однажды, по телевизору показывали интервью с одним убийцей – кроткое, интеллигентное лицо в круглых очках – убил таксиста. Журналист почему-то давил на то, что таксист был многодетным, как будто, если бы он был бездетным, то и нет проблем – пакостливый способ улизнуть от сути к чувствительным подробностям. Ну и вот, этот малый когда-то в детстве не наигрался в пинг-понг, и осталась у него романтическая мечта о пингпонговском счастье. Но сам-то он – годам к тридцати – уже потерял былую резвость, потому осталось ему только осчастливить кого-нибудь, ну и самому – со вторых рук – словить подачку-другую счастья... И вот, наш смертник убивает таксиста, забирает у него вырубку и идёт в спорт-магазин покупать сетку, ракетки и мячики, где его ловят и спрашивают, мол, не понял? А он отвечает, что хотел осчастливить соседских детей, и потому невиновен...

Так вот и тётушкина дочка – простодушная – чего хочет,

то и делает, и дурного не помышляет, потому что, вообще ничего не помышляет – от природы, что ли... Так что, конечно, если она не захочет, то и не выложит кошелёк, но, с другой стороны... может и захотеть... устроила же она свадьбу дочке в ресторане «Интурист»...

Должно быть, в каждой судьбе есть свой ландшафт – места прекрасные: горы, покрытые лесом с ручьями, устремляющимися в цветущие долины... – и безобразные: зыбучие пески, болота с ядовитыми туманами и колючей проволокой, торчащей из бетонных обломков... Ландшафт этот меняется всю жизнь – экологические катастрофы, или, напротив – вдруг прорастает, Бог знает откуда, разнотравье, как в четвёртый, кажется, день творенья, и в центре, конечно, дерево с райскими яблочками... Отведать его или нет...

Галя смотрела, как в ведро льётся вода...

Райские яблочки терпки на вкус, но варенье из них превосходное. Нужно только правильно приготовить: наколоть немного и бросить в кипящий сироп, но не варить, а дать настояться несколько часов и выбрать аккуратно каждое яблочко. Сироп прокипятить до сахарных пузырей, затем ссыпать в густеющее варево потяжелевшие уже яблочки – так раз пять или шесть, пока не станут они медового цвета... Ах, такое варенье с янтарным чаем осенью, когда моросит холодный дождь, а из синей чашки выглядывает оранжевый абажур...

Господи! – из горла склонившейся над ведром женщины вырвались спасительные рыдания – впервые за этот безумный день – Господи, подай ощутить твою осень...

Серёжа вышел с мусорным ведром. Конечно, мама увидела его кривую улыбку, когда эта жуткая тётка с оранжевой башкой выступала... над бабушкой... – мама сделала страшные глаза... Но Серёжа, как будто, точно... увидел в глубине маминых глаз – *тоже* – судорогу смеха – того, что искажил и его губы... или это было отражение? А потом мамины глаза сделались из страшных... умоляющими... и всё успокоилось... Оранжевая башка оказалась бликом полуденного солнца, а он, бабушка и мама неподвижно стояли в центре пыльной площадки, окружённой тополями...

Мама, прости, ты так просила – сказала Галя.

Бабушка пожала плечами: «Да, спасибо, и вы простите – я не знала. Теперь всё выглядит иначе. Ну да ладно, не всё ли равно – теперь, когда... ты, я, Серёжка... сумели проститься».

Пауза

Скучная пьеса, как её не ставь. Тема исчерпана – вывернута наизнанку и висит, как дырявый карман с прилипшими табачными крошками. Я ловлю себя на том, что мне досаден любой шум: аплодисменты ли, свист. Пожалуй, самое прекрасное, что я знаю – это тишина. В ней есть живая мысль, ещё не воплотившаяся в образ. Реальность сосредоточена в паузах.

Наверное, мне ближе диалог из пауз. Это могла бы быть гениальная пьеса...

Декораций нет, нет бесчисленных пар спасающихся от творца тварей... ну, разве, пожалуй, пони – маленькая добрая лошадка с рыжей гривкой – простодушная, не хищная. Его можно кормить овсяными хлопьями, переживая любовь и нежность, которых хватило бы для всего мироздания... И вот, выходит человек и молча кормит пони, а тот деликатно ест, вздрагивает атласной шкуркой, помахивает хвостом, прикрывает от удовольствия глаза, и всем видно, как счастливы эти двое и как это... по-настоящему – так, что даже не завидно. Форма так проста, что излишества исчезают сами по себе, а душе открывается суть – возникают покой и ясность, ради которых и стоит в театр ходить.

Посозерцали, помолчали, отдохнули от зависти и суеты, душу подлечили и вернулись в свою самодеятельность – в

домашние водевили и трагедии с хорами и карнавалами, где крутят одну и ту же пластинку:

«Парижские каштаны жаренные – два су; невинность непроданная – всего одно колечко; любовь до гроба – свежая; цивилизация, господа, импортная; улыбки – десять штук в упаковке; держите вора – украл моё вдохновение – держите!!! Скандальные мемуары: Образ Авеля в лирике Каина; отдай мою пудру, скотина; йоги – йоги – ничего не берут в голову; папаши и мамыши, налетайте – стакан воды перед смертью; вещи в себе – подержанные; вундеркинды – родительское утешение...»

Ну, вот... А раз в месяц или в полгода (у кого как получается)... пауза...

Женщина жарит каштаны, ноябрьский ветер обрывает и уносит искры огня, жаровня едва дышит, смеркается, покупателей, похоже, больше не будет. Ещё посидеть... или идти?

1998–2001 гг.

Эссе

Иерусалим

Я стою на перекрёстке мира – одну минуту – иначе включится красный свет, и я не доберусь до тротуара. В центре Иерусалима – на пересечении улиц Яфо и Кинг Джордж – начертана фигура, по сложности своей не уступающая Маген Давиду, и по ней прибоем, глядя в никуда и не сталкиваясь, устремляется Иерусалимская толпа.

Если мысленно соединить все части света, Иерусалим окажется в центре материкового круга. Я делаю шаг и теряю равновесие – что чувствовали, о чём думали люди, которые первыми пришли сюда с верой, что это их Земля? Как внушительно, должно быть, звучал их ропот, не заглушаемый шумом огромного города...

Вечный город... ничейный – он для тех, кто исходит из своих иллюзий, – безразличный к сплетению недоразумений и смутных страхов. Город равнодушно принимает, дарит невесомость находящим опору внутри себя, и не удерживает падающих. Чтобы ощутить его тысячелетия нужно отрешиться от собственной судьбы и увидеть тени живших здесь людей.

Давид в десятом веке до новой эры изгнал из этих мест

народ Иевусеев, чтобы построить столицу своего царства на земле, не принадлежащей ни одному из Колен Израиля, и вблизи от владений родного племени Иуды... Кто были эти люди, сохранившиеся звуками в имени города? Ушли ли они за Иордан? Или сменили своих свирепых богов на абстрактную еврейскую идею? Возможно, их облик живёт сегодня в шустром школяре с бритым затылком и хохолком на макушке, придуманные ими узоры покрывают грубоватые браслеты на руках матрон, дремлющих на сиденьях автобусов, а смех и плач слышны из музыкальной лавки у входа на базар. При блистательном Давиде, Иерусалим стал столицей самого большого в еврейской истории царства, с границами от Евфрата до Египта. Башня Давида – еврейский вариант изваяния: «Не сотвори себе кумира». Основатель династии, пастух, воин, музыкант, изгнанник, поэт, любовник, страдающий отец – ликам Давида свободно в древней башне.

Золото Иерусалима – на куполах и в витринах, на груди и запястьях – в нестерпимом блеске иудейского солнца рассыпаны сокровища царя Соломона... «Собрал я себе и серебра, и золота, и сокровищ царей и государств. И возвысился я более всех, кто был до меня в Иерушалайме... и ни в чём, что очи мои просили, я не отказывал им. Но оглянулся я на все дела свои... и вот всё суета и погоня за ветром, и нет в том пользы под солнцем...»

У Иерусалима свой Север и свой Юг, вытянутые вдоль

оси Земного шара: Гило и Рамот – два новеньких, недавно отстроенных белоснежных полюса противоположных сторон мироздания.

Из Гило виден Бейт-Лехем, в котором родился и где был помазан на царство Давид. Наверное, овцы мальчика-пастуха, сына Ишайи, забредали на гиловский холм, как забредают и теперь на его окраину, обращённую к Бейт-Лехему, и тогда в современное звучание города вплетается патриархальная мелодия...

Вдоль дороги к центру, тесня балку, рядами стоят дворцы-виллы первого поколения израильских буржуа. С белых балконов ликующе взирают удачливые подрядчики и коммерсанты. Израильские пионеры с квартирующими у них внуками – живут в тенистой Рехавии. Здесь тихая гавань и для больших семей из Бруклина. Их мужчины разрываются между Иерусалимом и Нью-Йорком, женщины говорят «бесейдэр», как «О'кей», и одевают своих детей в стиле «Том Сойер»...

Рехавию обтекает улица Кинг Джордж – Короля Георга времён английского мандата. Улица обрывается на «Перекрёстке Мира» так же внезапно, как и власть англичан, и устремляется в глубину еврейских веков – в затерянный мир чёрных лапсердаков, пейс и париков квартала «Меа-шеарим». Жизнь здесь расписана, как ноты механической шарманки, чья музыка слышна по всему Израилю: ла-лала-лала... Вылетевшие из центра автобусы, ползут в глубокой де-

прессии по узким улицам мимо пыльных витрин с пресными, как маца, иудейскими лебедями и одетыми в футляры прохожими...

Но вот, автобус выскакивает из почтенных объятий и мчит по широкому шоссе мимо сосен на север – к холмам Рамота. Здесь уютная, как в сказках Андерсена, архитектура: красная черепица, лоджии и балконы, кружево решеток, палисадники и дворики, лесенки и дорожки, причудливые окна, фонари и цветы, цветы... Вьющиеся розы вползают на террасы, обвивают решетки. На стриженных лужайках крохотные деревца обвешаны огромными лимонами. С толстых деревянных балок спущены сетки с цветочными горшками. Керамические вазы с геранями и кактусами стоят на подоконниках и у дверей домов. Осенью, в пору декабрьских туманов, Рамот парит над густыми облаками, скрывающими нижний город.

И снова в центр, к Центральной автобусной станции, которая принадлежит всем. Это самое демократичное место города. Въезжающих в Иерусалим встречают запрокинутые, отрешённые, словно в молитве, лица и глаза, устремлённые куда-то ввысь – над головами толпы – там, под крышей станции, на электронном табло высвечено расписание автобусов. Но лица... библейские лица... они смотрят в вечность с полотен великих мастеров: Юдифь Джорджоне, Авраам и Исаак Леонардо да Винчи, Давид Микеланджело. Потом эти ли-

ца, открывшись на миг, скроются в толпе спешащих солдат, студентов, чиновников, торговцев – жителей Вечного Города.

Через центральную автобусную станцию идёт девятая линия автобуса, соединяющая два комплекса университета, основанных на двух холмах и двух способах постижения мира: логикой и откровением. Сюда нужно приезжать рано утром. Побродить по аллеям, присесть на каменные скамейки, хранящие прохладу ночи, поднять лицо к тёплым лучам солнца и, вдруг, благодарно увидеть всё: синий купол небес, белые корпуса среди сосен, дорожки, мощённые пёстрым камнем, чистые лужайки, которые скоро заполнят студенты. Здесь живут синие птицы, здесь мог бы быть и мой дом – как жаль...

С обзорной площадки Скопуса видна Иудея, а в погожие дни – бирюза Мёртвого моря и очертания Иорданских гор. Отсюда, в минуты душевной ясности, можно видеть кочевья праотцев, слышать гневные голоса братьев Иосифа, ощущать движение торгового каравана из Месопотамии в Египет.

Старый город. Изящная каменная шкатулка нового еврейского квартала, неприступные затылки строгих армянских домов, притягательная пестрота разбойничьих арабских улочек, древняя стена, поддерживающая веру в Храм, старики в чёрном, спешащие к вечернему звону, таинственная жизнь подземных тоннелей, ведущих к озёрам, не знающим солнца.

Я прихожу в Старый город отдохнуть, купить оранжевую палочку замороженного сока, посидеть на скамейке под старой оливой, поглядеть сквозь прикрытые веки на неугомонную стихию: пусть её... Я сделала всё, что смогла: я могла прийти, и я пришла...

1991 г.

О литературе

«... Проза, какой мы её знаем с эпохи Возрождения, это дитя разума, независимой индивидуальности»

Дж. Оруэлл «Подавление литературы»

Читаю в энциклопедии: «Литература, лат., в общем смысле то же, что письменность. В более тесном смысле под Л. разумеются лишь произведения изящной словесности (народная лирика и эпос, лирика, поэма, драма, роман)... от [лат. lit(t)eratura, буквально – написанное, от lit(t)era – буква], один из основных видов искусства – искусство слова. Термином "Л." обозначают также любые произведения человеческой мысли, закрепленные в письменном слове и обладающие общественным значением; так, различают Л. научную, публицистическую, справочную, эпистолярную и др. Однако в обычном и более строгом смысле Л. называют произведения художественной письменности или, как говорили раньше, "изящная Л."

Итак, литература – «изящные произведения человеческой мысли» – словесность разумная, обитаемая: в ней живёт мысль. Живая мысль обретает в литературе свой «вечный приют» в ожидании своего героя – мыслящего читателя, который не остаётся равнодушным, а будет вновь и вновь возвращается в текст с тем, чтобы осмыслить его заново на но-

вом витке своей собственной жизни.

Литература содержит в себе Тайное Тайных человеческой природы – формулу души – и в этом её предназначение. Она – мера способности Человека вести диалог с Миром, что равно относится и к автору, и к читателю. Верю, что реальная жизнь связана словом с мистикой бытия.

Литература пишется не о «высоком» и не о «низком», а о мире, каков он есть, и о человеке с его данностями: животом, чувствами, душой и судьбой, которая забрасывает его то к Полифему, то к Цирцее, а он, подобно Одиссею, стремится в родную Итаку. У каждого свои стремления в родную Итаку. У каждого свои жизнь и приключения, но если в них не участвует разумная душа героя, то и носит его по жизни, как Летучий Голландец – без компаса и руля – фатально.

Обстоятельства жизни: рождение и смерть, война и мир, любовь и предательства – всё повторяемо: "суета сует" – банальность, коль скоро они не осмыслены человеком, сумевшим стать героем собственной судьбы. «Литературный герой» – не так вымышленный персонаж в центре сюжета, как тот, кто одушевляет повествование своим присутствием.

Разум интересен: грустен и смешон, трагичен и комичен, его проявления трогают душу – оживляют. А глупость – скучна, как бы она не изощрялась в формах. Человек интересен настолько, насколько он разумен – насколько обитаем его внутренний мир. Жизнь человека имеет смысл, если... осмысленна им.

Описание, сколь угодно «реалистическое» или искусно «отображающее правду жизни», но не одухотворённое присутствием разума – это ещё не литература, поскольку рассказывает о жизни не более, чем скульптура «Рабочий и колхозница» – о мужчине и женщине. В словесных зеркалах – и простых, и кривых – жизнь мелькает, забавляя или пугая, играя на нервах, но не возбуждая мысли. Не берусь приводить примеры пустой литературы – это всё равно, что ловить тени во время фейерверка.

Внешняя простота, с которой пишутся слова на бумаге, соблазняет множество скучающих и неспособных к реальным занятиям людей на пробу пера, возникает соблазн доступности творчества. Нечто похожее происходит и с рождением детей. В любых других созиданиях, чтобы заявить о себе, необходимы профессиональные умения, и только слова да дети беззащитны. Иногда и авторы настоящей литературы, увлекаясь внутренней интригой или внешними обстоятельствами, рожают беспородные тексты, которые затем, объединённые общей обложкой с законными детьми, пускаются в тяжбы за права на литературное наследие.

Парадокс литературы в том, что естественная «простота» её возникает из «сложности» – от прохождения через чрезвычайно сложную систему природных и культурных фильтров, рождающих заповедный источник, способный утолить «духовную жажду» того, кто ею «томим». Единственный критерий литературы – её милосердие: насколько она спо-

собна просветлить, укрепить душу, «очеловечить», поддержать потенциал разумности. В конечном счёте, именно это свойство отличает литературу от всех иных видов словесности: и попросту слабой – умножающей равнодушие, – и агрессивной, которая ожесточает читателей или уводит их в иллюзии, где им кажется, что можно жить, но «не быть и видеть сны».

Увы, природа слова катастрофически замусорена фальшивками для массового потребления. Многие из них – от классических «рассказов для народа» до школьных хрестоматий – канонизированы и формируют дурную ментальность.

Вместе с тем, великая литература «для народа» существует: Библия, легенды, сказки. Её авторы обладают даром общения с собой – ребёнком: с народом «жестоковым», античными героями, Маленьким Принцем, Гердой, Алисой, Щелкунчиком и Ланселотом. Волшебная символика смягчает восприятие истины о добре и зле, облегчает диалог, потому герои народной прозы любимы и им прощают то, что не прощают земным людям в реальных обстоятельствах: благородные чувства, мысли, поступки – все те достоинства, которые люди так трудно воспринимают в обыденности.

Мне сказали: «Нельзя Маленькому Принцу жить на Земле». Но... Маленькому Принцу больше негде жить... особенно, когда он вырос и стал взрослым. Маленький Принц либо взрослеет в душах читателей, либо гибнет, и тогда бесчис-

ленные переиздания и рейтинги сказки – блеф. Литература – дитя любви духа и плоти, она рождается на грани мистики и реальности. Писать настоящую прозу можно только для себя – по своей мерке. У прозы жизни и литературной прозы есть общие универсальные законы, записанные на небесах. законы жизни и смерти, добра и зла. Согласно им качество жизни соотносится с качеством литературы, которой отвечает человек. Нарушение равновесия уничтожает личную способность «иметь уши» – в душевной глухоте человек теряет ориентиры и в литературе, и в жизни.

Существует миф о «великой» литературе, как об истине в последней инстанции, и об авторе – сверхчеловеке. Но «велико» – здесь – только заблуждение. Литературный гений – не в совершенстве личности автора, а в его даре описать свою душу вместе с её несовершенствами – раскрыть свой внутренний мир. Душа совершенная – сам Господь Бог, должно быть, и Его творение – весь Мир, а автор – только человек, способный на откровение – прозу бытия.

Анна Каренина и «высший свет», Филиппок и «русский народ» – автопортреты самого автора. Его жизнь раскрыта культурному читателю. Увы, люди, склонные к суевериям, обожествляют и автора, и литературных героев, превращая их в мифологические «образы», нужные им для поклонения, а сами литературные сюжеты – в формы своего выживания.

Все литературные тексты – о внутреннем мире автора, но, опосредованно, они могут рассказать о реальности. И мис-

сия читателя – понимать это, не подменяя Мир, в котором действуют реальные законы, мистическим «образом мира», не передоверяя автору, сколь угодно одарённому, своё право на свободу мысли. Текст – только посредник в разумном диалоге. И даже «слово» – то, что было «вначале» – лишь посредник: между абсолютно свободной идеей и ограниченным сознанием человека.

Литературный дар – явление мистическое. Думаю, что проза достигла тайного тайных в повести Н.В. Гоголя «Шинель» – так отчётливо, что можно наблюдать явление литературы – её тела вместе с мистическим шлейфом, похожим на хвост кометы, уходящим в бесконечность: пока хватает душевных сил у читателя. Само название, казалось бы, определяет власть формы, но, вот, поди же, парадоксальным образом повесть, привлекает и удерживает мысль.

В советские времена я тщетно искала истину у Михаила Булгакова. Отказ от осознания всего происходящего, отторжение реальности, абсолютный уход в иллюзию, когда психушка, пусть символически, но органично вплетается в бытие Мастера. И, наконец, абсурд – спасение души... дьяволом?

Ментально мне эта книга близка необычайно и вызывает сложнейшие сопереживания, но «чёртов рай», даже как метафора, вызывает протест, как если бы я сама получила пропуск от «Воланд и К°» в «вечный приют» с условием, что брошу своих детей. Впрочем, герои Булгакова были бездет-

ны... в отличие от поклонников его романа, создавших из книги свой культ.

Советским читателям не хватило культуры чтения, и они отождествили себя с героями романа. Но если Мастер и Маргарита по волшебству литературных законов спаслись в рай с «венедианским стеклом... мостиком...», то их поклонники, согласно законам реальности, попали вместе со своими детьми в нормальный постсоветский ад. Увы, «дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно».

Литература – свободный и компромиссный способ разумного общения. События и чувства, описанные в тексте, – только материал, осмысливая который можно сделать шаг к истине. Автор демонстрирует свою позицию и ход мыслей – не обязательно «текстом от автора», но, например, парадоксальным взглядом, волнующим воображение или волшебной метафорой, трогающей душу. Чтение – процесс интимный. В этом смысле, литературоведение, исполняя обряды «сочетаия» автора и читателя, берёт на себя функцию храмовых жрецов. Однако человеческое общение подписывается на небесах, и разумная жизнь находит себе путь, проистекая вне круга, очерченного людьми.

Литература не терпит культа, но, чтобы стать общественным явлением, она нуждается в социальных технологиях нравственной жизни – в культуре. В этом смысле качество литературы обнажает состояние умов в обществе и уровень его цивилизованности. Чтение во многом определяет реаль-

ную жизнь людей, и если они читают глупые, агрессивные, развратные тексты, то и сами так живут.

Технологии безнравственной и бессмысленной жизни, как бы искусны они ни были, основаны на принципах, подавляющих культуру, но она жива, слава богу, вопреки агрессивной среде, потому что естественна для человека: культура – природна. Природу принято называть «дикой», но это слово, скорее, несёт в себе смысл первозданности естества. Человек по природе своей стремится к культуре, сколь бы он ни был отдалён от неё обстоятельствами жизни, поскольку только в культурных рамках может жить достойно. Назначение литературы хранить живую культуру человеческого достоинства.

Литература – это общение, требующее культуры и от автора, и от читателя. Варварство прослеживается в истории и сожжением текстов, и их канонизацией, когда литературу превращают в мифологию и используют для языческих суеверий. Так, Ф. М. Достоевский и явление под названием «достоевщина» – Человек и его Тень из сказки Андерсена. В тени Достоевского, Шекспира, Гоголя паразитируют бесчисленные «– веды», множа сплетни об авторах, искажая смысл их творений, подменяя истинные тексты конъюнктурой, в которой гибнут первоисточники. Существует огромная и весьма агрессивная империя торговли словом со своей властью и чиновниками, религией и сектами, армией и добровольцами, послушными подданными и еретиками.

Спасение – в личной культуре и способности к свободному выбору информации: не нужно хватать и глотать всё, что плохо лежит – любое чтиво, от которого душу воротит. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы суметь освободиться от хрестоматий и научиться читать литературу так, чтобы ощутить её милосердие.

У Достоевского, освобождённого мной от «достоевщины», в «Подростке» я нашла для себя ту точку отсчёта, которую тщетно искала в начале жизни: маленький мальчик, испугавшись неизвестности, не решается убежать из унижающих его обстоятельств, и момент осознания собственной трусости и рабства считает началом своей человеческой жизни...

Литература – соучастие в разумном диалоге о мире и о жизни, и только в этом качестве она может исполнить своё, Богом данное, предназначение – явиться человеку истиной, а не ложью с бегущими вдогонку и всегда опаздывающими задними мыслями: во имя чего или кого пролилась на сей раз «детская слеза».

2001 г.

Впечатление о жизни

Мои чудеса обыкновенны. Так, сегодня утром *пришли на ум* слова, которые и прежде были *на слуху*, и я вошла в их берега, полные смысла. Словосочетание, которое прежде оставляло меня равнодушным, сегодня произвело на меня впечатление – чудесным образом уложилось в ту картину мира, которая проявляется перед *мысленным взором* – ещё одна чудесная находка. Слова – чудеса. Они производят *впечатления* на тех, кто ищет гармонию смысла и формы, воспринимая её, как откровение.

Мир *впечатляет* человека: с помощью впечатлений – посредников – рассказывает о себе. Впечатления – метафоры мира – всплески информации, которые может принимать открытый миру – *имеющий уши* – живой человек. Впечатления – образы мысли, и их иногда нужно выпускать на свободу, даже без надежды на то, что они доберутся до чьего-либо сознания. Может быть, у впечатлений своя самостоятельная жизнь, которая не прослеживается в логических построениях.

Человек воспринимает мир своеобразно. И, должно быть, мир воспринимает человека по-своему. Диалог, если он есть, происходит на языке, который, видимо, нельзя вычленить из контекста и воспроизвести в одностороннем порядке, как бы не оснащался человек техникой, как бы не абстрагировался.

Это язык информационной совместимости – на уровне живого компромисса, упакованного во впечатления.

Как воспринимает жизнь человек? Я – не о биологии – животное тоже ведёт с миром свой диалог. Я говорю о данности, наиболее трудно поддающейся определению – о душе. Она – не только чувства, разум, интуиция, – но, совмещая все эти понятия, превосходит их, соотнося между собой и внешним миром, который, может быть, именно благодаря ей, только условно может быть назван *внешним*. Душа соотносит человека с миром, направляя его *в себя* – в некую центральную точку мироздания, где сосредоточено его “Я”, и где его жизнь складывается наиболее полно – *вполне*. Эта точка не статична – не кубик Рубика, хотя... некая аналогия возможна... особенно в части человеческих способностей владения этой игрушкой. Почему-то люди легко признают, что не умеют складывать кубик, но с трудом – что не умеют складывать свою жизнь.

Думаю, жизнь человека – явление собирания себя. Человек сам организует себя таким образом, что весь мир помещается в нём, оставаясь свободным – так, что исчезает условность грани между внешним и внутренним. Это – не смешение, не растворение личного сознания во вселенском, когда подробности на расстоянии вытянутой руки теряют смысл, не отречение нирваны... скорее, это – уравновешенность. Мир предметов и страстей не кажется низким и презренным, а мир идей – возвышенным и прекрасным, или наоборот.

Материя – не «первична» и не «вторична», как и сознание, но они уравновешены в жизни – человек не живёт только идеями или только материальным – не противопоставляет их. Идеи – такая же реальность жизни, как и их воплощения.

Человек с сознанием, оторванным от реальности, вынужден цепляться за случайно подвернувшийся обломок крушения своей жизни, на который он возлагает все свои надежды на спасение. Это либо физическое выживание, либо иллюзия-фантом, возникший, как ложное впечатление, и не несущий в себе информации о реальности. Спасение может видаться в небе, может – в земной суете, и в этом смысле *крест* – символ дисгармонии человека, его небес и земли, сцепившихся в непримиримом противоречии.

Бог читает в сердцах людей – каждый человек производит на мир впечатление, которое может быть услышано – воспринято миром в диалоге с ним. Как ведётся диалог? О чём он? Должно быть, о жизни, о Мире, о добре и зле – о реальности, общей для всех, о страдании разорванности и о милосердии. Впечатления могут быть тревожными или нести радость. Человек может быть враждебен миру или дружелюбен к нему по «общему впечатлению» – вектору его помыслов и поступков. И мир, как некая данность, которая складывается у человека из впечатлений о стихиях, космосе, земле с её живой и неживой природой, одухотворённой и нет – несёт о себе впечатления враждебные и дружелюбные – всем и каждому в меру его усилий осознавать и складывать

вектор жизненного пути, ведущего к себе.

Жизнь – путь к себе.

Смысл жизни – в пути к себе. Это движение возможно только в «любви» – в принятии Мира, как природы собственной жизни. Любовь – в милосердии к Миру – в стремлении к компромиссу с ним, как к собственному счастью, когда исчезает трагический смысл у впечатления под названием «одиночество». Я – один, но я – весь мир. Смысл моей жизни – собрать себя и, значит, собрать мир, и смысл жизни каждого человека – собрать мир. Собирая себя, человек собирает мир, и в этом заключается его милосердие.

В пересечениях информационных потоков трудно сориентироваться, если довериться логике. Логика хороша в ограниченной области – там, где работают аксиомы, но бессильна в мире, где вместо аксиом – впечатления. Понимание этой данности – необходимое условие для любых логических построений.

Думаю, существует некая иерархия впечатлений, соотносящихся по жизненной важности на мировом – системном – уровне. Вернее, не самих впечатлений, а порождающих их явлений. Мир открывает себя спонтанно или в соответствии с неведомыми циклами, монологом или репликой в многоголосье. Похоже, что явление, известное, как *откровение* – есть нечто несравненно более ёмкое, чем просто впечатление – сверхвпечатление – квант концентрированной информации, наподобие того, как это устроено в компьютерной мо-

дели мира.

Откровения высвечивают некий вектор относительно высших истин. Одно из наиболее впечатляющих описаний такого “чуда” известно из библейской истории о возникшем в огненных буквах пророчестве вавилонскому царю Вальтасару. Известно, что именно в этот период человеческой истории возникают центральные философские учения, близкие по смыслу, словно оплодотворённые одним откровением – одной идеей. Греческие мыслители, иудейские пророки, буддисты в Индии и даоисты в Китае впечатляются идеей единого мира, и человека, одиноко несущего в себе мир. Словно свет молнии на мгновение осветил спрятанную во мгле реальность, и какие-то люди сумели рассказать то, что успели увидеть.

Отчего возникают такие молнии? Божественным усилием, направленным на благо мира – разумным милосердием? Или это случайные искры, возникшие в информационных потоках? А, может быть, глаза дьявола или яблоки с Дерева Познания? Впечатления, даже самые великие – явления многомерные и, не извратив своей сути, не могут составить набора вечных ответов. Понимание этой данности – необходимое условие для любых пророческих построений. Аксиомы и впечатления – логика и откровение – не соперничают в информационном мире: соперничают их несостоятельные владельцы.

Ни одна из существующих теорий, с которыми удалось мне познакомиться, не сумела удовлетворить меня. И я не видела, увы, людей, пребывающих в ясности вне рамок одномерности, как если бы человек, потеряв надежду собрать Кубик Рубика, разорвал его на составные части и, разложив их в ряд на столе, довольно сказал бы: “Теперь я сложил его”.

Мысль кружится, кружится, тщетно бьётся в тупиках одномерности. В чём смысл жизни? Что после смерти? Есть ли Бог? Кто Он? Видит ли Он человека, или человек абсолютно одинок в своём бытии, а в мире несёт некую зависимую функцию, наподобие элементов в электронном приборе...

Много лет и зим прошло... отцветает яблоня, зреют и падают в траву откровения...

1998 г.

Братья и сёстры

В прорехе осенних облаков – немного выше птичьих полётов – видна черепичная крыша, двор с травой, деревьями и каменными дорожками в периметре зелёной изгороди. Я сижу в комнате за компьютером и, чтобы поздороваться, нужно спланировать до уровня окошка. Замшелого приютского мостика с выющимся по венецианскому стеклу виноградом нет – Воланду отказано. Если присмотреться, то можно заметить, что домик стоит в маленьком посёлке на склоне Хевронских гор в пяти с половиной тысячелетиях от рождения Адама, двух – от рождения Христа и в часе езды от их священных могил, где, как водится, любвиобилие проливается кровью.

Домик из лёгкого и пористого материала достаточно крепок, чтобы выдержать атаку тираннозавра – если бы он спустился с лесной дороги, которая видна из моего окошка – я бы увидела его... как этот гад несётся вниз с неудержимостью перегруженного семитрелера и успела бы потушить свет, закрыть окна, двери и надеть наушники с “Una furtiva lagrima” из “L’elisir d’amjre” Donizetti. Это решено – у меня нет другого выхода. Как ещё может женщина – разумная... землянка – противостоять первобытной стихии, несущейся по дикой инерции всей своей безобразной плотью?

Ни одна из существующих теорий о смысле жизни, с которыми удалось мне познакомиться, не сумела удовлетворить меня. И я не видела, увы, людей, пребывающих в ясности вне рамок плоского мира, как, если бы, человек, потеряв надежду собрать кубик Рубика, разорвал бы его на составные части и, разложив их в ряд на столе или построив башенкой, довольно сказал бы: “Я сделал это”.

Мысль кружится, кружится, тщетно бьётся в тупиках одномерности. В чём смысл жизни? Что после смерти? Есть ли Бог? Кто Он? Видит ли человека или человек абсолютно одинок в своём осознании, а в мире несёт некую зависимую функцию, наподобие элементов в электронном приборе?

Для жизни... нужна опора в Мире или... Боге – как душе угодно... Неловко говорить такую банальность, но что поделаться? Мне, провинциальной душе, приходится начинать с нуля: строить мир, соизмерять с ним себя, словно я первочеловек. Понимать, что мир не жесток, но ... *жёсток*, то есть, безразличен к человеческим желаниям, страстям и существует сам по себе – по “божьи́м законам” или “мировому порядку” – определить можно как душе угодно – и только в этом “как угодно” – в осознании, но не в изменении Божьего мира, волен человек. Мировой порядок – не злой и не добрый. Это человек может быть злым или добрым – относительно Закона, который един, как бы его не называли, и Он есть данность, как звёздное небо над головой, и Мир милосерден для тех, кто живёт в согласии с ним. Что проис-

ходит с провинциальной душой – той, что теряет связь с милосердием? Может быть, она гибнет, усиливая мировой хаос, и он является к людям катастрофами? Или засыпает до лучших времён – спит и видит сны, которые возвращаются абсурдом?

Может быть, мир меняет кожу, но суть его, его закон остаётся неизменным, и Новые Греки так же рождаются и умирают, любят и ненавидят, думают и творят, как и Старые. Но в этой старой новизне, похоже, всегда присутствует некое качество, которое, пронизывая историю, не даёт возможности дважды войти в одну воду и не может быть описано во множественном числе. Качество это существует относительно только одного человека и определяет его связь с Богом – единственную и неповторимую. И если в мире есть миллиарды людей, то есть и миллиарды диалогов, каждый из которых влияет на Мир, уничтожая его или возрождая. Качество, которое пытаюсь определить, я понимаю как разумность – способность слышать и отвечать – принимать Мир таким, каков Он есть – по-божески... человечно... милосердно – милосердие может быть только взаимным.

Перечитываю Чехова “Три сестры,” 1900 год. Пьеса обращена к тем, кто будет жить через сто лет... Должно быть, даже у очень свободного человека, есть потребность считать сотнями. Ну вот, прошло сто лет...

Двухтомник рассказов и пьес А. Чехова куплен в 1980 го-

ду у спекулянта за двадцать советских рублей против четырёх с полтиной, что увековечены на тыльной стороне серовато-зелёной обложки. В 1990 году эти книги были уложены в ручную кладь вместе с парой фальшивых ботинок “саламандра” с одесской толкучки и вскоре легли на полку между “Мёртвыми душами” Гоголя и самоучителем иврита в Иерусалиме.

“В Москву! в Москву!...в Иерусалим!”...

Прямая, пустынная дорога на Хеврон уводит из Негева в Иудею – мимо древнего города Тель-Арад, которому более тридцати веков. Холм продолжается прямоугольником крепостной стены. Древний Восток построен из геометрических фигур: кубов и пирамид; так, должно быть, осваивает пространство неискушенное сознание, когда мир стелется у ног – от горизонта до горизонта – и его можно щедро нарезать вдоль и поперек. Теперь от щедрот остались крохи – мир просочился сквозь тысячелетия осознаний жизни, приобретя текучие, изошрённые формы, но... и сквозь них... просматривается та же простота, что и *вначале*...

Новые впечатления не находят во мне тождества, как прежде – во времена вулканического образования моего Мироздания: оно остывает, должно быть, и когда я еду домой – по дороге на Хеврон – силуэт древнего города в холмистой степи, инопланетные бедуины, бросок серпантина в горы и хвойный лес кажутся изящными безделицами и не завоора-

живают многозначительностью. Главное, “домой” – в средоточие моей жизни, а первобытность геометрий исчерпала надо мной свою власть. Смотрю на уплывающий город и думаю, как же трудно было тащить и складывать камни под раскалёнными небесами. Что ели эти люди? Что пили? Вода, должно быть, была в мешках из вывернутых овечьих шкур, лепёшки, сыр, мясо – не для всех, конечно. Каким был запах воды? Слава богу, что еду мимо... домой – у меня там превосходный электрический чайник. Какое счастье, что мне не нужно больше таскать камни для храмов.

Утром пью кофе... как проводят время бездельные люди? Вот, у Чехова... “В Москву! На работу!” Представьте эту компанию на строительстве храма? Я – вполне: мы сами только что закончили строить каменные дорожки вокруг дома. Сперва хотели просто забетонировать метровый периметр и даже, было, приступили к переговорам с местным умельцем – арабом с балетным именем Адель. Говорить с ним мучительно для женщины из ряда: Ирина – Маша – Ольга.

Адель ведёт себя с невыносимой многозначительностью, как джин из лампы Аладдина, или как советский сантехник, и понятно, что мысль у него занята одним: как бы с нас слупить побольше. Он пытается проникнуть в нашу подкорку всеми своими восточными корнями в надежде прорасти на поле дураков монетным деревом. Адель предлагает сделать

дорожку из самоцветов всего за семнадцать тысяч или двадцать, если с бордюриком из яшмы... Мы не сопротивляемся... – ждём, когда он устанет от отсутствия обратной связи и отвалит в железобетонную реальность. Но жадность губит Аделя – он теряет чувство меры и, принимая наш отрешенный вид за покорность, проносится над реальными пятью тысячами, дикой молнии подобен, целуя мне на прощание руку.

И тут возникает другой умелец – доктор наук из Москвы с бородкой Тригорина и говорит на простом чеховском языке, дескать, каменные дорожки – его хобби, и плату он берёт из уважения к товарно-денежным отношениям, без которых немислима его любимая наука, и мы умиротворённо приступаем к строительству. Белый камень под названием “иерусалимский” берётся в ста метрах на безымянной куче, идентифицировать которую противится наш жаждущий камня мозг. Тяжело и жарко. Хочется пить, и мы пьём литрами: сперва (настойчиво избегаю идеальное “вначале”) колу, потом воду с сиропом, потом просто из крана, шланга и согласны уже пить из вывернутых овечьих шкур и копытца козлёночка. Камни нужны плоские и большие: тогда дорожки выходят прочнее и красивей, а бетона уходит меньше. Мужчины, таскающие камни, смотрятся очень декоративно на фоне иудейских пейзажей, и понимаешь, что безответственная литературная декларация “на работу” материализовалась в периметре нашего дома, (то есть, с некоей гео-

графической погрешностью), как и было гениально предсказано: ровно через сто лет – в канун праздника начала третьего тысячелетия от рождества Христова.

Скоро сюда хлынут паломники со всего света. Теперь в колыбели христианства Вифлееме, – город, где живёт Адель, – и Христос, если бы мог, скорее всего, отказался бы там рождаться. Но, похоже, кроме Понтия Пилата, его никто не принимал всерьёз. Чтобы принять Его явление, нужно сместить стрелку в своём сознании, чем я и занимаюсь, и, похоже, вполне успешно, так как больше не хочу в Москву... и не хочу на работу, то есть, нет у меня нужды занять себя чем-то или кем-то более важным, нежели я сама. Наконец-то, сумела как-то устроить себя, и это большая удача для беженки из Москвы, которая на сто лет моложе (или старше...) Ирины, Ольги, Маши. Москва выплюнула меня в августе девяностого года, и я кувыркалась – кувыркалась, пока не приземлилась в маленьком посёлке на склоне Иудейских гор. Теперь у меня есть дом и каменные дорожки, сделанные интеллигентными силами, и этой осенью садим сад: орех, лимон, фига, олива, миндаль, виноград, кусты живой изгороди, розы – будет что ломать и сжигать *тем, кто придёт после нас...*

Здесь жестокое лето без дождей, и тень – роскошь. Многие уезжают в Канаду – там сохранились тургеневские места, а в России теперь бессмысленный бунт, и, похоже, в следующем столетии там Чехова уже не станут “проходить по программе” – и слава богу: одним недоразумением меньше. А

для чеховских текстов нет ущерба – читателей не прибавилось и не убавилось: кто читал, тот и читает – в мире живых душ есть свои законы сохранения “имеющих уши”.

Один знакомый человек сказал мне, что “упреждает одиночество”: при появлении предчувствия душевной печали бросает себя в суету, что специально припасена для этой цели, и потому всегда под рукой... и забывается в ней... Что ж, пожалуй, это проверенный рецепт лекарства для биологического оптимизма. Должно быть, многие связи между людьми возникают из энергий “упреждения одиночества” и честно работают, воспроизводя *суету* – самый дорогой в мире наркотик, если оценивать его качественно, и самый дешевый – если количественно. Мой знакомый активно занят “молодёжной литературной деятельностью” (для меня это словосочетание лишено смысла), и вряд ли отдаёт себе отчёт в том, что поставляет пошлость в прошлое столетие, потому что в нынешнем она пролилась через край и течёт вспять – к трём сестрам и далее: к бедной Лизе и мадам Бовари, а доктор Фауст просто утонул в своей чаше предков: всё-таки, как-никак, но история развивается с некоторым перепадом уровней, и Чернышевский в компьютерном мире уже... не *чернышевский*.

Я теперь много пишу. Это мой новый способ общения с миром. Все другие попытки стоили слишком дорого – на них

ушли жизненные силы, и больше нечем платить за недоразумения. Я предлагала любовь, закон, веру – тоже, должно быть, упреждала одиночество – суетилась, платила... платила... потом не стало чем, но так уж вышло, что я не испустила дух, а ушла в тексты – мол, общайтесь со мной посредством слова, а руки не распускайте. Должно быть, это нормальный ход вещей – не могла же я возникнуть орущими скрижалями непосредственно в роддоме города N... не могла, увы, и опомниться раньше – в чуждом мне мире, где точки над *i* закатываются в сизифовых трудах.

Немилосердный век. Не сумевшие “пережить желания и мечты”, всё резвей и резвей гоняются за счастьем, и “молодёжи” – кто ощущает себя так экзотически – ничего не остаётся, как плестись в хвосте геронтологической очереди за оптимизмом.

Знакомая школьница пишет работу по истории “Возникновение христианства – случайность или закономерность?” Впрочем, ничего она не пишет, а мечтает о любви, как бывает у *молодёжи*, так что... *христианство* – закономерность, как и иудин поцелуй Аделя...

Маша, Ольга, Ирина, скажите на милость, зачем вам Москва? Зачем вы пили чай с барышней, у которой зелёный поясok на розовой талии? Неужели не было очевидно, что это не к добру и окончится её Бобиком в вашей комнате?

Брат Андрей, неужели всё Ваше христианство воплотилось в рождественском гусе с капустой? То есть, если бы не съеденный Вами гусь, не сытая дрёма, то... и не обокрали бы Вы сестёр, заложив общий дом и прикарманив деньги? Кто придёт через сто лет расхлёбывать ваше послеобеденное смирение, сёстры и братья? Внуки Бобика?

Христа ради, скажите, зачем вам Москва? И при чём тут Иерусалим?

“Если бы знать... если бы знать...”

Дорожки белокаменные вокруг моего дома похожи на раскопки древней крепостной стены. Теперь осень, а весной они утонут в траве и перестанут смущать схожестью со стеной плача.

“Много знаний – много печали”... “мысль изреченная есть ложь”...

Ольга, если бы Вы *знали*, то не стали бы пить чай с зелёно-розовой барышней? Андрей, Вы отказались бы от послеобеденной любви? Не знаете? Тогда почему так печальны ваши *незнания*, сёстры и братья? Почему так невеселы ваши иллюзии?..

Мой дом в рукотворном белокаменном периметре перемещается в пространстве и времени со скоростью моей мысли. Иногда он плавно парит в потоке сознания, иногда пада-

ет в пропасть безумия...

Одна девушка мечтала иметь трёх дочерей, которых бы она назвала Ольга, Ирина, Маша. А сыновей? Можно назвать Каин и Авель, – не правда ли, романтично: “Каин, где твой брат?” И ещё чудная идея – назвать сыновей Иван, Дмитрий, Алёша. Три сестры... три брата... сёстры и братья... «вставай на смертный бой!»... – спаси Бог, не хочу быть более “сестрой” – ни в безысходном трио, ни в полном барабанном составе, ни даже в сольном исполнении – исчерпала запас смирения...

Лучше я расскажу, как радостно вешать чистое бельё под тёплым свежим ветерком – у меня только что выключилась стиральная машина. Милая, чудная... она без хлопот освобождает меня от стирок – без двумыслий и унижений – по милосердному закону о прямой и обратной связи: когда я плачу за электричество и свято соблюдаю инструкцию, то она стирает всё, что мне надо...

“Слово произнесенное есть ложь” – но не в смысле обмана, а *дистанции* между подуманным и произнесенным, между живой мыслью, что ушла далеко по своему пути, пока я записывала её, и её отблеском, остановленным в мгновении – “между собой и собой”. На бумаге осталась тень, и нужно искать другие слова-обманы, чтобы не затеряться на своём пути...

1998 г.

Жили-были

В моём адресе нет улицы, а только название деревни и номер дома. Наша деревенька видна на картах, сделанных из Космоса – сотня черепичных крыш и двory по шесть соток. Она расположилась на склоне Иудейских гор, на границе с пустыней Негев. Дом – мой, но Земля – не моя, а взята в аренду на 49 лет. Впрочем, впоследствии я могу перезаключить ещё один договор на 49 лет, а потом ещё на 49 и т. д.

Иерусалим, моря: Средиземное, Красное и Мёртвое – озеро Кинерет и Иордан – в нескольких часах пути по разным сторонам света. Ещё ближе находятся границы моей страны, а за ними нет ни Юга, ни Севера, ни Запада – сплошной Восток. Мой Мир изнутри больше, чем снаружи. Он похож на кроличью нору в сказке Люиса Керрола про «Алису в стране чудес», и путь в себя – единственный достойный выход.

Хитрый и увертливый Восток начинается у порога, откуда видны все восходы солнца и луны. Слава Богу, небесные светила неизменны и бесхитростны. Появляются утром из-за холма на горизонте, а вечером закатывается на западе – за фиговое дерево и маслину – прямёхонько во двор к соседям – там обитают южноафриканские фермеры родом из Голландии. Восемь душ детей – двухметровые голубоглазые викинги, работающе-бестолковые, хитроватые и добродушные, слу-

шают музыку «кантри».

Половина моих соседей родом из России. Часть из них приехала в семидесятых – после лирической «оттепели», которая случилась в больших городах СССР. Они приехали в Палестину за «туманом и запахом тайги», и, как это ни парадоксально, но их фантазии материализовались лесами из сосен, кедров и пихт. Правда, теперь, в 2007 году, романтики уже мало отличаются от прагматиков девяностых. Обустроились, работают, машины среднего класса – европейские и японские. Стараются дать детям образование, путешествуют по стране и миру.

Жить можно, вот и живём. Под ногами – Земля, Небо – над головой. Пчелы жужжат в кустах розмарина, голуби и воробьи обживают крыши. Скворцы зимуют у нас, а летом летят к вам. Домашние кошки – вальяжны и ухожены, а бездомные – проворны, боязливы и отчаянны. Люди тоже.

Деревенька расположилась на окраине холмистой долины – 700 метров над уровнем моря, и спускается ярусами к лесу, садам и виноградникам. Здесь всё высажено руками, и к каждому корню подведена вода. Земля каменистая и бедная, постоянно нуждается в корме. Над садами, начиная с сезона цветения, раскрываются сетчатые шатры, чтобы спасти урожай от птиц. Апельсины и лимоны растут ближе к Тель-Ави-

ву, а у нас – яблоки, персики, черешня.

В прошлом году соседи взяли в аренду поле – сразу за деревней, и по голландским технологиям выращивают пеоны – белые и красные. Работы выполняют нелегалы из Таиланда. Они двигаются по полю вприсядку, опускают в ямку удобрения, луковицы цветка и трубочки с капельницей для полива.

За полем пеонов – территории, и в трех километрах – арабская деревня. На границе в этом году отстроили «забор безопасности». Стена из толстой проволоки с торчащими вверх штырями проползла, извиваясь змеёй, и мы не очень понимаем, куда она и откуда.

На той стороне – иной мир, иные люди и иные песни. Песни эти теперь уже знакомы всем, имеющим уши, чтобы слышать. Но приходится признать, что мы «таки» – крайние в этой истории. Перед восходом солнца доносится голос муллы из мощного динамика – «из-за бугра» в полном смысле этого слова. А вслед, под моим окном на ветке акации спронеья кричит Синяя Птица. Она в два раза меньше воробья, с клювиком как у колибри, пьёт цветочный нектар, но голос у нее совсем не ангельский, а вроде Трубы Иерихонской, и если бы у нее был динамик, то звук сокрушил бы всех библейских врагов.

– А мы?

– Мы тихо и упорно слушаем Баха, Моцарта и Шопена, Миллера, джаз и русские романсы.



В нижнем от нас ярусе живут старожилы: добропорядочная и работающая семья архивариусов из Венгрии. По субботам они собираются четырьмя поколениями и играют в лото. Через дорогу – семейство марокканцев, добродушных с виду, но доверять им нельзя – там родовые порядки не в пользу чужаков.

В семье врача из Саратова случилась драма – кормилец отобрал у супруги кредитную карточку за излишние траты. Его можно понять – при покупке дома его жестоко ободрали, доведя до инфаркта. И теперь он болезненно относится к денежным операциям.

Нас тоже пытались надуть, но мы отбились, проскочив между Сциллой и Харибдой чиновников и адвокатов.

Дочь дантиста из Курска вышла замуж за ортодокса. Тот завёл такие порядки, что за один стол сесть было нельзя с родными внуками, не испрося благословения у зятя. Отец пытался призывать к здравому смыслу, но вышло безобразие и обида на всю оставшуюся жизнь, а внуки потеряли любящего и преданного деда. Доверяя мне свою печальную семейную историю, здоровенный мужичина плакал и приговаривал, что «религия – опиум для народа»

Я побывала в Париже, а также в Лондоне, Праге, на острове в Эгейском море и иных привлекательных для воображения местах, и узнала, что везде живут люди. Некоторые хорошо, некоторые – плохо, но большей частью – полосато.

Хорошо дома. Мы старались-старались, как поросята из сказки – строили-строили, но волк плевал и дул на наши сооружения, и приходилось опять и опять начинать сначала. Наконец, построили, с Божьей помощью. И даже дорожки из камня по периметру сделаны собственными силами.

В доме большой салон (метров сорок) и три спальни. Кухня, туалет, ванная, веранда. Веранду отстроил сосед – геолог из Ленинграда. У него золотые руки, и он – порядочный человек. Если Вадим назвал цену, значит можно платить и не думать – глаз-алмаз и лишнего не возьмёт. Оправдывать доверие в денежных вопросах – лучшее, что придумали люди, и дорогого стоит, вернее, бесценно – столько экономит сил, времени и чувств. И как приятно сидеть на веранде, на которой не был обманут ближним... и как приятно приглашать ближнего на чай, зная, что он – честен.



– «Ах, если бы знать» – восклицает чеховская героиня...

– «Учись, мой сын, – науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни» – поучает сына Пушкинский «Борис Годунов»

Не знаю, как вам, но мою душу, когда она попадает в хаос беспредела, согревает чтение умных книг – словно в родной дом возвращаюсь. Попробуйте перевести фразу «Наука сокращает опыты быстротекущей жизни» на любой иной язык – ничего не выйдет. (имеется в виду одной фразой не выйдет) Но в этом высказывании закодирована суть «образования», и это так значительно и важно для человечества, что только ради этой фразы Господь пощадит русский язык. В разгуле стихий держитесь за мысль Гения, она просветит и спасёт.

Литература – особая история – история души. В своём скудном багаже, состоящем из нескольких чемоданов, мы везли учебники, словари и художественные книги. Затем пережили издательский бум, наступивший в девяностых, покупая авторов и издания, бывшие на слуху, но недоступные во времена макулатурных талонов. Вместе с тем, оказалось, что мы по доверчивости и незнанию изрядно нахватались ерунды... Новорожденная словесность, лишенная иммунитета, желтела, краснела, страдала невменяемостью и припад-

ками агрессии.

Сплетни «ткачихи, поварихи, сватья Бабы-Бабарихи» последних десятилетий ждет очередной макулатурный конец – люди кинутся очищать свои дома и души от мусора, и за двадцать килограммов эпатажной ерунды, можно будет приобрести заветный томик «разумного, доброго, вечного».

* * *

Дом и участок были заброшены, двор зарос колючкой, да и сам дом изрядно запустел, но наш энтузиазм его преобразил. Обустроили на европейский манер. Стены обклеили светлыми обоями, картины нарисовали сами маслом – натюрморты в стиле малых голландцев, фантазии на темы Шагала и Врубеля. Оказалось, что стоит только попробовать, и получается. К тому же, самодельные картины греют душу и дороги для памяти.

Мебель частично покупали по каталогу, что в два и более раз дешевле.

Например, письменный стол из натурального дерева обошелся нам в сто долларов. Его прислали в разборном виде с чертежом «сделай сам». Повозились час – другой, и вышло отлично. Все детали оказались подогнаны, а болтики пришли по размеру и даже клей, необходимый в установке вы-

движных полок, оказался именно таким, как в инструкции.

Многоуважаемый Шкаф для книг я выбирала лично, чтобы не стыдно было поставить в него собрание сочинений Антона Павловича Чехова.

В магазине итальянского ширпотреба нашла вещь достойную классики: основательность плюс изящество формы по сходной цене. Там же, не удержавшись, я купила и сундук. Установили в нише перед входной дверью, над ним повесили холст, на котором в языках пламени парил китайский дракон. Наш семейный очаг переместился на холст, и его сторожил домашний божок, которому отныне доверили хранить наш рассеивающийся род.

* * *

Восток – воистину хитёр. В отличие от прочих сторон света, Восток бывает Ближним и Дальним. Впрочем, географические координаты относительны. Известно, что земная ось смещается, а Ближний и Дальний Восток медленно, но верно уплывают друг от друга. Это научный факт. Иорданская Долина с Мёртвым Морем, расположенным на отметке 400 м ниже океана – геологический разлом в теле земного шара. Так что, мой домик стоит на краю Ойкумены. И на его пороге встречаются две огненные стихии – Дракон и Солнце.

Горячая точка на политической карте плюс разлом – не самое лучшее место для домовладения. Бесспорно, что где-то, где нас нет – лучше.

Но Синяя Птица вьёт гнездо на желтой акации и пьёт сок из чашечек бугенвиллий, а рукотворный Дракон на пороге бесстрашно встречает Солнце.

... продолжение следует...

2007 г.

Эскизы

*"Дьявол играет нами, когда мы не мыслим
точно"*

М. Мамардашвили

К читателю

С тех пор как возникла письменность «прописные истины» переписывались множество раз, приближаясь к истине или удаляясь от неё. Моя жизнь происходит в мире, который, подобно часовне из гоголевского рассказа «Вий», переполнен нечистой силой. Я родилась в советской мифологии и знала о себе и о жизни не более, чем гоголевский герой Хома. Он, чтобы спастись, очертил вокруг себя мелом мистический круг, я же ищу спасение в этических принципах, вновь и вновь переписывая текст «Эскизов». Может быть, моя защита призрачна, как и меловый круг, но иной я не знаю.

В «Эскизах» я описываю своё представление о Мире и человеке, о жизни и смерти, добре и зле в ритме своих мыслей и своей судьбы, которая сложилась в России и Израиле. Я не профессионал ни в одной из гуманитарных наук, пишу на разговорном языке, и если использую слова-символы, такие как «бытие», «покаяние» и т. п., то стараюсь избегать пате-

тики, которая традиционно присутствует в теме о «высоких материях», пытаясь формулировать смысл слов. Думаю, что при той девальвации смыслов, которую переживают сейчас люди, говорящие по-русски, это необходимо. Слова, используемые бессмысленно или лживо, теряют свои значения. Создавать прозу на деградирующем языке так же трагично, как рожать ребёнка в нищете и болезнях. Можно, конечно, отказавшись от попыток разумного общения, умолкнуть, обронив напоследок: «я знаю лишь то, что ничего не знаю», но эта декларация столь же претенциозна, как и всезнайство.

Моя проза началась поэмой “Жизнь и приключения провинциальной души”, в которой я рассказала историю мысли и любви женщины, живущей во второй половине двадцатого века. Думаю, что “провинциальность” – это состояние выживания на окраине своей судьбы. Чтобы вернуться в центр своей жизни, пытаюсь моделировать Мир, в котором живу. Это занятие отражено во всём, что написала: рассказах, пьесах, эссе. Думаю, что создание теории о мире – не сверхзадача, а нормальный образовательный процесс, свойственный живому уму.

Я отдаю себе отчёт в том, что комментарии к Библии, возникающие в моём тексте, – не более, чем размышления на тему классического сюжета, и не претендуют на теологические исследования. Читаю в Библии: “И сотворил Бог человека по образу Своему: мужчину и женщину...” Позволю себе безответственное предположение, вернее, поэтический

образ: Адам – существо историческое, а Ева – мистическое, а в совместном диалоге они «половины» единой природы человека разумного – носителя этического начала.

Увы, почти все известные мыслители – мужчины, но агрессивный социум, материализовавшийся из их одиноких мыслей, может быть окультурен лишь в диалоге с женщиной. Думаю, и история в масштабе человечества не может быть осознана вне бытия Человека: мужчины и женщины.

Мои размышления могут быть интересны тем, кто пытается жить осознанно и ищет опору в нравственных нормах. Чтобы не увеличивать размер текста, я пропускаю словосочетания: «как мне кажется», «я не уверена», «может быть», но читателю не следует забывать об их присутствии во всех моих размышлениях.

Я завершаю эссе не потому, что работа над ним окончена, и я довольна результатом, но потому что, как мне кажется, у прозы – своя жизнь, а у автора – своя, и нужно уметь однажды разделить, поставив точку. «Эскизы» стали историей моей мысли последних нескольких лет, которая двигалась, видимо, в своём природном русле и нуждалась в прозаическом опыте.

30.11.03.

Вечные вопросы бытия... Их цепочка свёрнута в виде спирали, и если удаётся пройти один виток, то неизменно возникает новый: “Кто Я? Зачем пришёл в этот мир? Куда иду?” Без ответа себе самому человека безысходно кружит в

обстоятельствах, которые кажутся ему фатальными...

Нет такой жизненной ситуации, от которой человек не мог бы отвлечься с тем, чтобы спросить себя: “В чем смысл происходящего со мной? Что значат обстоятельства, от которых так зависим?” Способность видеть себя вне рока места и времени, в которые забросила судьба, – качественный признак Человека разумного.

Быть человеком – значит осознавать себя – видеть себя “со стороны”, выделять себя из контекста своей судьбы, контролировать себя – быть в осознании себя: своих чувств, тела, истории и социальной ситуации, своих решений и поступков. Мир требует от человека адекватности – разумности, и в этом требовании Мир «жесток» и не может стать «мягче» – для «мягкотелых», желающих счастья и благополучия вопреки законам природы.

«Счастье», «благополучие»... «Смысл жизни»...

Жизнь – данность (реальность?), и её смысл, возможно, сформулирован где-то в бесконечности – на кончике спирали всех ответов – в дали, недостижимой для земного срока человеческой жизни. Но жить приходится сейчас – в каждое мгновение, ещё не ставшее историей. Необходим компромисс – убеждения, которые, не претендуя на истину в последней инстанции, могли бы служить опорой для ответов на насущные вопросы, то есть, необходим некий эскиз, дающий реальное представление о Мире, поэтому я и назвала свой

текст "Эскизы".

Принципиально, чтобы такой рисунок изначально предполагал возможность своего развития – переосмысления. Пусть набросок будет прост и безыскусен, но не примитивно схематичен. Мир – сложная система, и мировоззрение должно быть адекватным его устройству: направление мысли должно соотноситься с системой координат Мироздания. Пытаюсь моделировать Мир, в котором живу, чтобы "не навредить" – не войти в безысходное противоречие с природой. Думаю, человеку разумному предназначено создавать модель бытия, которую он мог бы развивать и строить, реализуя в своей жизни.

Само слово «смысл» подсказывает ответ на вопрос о «смысле жизни»: **ЖИТЬ С МЫСЛЬЮ**. Смысл жизни – в жизни осмысленной – «бытие». Эта тавтология сродни аксиоме в математике. Как известно, доказательство любой теории вытекает из аксиом – утверждений, принимаемых на уровне «веры» или убеждения, или принципа, или жизненной позиции, из которой исходят цепочки размышлений и поступков, формирующих жизнь.

Вера может быть рассудочной (модель) и безрассудной (культ). Я верю в разумное начало жизни, воспринимаю жизнь в движении своей мысли. Вместе с тем, я исхожу из мысли, что ткань моей жизни сплетена, возможно, не только мной, однако, овладев доступными мне инструментами, я могу попробовать сама сшить из неё платье так, чтобы оно

пришлось мне по душе.

Я исхожу из утверждения, что «жизнь» – высшая ценность, а жизнеутверждающий этический принцип – основа разумного диалога с Миром. Пытаясь принять свою жизнь, я должна принять и закон, защищающий жизнь.

Этика, основанная на заповеди «не убий», известна как гуманистическая. Жизнь – в системе координат гуманного миропонимания – суть “добро”, а смерть – “зло”. Любая социальная структура, построенная вне этой позиции, вынуждена принять иную. Что может быть альтернативной аксиомой? – “Убей”? Но смерть безысходна, что отлично понимают идеологи и организаторы смертников, демонстрируя чудеса собственного выживания.

Что может служить альтернативой бытия – жизни в осознании?

Жизнь бессознательная – безумие? Безразличие и равнодушие к миру и его законам? Абсолютная, не знающая сомнений вера? Культ бессмыслия? Фанатизм? Суеверие? Нигилизм? Цинизм? Безверие, безответственность? Фатализм?
???????

Что стоит за всеми этими вопросами, и есть ли на них ответы?

Мир – многомерная система, и невозможно ответить на «вечные вопросы» схематично, перенеся их на плоскость «образа мира». Возможно, что «вечные вопросы» – сами по себе – ценность, что они – вешки на пути движения мыс-

ли и являются исходными точками на жизненном пути. Может быть, задаваясь вопросом о смысле жизни, человек тем самым реализует свою свободу выбора, обозначает согласие принять своё Бытие – Быть Человеком? Может быть, формулируя Вопрос, человек тем самым отвечает самой Жизни, задающей ему свои вопросы, подтверждает свою способность слышать и отвечать, вести Диалог с Миром, соучаствовать в меру своего предназначения.

Если принять, что смысла человеческой жизни нет вовсе, что Мир безразличен или даже враждебен человеку, то, может быть, и вправду, проще не задумываться – «не быть и видеть сны»? Между тем, заброшенные информационные поля зарастают сорняками, образуя дикие острова и континенты – возникает социальная карта мира, которая лишь условно ориентирована на стороны света. Определение «ось зла» – не только риторика, но и вполне реальный социальный вектор, направленный в сторону подавления разума.

«Кто бы мог подумать, что СССР развалится?» – Никто... из тех, кто задаёт этот вопрос...

Что происходит с человеком, которому довелось жить бездумно «долго ли коротко... в некотором царстве-государстве». Что происходит с человеком, теряющим внутреннюю связь с Большим Миром? Должно быть, его Внутренний Мир сиротеет, пустеет, омрачается, душой овладевает ощущение безучастности, тоски и одиночества.

Все порядки, оторванные от Миропорядка – от «Ваала» и «Сталина» до жестких личных связей и зависимостей от собственных комплексов и штампов – не самостоятельны. Жесткий порядок тяготеет к тоталитаризму, и, в конечном счёте, разрушает сам себя. Созданные им системы поддерживают не бытие человека и даже не его выживание, а упрощения своей структуры и её механического ритма, который ещё долго тикает в доме, в котором уже никто не живёт. Замкнутый на себе, зацикленный, безысходный порядок поглощает всплески индивидуальности, лишая человека способности понимать происходящее с ним. Человек, ощущающий себя «как все», не знает своей индивидуальности – не может узнать себя. Он не способен выделить себя из «массы», не видит своей жизни вне социальных форм. Чувствуя дискомфорт, он пытается изменить «форму», но суть остаётся ущемлённой, и потому перемены не приносят ожидаемого.

Не зная законов Мира и Жизни, не зная себя, не сложив своего мировоззрения, не наладив диалога с Миром, человек воспринимают естественный ход жизни, как насилие над собой и посягательство на опору своего существования – свою веру в то, что можно жить бездумно. Результаты волшебных верований материализуются бесчеловечной жестокостью, которая вторгается в жизнь без спроса.

Вернёмся к началу

Недавно услышала слова: "Нужно уметь не только решать проблемы, но и жить с проблемами". Теперь нужно подумать, что считать проблемой – саму жизнь или её восприятие. Думаю, что моя жизнь – данность, которую я не выбирала, и мне придётся жить, пока я не умру. Но в восприятии жизни (вот вопрос!) содержится моя свобода. С реальностью нужно уметь мириться, но её восприятие можно «решать». Моё решение – в поиске адекватности моего восприятия реальности. Ведь от того, ЧТО человек слышит и КАК он понимает свою реальность, зависит его «ответ» – поступки, определяющие жизнь. Чтобы примириться с реальностью, нужно её познавать. «Смирение» я понимаю не в бездумном подчинении, но в осознании и исполнении жизни. Мне приходится «смириться» с тем, что разум, похоже, не всесилен, как и с тем, что добро далеко не всегда побеждает зло, во всяком случае, в рамках моей жизни. Но это не значит, что я согласна отказаться, пусть, от малой искры своего сознания, чтобы подчиниться безумию, как бы велико оно не было.

Я понимаю, насколько слабы мои попытки приближения к истине, заживо погребённой под грудой пророчеств и штампов. Я никогда не узнаю «истины», которую не знает, возможно, и Создатель, но могу постараться не лгать самой себе, хотя бы, когда ловлю себя на том, что иду на поводу дур-

но воспитанной или уставшей психики, подавляющей разум ради мгновения иллюзорного комфорта. Не однажды я уличала себя в манипуляциях с самой собой, когда моя психика «устраивает сцены» и вымогает у разума милостыню – и плачу... стараясь, впрочем, чтобы мои слабости не были оплачены с чужих счетов.

В жизни нет общего решения – каждому приходится выстраивать личный компромисс и самому платить за него, но закон жизни – Один для всех, и Его нужно знать. Для успешного решения "проблемы восприятия" необходима система координат: опираясь на аксиомы, двигаясь по тропинкам причинно-следственных связей, человек создаёт теорию о Мире – сеть дорог в информационном хаосе – культурную информационную структуру.

Все созданные когда-либо теории в самых разных областях разумной деятельности: физике, химии, биологии, медицине, астрономии, этике, истории и т. д. – в конечном счёте – составляющие одной жизненно важной теории – о МИРЕ и о ЖИЗНИ. Мировоззрение – видение мира, его осознание. МИРОСОЗНАНИЕ – мир и сознание – разумная жизнь. Живое стремится к жизни и реализует своё стремление разумно – в осознании себя – своего бытия... Человек разумный способен строить виртуальную модель мира и реализовывать себя относительно своих построений. Не стоит ставить перед собой задачу вселенского масштаба. Достойная цель – модель собственной жизни.

Быть – осознавать себя, свою жизнь. Разум проявляется в способности работать с информацией – мыслить. Информация – сведения, которые несёт о себе мир в самых разнообразных формах. Чувства, эмоции, интуиция присущи человеку не только для переживания, но и для работы с ними, как с источниками конкретных данных, необходимых для решения задачи своей жизни. Жизнь тестирует человека на его разумность, и Мир принимает или отвергает человека настолько, насколько он выдерживает это испытание. Б. Шоу сказал, что для жизненного успеха нужно думать хотя бы десять минут в день. Может быть, человеку, рождённому свободным, и достаточно нескольких минут, чтобы осветить свой день, но рождённому в рабстве нужно напрягать свои мозги куда интенсивней.

Разум нельзя потрогать, увидеть. Он проявляет себя лишь опосредованно – достойной жизнью. И неразумность материализуется следствиями – хаотичной цепочкой разрушений: в истории человечества – войнами; на личном уровне – крушением судьбы; экологическом – уничтожением природы...

Человек рождается с “предварительными” знаниями – предчувствием истины. Интуиция – уникальный источник информации о мире – «внутренний голос»... Мне представляется, что “дерево познания добра и зла”, запретный плод с которого был съеден Человеком, был дичком... Дикий плод познания – интуитивного, ещё не осмысленного, но уже до-

статочного, чтобы ощутить стыд, как основу душевной природы, как первобытную совесть. Стыд изгнал человека из Рая, где он был подобен животному, и с тех пор каждый ищет своё счастье – свой рай. Одни, отбросив стыд и проклиная разум, уподобляются скотам, что множит "пустоту жизни", лишая их человеческого счастья. Другие стремятся развить свою душу с тем, чтобы не погиб живой росток человечности. Совесть – осознанный стыд – сознание высокого уровня. Она – камертон, способный гармонизировать сумятицу чувств и мыслей. Почему один откликается на душевный зов, а другой – нет? ...Пытаюсь понять, выстраивая ряд из фактов, ассоциаций и сомнений, разрушающих собственное построение. Что остаётся? Стремление понимать... жизнь... эскизы...

К Достоевскому часто обращаются, рассуждая о вседозволенности в отсутствие бога. Можно развить мысль в противоположном направлении: «если бога нет», то напротив – и вовсе ничего не «дозволено»?

Между «всё» и «ничего» – свободное пространство для мысли. Что до реальных поступков, то они регламентированы человеческой природой, и слова «что для русского хорошо, то немцу смерть» – не более, чем анекдот: и «русскому», и «немцу» хорошо и дозволено исполнять общие законы жизни.

В стихотворении Лермонтова «На смерть поэта» есть слова: «поэт – невольник чести». Пожалуй, эта фраза говорит

об отличительном признаке не только поэта, но и человека. Разум нуждается в свободе, но не от совести. Важно не спутать разум с хитростью, свободу – с изворотливостью. Хитря и изворачиваясь, человек извращает свою природу. Говоря о «свободе совести» имеют в виду её подавление некими социальными силами. Думаю, совесть уязвима изнутри – человек сам уничтожает свою совесть, вынуждая её молчать, заглушая, топя, обманывая и т. п. Собственная совесть – первая жертва любого преступления.

Совесть позволяет ориентироваться за пределами сиюминутных обстоятельств, и если совестливый «не убивает и не ворует», то не только из страха перед немедленным наказанием, но подчиняясь требованию самой жизни. Совесть – не условность, но условие жизни, подобное зрению, обонянию. Все чувства определены сознанием – человек и видит и слышит умом, но, в отличие от всех чувств, совесть не имеет своего видимого устройства – особого органа, подобного ушам или глазам. Вернее сказать, что устройством совести является сам человек.

Вернёмся в начало...

«И сотворил Бог Человека – Мужчину и Женщину». В легенде о Рае плод «познания» сорвала и первой надкусила Ева. Увы, женщины не сумели сформулировать свои “предварительные знания”, и это сделали мужчины. Но однополая

мысль, воссоздавая саму себя, обречена на схоластику, что и демонстрирует современная наука с названием «философия». Это слово переводится с греческого, как «любомудрие» и изначально соединяет человеческие свойства – любовь и разум – в одно целое, подобно тому, как сущность «человек» соединяет в себе мужчину и женщину. Господь создал две природы человека: мужчину и женщину – и люди, стремящиеся к благополучию, обязаны поддерживать диалог своих природных начал. Гармония не возникает от вульгарного «равноправия» в любой из плоскостей – социальной, сексуальной или любой иной. От того, что женщины и мужчины изменяют своему естеству, возникнут иные монстры, которые и продолжат войну «за равноправие».

Прочла у советского философа М. Мамардашвили, что "осознание жизни – судьба". А жизнь бессознательная – тоже судьба? Когда человек не задумывается о себе, своей жизни, о мире... – это его выбор или роковое свойство? “Я стараюсь не задумываться... живу одним днём...” ...И получается – получается... не быть? А если постараться мыслить – тоже получится? Может быть, тот, кто может не думать, просто не имеет выбора – не может иначе. Его мысли, скорее, похожи на чувства или предметы и вместо душевной ясности приносят смутную тревогу, раздражение, страх перед неизвестностью? Может быть, жёсткое предъявление требований вместо разумного диалога – деспотия вместо демократии – фа-

тальная обречённость? А «тиран» и «раб» – ипостаси “человека НЕразумного”? Принять версию присутствия в одном обличье человека разных по своей природе существ значило бы для меня то же, что принять существование в едином мире “бога и дьявола”, от чего отказалась в начале своего построения. Это значило бы согласиться с тем, что в человеческом облике сосуществуют люди разумные и нет, а значит, никаких общечеловеческих ценностей нет, и мои эскизы – мираж... Но допустим, что это так – стану ли я вести себя иначе? Нет, но моё одиночество, потеряв опору в мысли о высшем разуме, усилится бесконечно, и мне будет трудно справиться с ним, потому... пишу «эскизы»: своё жизнелюбие я могу реализовать лишь в культурной среде, которую приходится воссоздавать самой, в меру собственных сил.

Принимаю аксиому о том, что разумность – способность к осознанию своей жизни – принципиальный отличительный признак человека, суть его природы. Свойства ума у людей различны, и обстоятельства судьбы бывают милосердными или жестокими, и они развивают или развращают разум. Развращённость души далеко не всегда выглядит свирепо, у неё есть и традиционно симпатичные лики: наивность, доверчивость, простодушие. Однако, "простота хуже воровства", и зло в овечьей шкуре коварнее, чем в волчьей, а потому опасней. Человека, стремящегося в рай «на голубом глазу» можно остановить только механически. Он подобен роботу, реа-

гирующему на чувственные удовольствия. Неокультуренный разум трансформирует природный ум в хитрость, бережливость – в жадность, целеустремлённость – в наглость, чувство собственного достоинства – в тщеславие и прочие свойства развращённой натуры. В природе нет более вредного существа, нежели человек неразумный. Его выживание сродни агонии того, кем бы он мог быть, если бы сумел образоваться по своему разумному предназначению.

Как быть? Глупость предъявляет ультиматум: "Ты же умнее, так уступи", и, увы, уступают: "И в этот жирный век достоинство должно просить прощенья у порока" – читаю у В. Шекспира... Да только отступать некуда... разве что – в судьбы своих детей и внуков, тесня и сминая их жизни. Увы, индальгенции и иные льготы по родству-знакомству, из милости-жалости, по доброте-мягкости и из прочих ангельских побуждений и пожеланий множат двойные стандарты, в которых и запутываются «ближние». Одна женщина, которую ударила её внучка, сказала: «Когда дело касается внуков, приходится прятать свои принципы в зад». Что ж, это не сложно, если принципы ничтожны, а зад велик. Разумеется, эта женщина не решила таким способом проблему «отцов и детей», агрессия в их семье всё усиливается, а она и её внучка страдают. И как не страдать, когда нравственность заживо погребена в заду у предков: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» (М. Лермонтов, «Ду-

ма»))

Технологии подавления разума развиты издревле: разрушать – не строить...

Читала, что среди древних языческих культов, известных в Ханаане времён Авраама, был обряд физиологических отравлений перед родовым идолом. Мне представляется, что он возник, как демонстрация отказа от естественной в интимной надобности стыдливости, требующей уединения. В этом ряду и феномен советской уборной – общественных туалетов, в которых человек был обречён страдать и душой, и психикой, и животом. Думаю, все культы и «понятия» – от древних до современных, имеют общую основу и реализуют себя по одной программе, подавляющей природу души. Действие её таково, что в культовом сознании «срамное место» – не то, что прикрыли фиговым листочком Адам и Ева, но душа. Обнажая интимные места, современные язычники прикрывают душу фальшивой заумностью или, столь же фальшивой свирепостью: нигилизмом, мистицизмом, цинизмом, грубостью или сентиментальностью – по обстоятельствам.

Сентиментальность – нарочитая чувствительность, наигранная душевность. В условиях жесткого выбора она естественным образом трансформируется в цинизм. Сентиментальный ограбит, и, цитируя Достоевского о «слезе невинного ребёнка» – со вкусом прослезится и сам. Цинизм – наро-

читое отрицание общепринятых нравственных (этических, моральных) норм и здравого смысла. Реклама успешности Хама работает, и вполне добропорядочные и от природы со-вестливые люди надевают маску «героя своего времени» по моде, чего бы не сделали, возможно, если бы знали, что это чревато драматическими метаморфозами в характере, миро-ощущении, судьбе.

Думаю, самое ценное, что может дать человек человеку – адекватные ориентиры в жизни: полюса добра и зла, отно-сительно которых он – сам – может строить и свои эскизы, и свою жизнь. Без виртуальной модели себя самого и своих обстоятельств человек ставит на себе опыты как над живот-ным – гонит себя по жизни (если энергии много) или бре-дёт по ней с закрытыми глазами, огрызаясь на мир. Человек разумен, поэтому, в отличие от животного, должен строить свою жизнь не только по жёсткой программе, заложенной в его психофизической природе, но и сообразуясь с природой своей свободы – разумной души, без которой невозможно ни человеческое счастье, ни, даже, животное благополучие.

Понятие "жизненный опыт" традиционно приравнивают к «мудрости». Но что считать «опытом»? Если эксперимент над своей жизнью, поскольку речь идёт о жизненном опы-те, то должны быть адекватные выводы? В противном слу-чае, какой же это опыт? – цепочка переживаний, теряющих смысл, если они не осознаны. Это всё равно, как если че-ловек поставил бы пресловутые грабли у входа в свой дом

и всякий раз, наступая на них и получая удар по лбу, приговаривал бы, мол, "не бери в голову"... Смысл житейских переживаний нужно извлекать по мере их поступления, не обманывая себя, что, мол, сейчас поживу-поживу как-нибудь на авось, а затем... извлеку нечто, вроде "философского камня", который и принесёт мне настоящее человеческое счастье... потом... как-нибудь... Глупо рассчитывать, что ошибки и страдания накапливаются, а потом трансформируются в опыт, и человек становится мудрее, то есть, количество дури достигает критической отметки и переходит в разумное качество... Разве в медицине путь к здоровью лежит через бесчисленные хвори и болячки? Придёт иное – привычка: «Привычка свыше нам дана – замена счастию она». Увы, можно привыкнуть и к страданиям, и к насилию, утешая себя молитвами – выпрашивая милостыню у судьбы...

С возрастом «привычки» создают «вторую натуру», родную «первой» или чужую, и тогда возникает согласие или конфликт с самим собой – своей природой. "Вторая натура" может стать творением – образованием – себя, а может стать вмятиной на собственной топографии. Как в любом занятии, многое зависит от того, насколько автор владеет культурными технологиями образования человека. Создатель, возможно, даёт каждому при рождении индивидуальность – эскиз его личности, относительно которой человек – сам – может сделать себя. В этом занятии и вижу реализацию смысла жизни. Каждому природа даёт столько ума и сил, сколько

нужно для выполнения его индивидуальной задачи. Каждый может жить по-человечески – в равенстве с самим собой. Но Дар не безграничен и не воспроизводится бесконечно, и то, что утеряно – утеряно. Не знаю, почему человек не принимает свой дар разумности, да только следствие этого таково, что приходится человеку неразумному жить-выживать бездарно, и таких, увы, множество. Их критическая масса разрешается не волшебным явлением Мессии – одного мудрого на всех глупых, а агрессией, которой и переполнен мир... Думаю, первопричина любой агрессии – ощущение дискомфорта, внутреннее раздражение, протест против бессмыслия своей жизни, которое испытывает человек, живущий в конфликте со своей природой.

Вернёмся...

Пусть, тайна бытия непостижима, но это не значит, что нельзя пытаться приблизиться к ней. В моём приближении мне видится, что все, даже самые тайные явления жизни, можно и нужно окультурить, найдя компромисс между “вечным” и “бренным”.

Человеческая культура – разумный компромисс между природами человека: психофизическим выживанием и бытием его души. Культура – умение жить, технологии достойной жизни, плод цивилизации, выращенный из семени разу-

ма.

Культурная позиция – профессиональный подход к самому себе как к материалу, из которого, владея культурными технологиями компромисса души, тела, психики, обстоятельств, социума, можно сотворить человека. Есть принципиальные точки в судьбе человека, когда расслабление чревато крушением – здоровье, образование, профессиональное становление, семья и рождение ребёнка – требуют личного присутствия. Но даже судьбоносные решения воспроизводимы без титанических усилий при поддержке культурных технологий, когда нет нужды каждое утро задаваться очередным роковым вопросом “Как быть”, например, с собственным ребёнком: выпороть его или попытаться объяснить. Второй вариант подсказывается на уровне культурной технологии, как и все ему подобные: украсть то, что плохо лежит, или нет, а может... лучше... радикально – убить? Решать эти вопросы каждый божий день как в первый раз так же утомительно и опасно, как выбирать каждое утро правоили левостороннее движение. Культура работает на человека, освобождая его душу от рутины одних и тех же старых как мир жизненных вопросов.

Приобщение к культуре возможно через образование. Образование – культурная прививка, спасающая от безумия со всеми его разрушительными последствиями. Образование – не временное явление, но состояние, в котором человек пребывает всю сознательную жизнь. Так же как нельзя нады-

шаться или напиться однажды на всю жизнь, так нельзя образоваться однажды – обмен информации подобен обмену веществ, и "духовную жажду" необходимо утолять, но не из "копытца козлёночка", дабы самому не стать козлом.

Если бы я принимала участие в создании технологии «общего» образования, которое недостаточно даже в самых цивилизованных странах, то сочла бы необходимым популяризовать разумность. Нужно принять, что разум – не только сумма знаний, он проявляется не так в знании «предметов», как в осознании объединяющего их универсального закона бытия, исполнение которого – реальное условие достойной жизни. В реальной жизни разум проявляет себя культурой.

Культура – эквивалент разума, его материализация. Человек культурен в меру своего разума. Культуре изначально противостоит дикость, но в современном обществе, скорее, развращённость ума. Это противостояние куда более безнадежно, и оно – «ахиллесова пята» человечества. В современном мире вряд ли есть место для «диких» народов и людей. Человек, одетый в штаны из химического волокна, стреляющий из автомата и, при этом, не отвечающий требованиям Современного Мира с его ядерными технологиями – отнюдь не романтический «простодушный» из сочинения Вольтера, но опасный безумец. Безумие охватывает и отдельных людей, и народы, и весь мир.

Войны третьего тысячелетия происходят не между странами, народами или религиями. Физический террор лишь

наиболее ощутимое проявление современной войны. Не так заметен террор против разума. Безудержное словоблудие, подхлестнутое техническими возможностями последнего столетия, лишает слова смысла. Ничего удивительного, что люди теряют способность к живому общению и уходят в себя задолго до того, как создают свой внутренний мир, пригодный для жизни в достойном одиночестве. Причина агрессии – в нищете внутреннего мира. Внутренние миры, похожие на тюрьмы или пещеры, побуждают своих обитателей к разбою.

Как быть? – Жить... думать самим, не передоверяя свою мысль посредникам. Самому искать смысл жизни, смысл слова. В третьем тысячелетии индивидуальная ответственность за свою жизнь и своё бытие естественным образом вытесняет коллективную. Чтобы избежать агрессии приходится не только пользоваться, но и самому воссоздавать культуру мира, в котором приходится жить.

Культура – мера достоинства человека. И физиология, и слова, и мысль, и даже мечта могут быть культурны или нет. В общественном мнении искусство, наука видятся, как проявление культуры, что далеко не всегда так. Искусство и наука могут быть культурными, а могут быть извращёнными, как все сферы жизни: власть, образование, промышленность, литература, транспорт, питание, медицина, армия, семья, любовь – они могут превратиться в «культ». Общество, в котором «поэт – больше (или меньше), чем поэт» –

бескультурно со всеми вытекающими последствиями этого бедственного состояния. Поэт – «невольник чести»... Но об этом после...

Вернёмся в начало...

Общественные отношения, худо-бедно, сформулированы в юридических законах. Цивилизованное общество стремится к законности и равноправию. Казалось бы, в ещё большей мере культурные нормы естественны и для личных отношений. Отнюдь. Личные отношения, как традиционно «свободная» сфера, формализуются куда трудней и часто отданы на произвол чувств и желаний. Личные отношения – испытание достоинства, разумности человека, его способности к развитию. Прежде всего, «отношения» – закон, объединяющий участников, – общие правила игры. Игра не состоится, если на общем поле один пытается играть в шахматы, а второй – в шашки, или один боксирует, а второй – бьёт ниже пояса. Законы диалога объективны. Люди могут лишь познавать их, и эти знания, если они не ложны, не мешают чувствам, желаниям, влечениям. Без этических норм самые искренние отношения дичают, вырождаясь в зависимость, лишаящую свободы и счастья. Люди, игнорирующие или пытающиеся обойти закон «во имя», пусть, самых «высоких» чувств и идей, оказываются рабами запутанных и мучительных связей.

Часто близкие люди бесцеремонно пользуются друг другом с «простотой» – той самой, «что хуже воровства». Им кажется естественным обращаться с «близким», как со «своим» – своей собственностью, – без церемоний пользоваться его временем и силами по своему усмотрению так, как это было бы невозможно с «далёкими» – чужими... Здесь всё не просто: с одной стороны, форма теснит личные отношения, с другой – бесцеремонность губит доверие, искренность, лежащие в основе естественной близости. В личных отношениях форма не определена так жёстко, как в общественных, но и здесь она существует, и реально обозначена *культурой* личных отношений.

Чувство собственного достоинства, совесть, такт поддерживают то хрупкое равновесие, которое возможно в реальной близости. Они подсказывают, когда можно настоять, а когда уступить, когда обидеться, а когда позволить себе снисходительность, когда сосредоточиться на мысли, а когда испытать чувства. Конечно, близкие отношения не могут быть исчерпаны технологиями, но и не обойдутся без них. И не стоит бояться банальности в отношениях – природная индивидуальность проявит себя полнее в культурной форме, как яблоко у хорошего садовника, а надуманная – всё равно изойдёт банальностями – и в святошестве, и в эпатаже.

В бескультурном (варварском) поле личных «связей» разделение на «злодея и жертву» условно. Самые безысходные и крепкие узы сковывают, как правило, безвольных и рав-

нодушных «товарищей по несчастью» в их совместной деградации. Связи бывают даны по обстоятельствам рождения или безответственно приобретены. Некоторые из них поддаются лечению – окультуриванию, их можно привести в божеский вид – образовать, «выяснив отношения» – прояснив или заново определив общие законы – именно законы, а не чувства, которые всегда индивидуальны. «Одиночество», «любовь», «душа» – в реальном контексте – не аргументы. «Выяснение отношений» – не спор о том, кто лучше или хуже, выше или ниже, добрее или злее, но выяснение общих правил отношений. К сожалению, культура выяснения отношений не развита. Существует представление, что выяснение отношений – занятие скандальное, занудное и всегда неприятное. Что ж, и игра в шахматы может быть превращена в драку, если играющие только и умеют, что лупить друг друга доской по голове.

Убеждена, что отношения могут быть добрыми, свободными только при знании законов и при включенном сознании, которое не прячется за ширмы, не сооружает для себя самого потёмкинские деревни. Искренние отношения возможны, если каждый из участников способен на искренность с самим собой.

Человеческие отношения, как и сами люди, смертны. Нужно уметь уходить и из жизни, и из отношений. Прекращение отношений – последний разумный аргумент, который можно реализовать, когда исчерпаны все иные. Слыша-

ла фразу: "Я уйду тогда, когда ощущаю, что перестал развиваться в этих отношениях". Что ж, возможно, личное развитие – критерий отношений.

У каждого есть его личные границы, которые он не позволяет переступать другим. Не всегда они очерчивают индивидуальный внутренний мир. Часто они замыкают безжизненное пространство, образованное тенями из чужих миров. Думаю, в отношениях внутренних миров лучше всего исходить, как всегда, из реальности: я уйду тогда, когда некто вторгается в мою частную жизнь вопреки юридическим и культурным нормам.

В своих «Эскизах» я избегаю "историй из жизни", потому что они тянут мысль в нравоучения, чего хочу избежать. К тому же я пишу и сюжетную прозу: повести, рассказы, пьесы, в которых мысль, обретая плоть, позволяет извлечь мораль тому, кто в ней нуждается. Вот и сейчас, размышляя о «близких» отношениях, с трудом сдерживаюсь, чтобы не увлечься примерами. Позволю себе поделиться одним наблюдением из американского фильма "Шестое чувство", тронувшим меня отношениями, возникшими и развившимися так милосердно, что они подняли героев над жизнью и смертью. Конечно, главные герои – умные, нравственные люди, но не только это определяет их успех. Где-то слышала фразу "магия общих слов". В начале отношений присутствует «магия», притягивающая или отталкивающая на подсознательном уровне – мистика первого впечатления, собранного из

облика, движений, запаха, звуков – интуитивного восприятия, почти безошибочного, если душа не угнетена, и внутренний голос не умолк. А затем возникают слова, поступки, и они подтверждают или разрушают магию... Вот фраза, которую услышала в этом фильме: "Подумай, чего ты ждёшь от отношений со мной" – сказал мужчина мальчику в начале их дружбы. Думаю, эта фраза – зрелая культура слова – того, что было в начале и прошло свой исторический путь, чтобы прозвучать достаточно внятно для людей, стремящихся к добрым отношениям.

Вернёмся к началу

Грань между живым и неживым – в осознании – работе с информацией (анализе, синтезе) и принятии адекватного решения – в пользу “жизни”. Жизнь – соучастие в системе обмена информацией. Оно обеспечивается разумом и волей – усилием вести себя разумно – думать, говорить, поступать – в унисон, собирая таким простым образом свою жизнь в одно” целое... Убеждена, что именно в этой способности проявляет себя истинное человеческое качество – разумность. Оно – не так в количестве информации и сложности выполняемых операций, но в умении слышать “ля” мистического камертона – “иметь уши”. Если мысли соответствуют словам и поступкам, возникает истинное достоинство человека. Человек, привыкший думать одно, говорить другое, делать тре-

ть, губит себя, единомышленников и сочувствующих. Культурное образование, сориентированное на самооценку разума, могло бы предостеречь человека от душегубства такого рода. Думаю, что ложь – криводушие – в полном смысле этого слова “кривит” душу – уродует её, да так, что исправление подчас уже невозможно. То есть, ложь губительна не только тем, что множит информационный хаос, но и тем, что реально уродует, видимо, очень хрупкий и чуткий инструмент, в котором “душа держится”.

Возможно, если бы человек знал природу своей души, то поостерёгся бы бездумно распоряжаться ею в угоду иллюзиям, не стал бы подчинять свой разум страстям. Но современное образование, в лучшем случае, декларирует, что ложь – зло. А запрет действует слабо. Если бы о вреде лжи было известно, например, как о вреде холестерина, радиации или стрессов, которые тоже “невидимы”, то, возможно, люди сориентировались бы в пользу своего душевного здоровья, как это делается для телесного и психического благополучия. Следили бы за амплитудой производства и потребления вранья, как это делается, например, в пищевой индустрии с жирами и алкоголем, и не доверяли бы рекламе «здорового цинизма». Ложь – наркотик вреднее иных, и её действие разрушительно для личности тем более, чем сложнее проследить связь между виртуальными “преступлением и наказанием”.

Гуманитарные профессии, в которых «слово» – источник

реального дохода, представляются мне "группой риска", а профессионалы «слова» – людьми, на которых я не распространяю свою презумпцию невиновности. Люди, извлекающие деньги непосредственно из слова, должны знать сколь опасно для душевного здоровья их ремесло, а все прочие – насколько сомнительно качество их продукции. Эту тему я затрону не однажды, потому что «в начале было слово» и «торговля словом» – древнейшая профессия, развращающая разум – первопричина зла.

Мои личные впечатления от встречи с профессиональными гуманитариями подобны тем, которые испытали гуингнмы – разумные лошади, которых герой Джонатана Свифта познакомил с обычаями людей. Гуингнмы выразили опасение, что если существа, притязающие на обладание разумом, способны совершать подобные ужасы, то, видимо, развращённый разум хуже любой звериной тупости, и, видимо, люди одарены не разумом, а какой-то особой способностью, содействующей росту пороков. Начало третьего тысячелетия отмечено новой вспышкой агрессии, которую (всё те же гуманитарии) объясняют активностью солнца и пассивностью источников своих доходов.

Мне представляется, что внутренний мир каждого человека имеет свою уникальную топографию, на реализацию которой и даётся жизнь. Лгуций "кривит душу", насильно меняя естественное течение своего здравомыслия – потока сознания, стремящегося в природное русло. Лгуций уводит

свою мысль в сторону, поворачивает её вспять, как собирались это сделать "советские учёные" с сибирскими реками... Приходилось слышать, мол, в "глубине души понимал, но"... но преступил – против себя, изнасиловав собственную мысль, подчинив её прихоти, произволу... То есть, мысль шла в своём естественном русле, но... то ли сбежала, то ли потерялась, а, может быть, была изгнана? И вот, она уже увлечена потоком "массового сознания" и тонет в каком-нибудь поп шоу – в западной или восточной аранжировке, в религиозном или светском, сентиментальном или агрессивном сценарии – по склонностям... Как точен язык: «склонности», «наклонности» – особенности рельефа, относительно которого сносит мысль, не удержавшуюся в достойном русле, по законам физики: сверху – вниз...

Иерархия живого мира строится относительно разума и воли. Она не является законченной структурой с жёсткими связями – некой башней, у подножия которой амёба, а на вершине – человек. Скорее, это информационное поле, имеющее полюсы жизни и смерти. Каждое явление живой природы – каждый индивидуум, обладающий свободой выбора между жизнью и смертью – ведёт себя в этом поле подчиняясь его реальным законам, о которых он узнаёт (или нет) и которые исполняет (или нет) в соответствии со своими разумом и волей – качествами, которые обеспечивают его жизнь. "Воля" – "мускулы" разума.

Свобода – культурная воля, образованная этическими

принципами, то есть, получившая образование в полном смысле этого слова, так как суть образования человека, прежде всего, в принятии этических норм, на которые возможно опираться в своём дальнейшем выборе так, чтобы вести себя по жизни разумно – как духовное существо.

Человек реализует свою свободу через познание мира, и чем осознанней им реальность, чем лучше он ориентируется в мире, тем свободней в исполнении своей жизни.

Приходится слышать выражение ”свобода личности” в контекстах экзотических, например, в защиту гомосексуальных браков и т. п. Возможно, требования такого рода закономерны, но предъявленные на сексуальной или социальной плоскостях, отделённых от многомерности явления “человек”, они приводят к несвободам в других плоскостях, множа иные проблемы. Думаю, что интимная жизнь вообще не может быть решена коллективно, и существуют области, где свобода человека реализуется только на индивидуальном уровне, когда все желания и поступки оплачиваются на свой страх и риск. Коллективные прорывы в сфере секса демонстрируют метаморфозу от дикого ханжества до столь же дикой распущенности с её антиэротической сексуальной индустрией. Сексуальная революция напоминает мне Великую Октябрьскую, когда «все как один» согласны помереть «в борьбе за Это».

В понимании любого социального или иного ограниченного явления важно увидеть его как часть целого – извлечь

из “безысходного круга” (символ дантова ада) и определить относительно реального – “божьего” мира. И тогда становится очевидным, что суть дела, по гамбургскому счёту, не в сексуальной ориентации (как и не в политических, национальных или религиозных пристрастиях) очередных демонстрантов своих “вторичных признаков”, а в душевной слабости этих людей, тоскующих о счастье внутренней гармонии. Они не осознают реальную проблему и трансформируют её самым причудливым и разрушительным образом.

Читала, что «нравственное падение» означает неспособность отличать добро от зла. То есть, падение – не несчастный случай, но перманентное состояние, в котором пребывает сознание. Падение незаметно пока человека поддерживает внешний порядок, и считает он себя «порядочным человеком», то есть «добрым, хорошим», хотя сам никогда не брал на себя труд задуматься о добре и зле, о том, что «хорошо и плохо». Стоит порядку сломаться вместе с его социальными подпорками, что постоянно случается на исторических перепутьях, такой «порядочный человек» и солжёт, и убьёт, не заметив, что преступил, поскольку самостоятельно осознанных и принятых этических норм не имеет.

Вернёмся...

Разум не агрессивен. Он проявляется не столь в интеллектуальных занятиях, как в способности к самоограничению,

в стремлении к законности в отношениях с другими. Духовное бессилие обнаруживает себя агрессией в самых разных личинах: от объявления войны до объявления любви. Причины всех конфликтов – и социальных и личных – не «от ума», а от его слабости: «горе» – от безумия! Доминанта психофизической сущности над духовной превращает человека не просто в животное, но в животное страдающее. Как животное, человек не полноценен и уступает любому из них в способности к благополучию. Сила человека в его разуме. Человек неразумный – самое агрессивное и страдающее существо на свете.

В трагической «комедии» «Горе от ума» А. Грибоедов воспроизвёл гамлетовский вопрос. Проходят столетия, но и современные признанные философские теории убеждают: «осознание противоречит выживанию». Но если проза прошлых веков озвучивает «вечный вопрос», побуждающий мысль к поиску ответа, то в тексте профессионального философа двадцатого века звучит, как смертельный приговор Человеку. Что это за существо такое с названием «хомо сапиенс», если его начала противоречивы – разум в конфликте с телом? «Такое» может существовать в языческих мифах и древних трагедиях с их роковыми комплексами, но не в век технологий тотального истребления жизни.

Противоречия между выживанием и осознанием нет. Дисгармония, если она возникает в конкретной ситуации, преодолима только на пути сознания – другого не дано! Нера-

зумный человек – не самостоятелен, и его выживание зависит от разума другого человека или созданной другими – разумными людьми – системы социальной поддержки. Не всегда эту зависимость можно проследить чётко. В списке патологий разума все виды нравственных пороков: агрессия, лживость, жестокость, цинизм (читатель может продолжить список). И если человечество выживает пока, то, конечно же, не благодаря слабоумию, а вопреки нему. Лишь в подчинении разуму человек может развиваться и быть благополучным.

В словаре Ожегова, в его «советском» толковании слова «культура», есть одна приемлемая фраза: «разведение, выращивание какого-либо растения или животного». Ею воспользуюсь применительно к человеку: «человеческая культура – разведение, выращивание разума». Смысл и цель культуры – в социальной адаптации разума: создании технологий разумной жизни. Культура – компромисс между человеческими природами: психофизической, духовной, социальной, без которого они вступают в противоречие, вынуждая страдать. Страдания – не расплата и не самоцель, но информация о конфликте. Сами по себе ни радости, ни страдания не «просвещают» человека, если он не осознаёт их смысл. И искусства – материализованные чувства – без человека мыслящего ничего не значат... и пропадают полотно, звуки, тексты... всуе.

Человек разумен... Увы, и в начале третьего тысячелетия

новой эры эта аксиома, по-прежнему, звучит, как вызов...

Вернёмся к началу

Человек принадлежит к “сложнейшим” среди живых существ, и чтобы исполнить свою жизнь, ему недостаточно выживания на уровне амёбы или, пусть, гораздо более сложных живых существ, многие из которых (животные) подобны ему по параметрам физиологии, психики и даже социального поведения: так же рождаются и умирают, радуются и мучаются, любят и ненавидят, учатся и работают, собираются в сообщества с функциональным распределением «должностей» и т. д.

Аксиома моего эскиза о человеке – суть его классического определения: «разумен». Человеческая разумность проявляет себя в сотворчестве с создателем, и, прежде всего, в воссоздании себя самого – своей жизни. Дары, данные природой, можно промотать, выживая за счёт врождённых способностей и энергии, закладывая их, пока не оскудеют, меняя на побрякушки. А можно ими распорядиться разумно. Думаю, человеку дана возможность соучастия в создании себя самого: его психофизическая программа может быть реализована, если и не вполне независимо, то хотя бы с его участием, и это та степень свободы, которая отличает человека от животного. Человек не вправе выбрать по желанию свои индивидуальные особенности, но «зная себя» он может культиви-

вировать те из них, которые адекватны его представлениям о своём успехе – совершенствовать себя, и тогда возникает стиль – индивидуальность поведения, манер, речи, привычек – оригинальных не тем, что рассчитаны на привлечение или отвлечение чьего-то внимания, а тем, что сшиты они «по душе» – индивидуальной мерке, позволяющей жить в ладу с собой, свободно...

Человек не волен выбрать свою природу, но он может совершенствоваться в дозволенном ею, улучшая своим присутствием Мир.

Каждое живое существо исполняет жизнь – участвует в информационном обмене в соответствие со своим предназначением. Адекватность миру проявляется в информационной совместимости, измеряется мерой участия в информационном диалоге. Единицу информационного обмена можно было бы назвать “одна истина” – точка на спирали познания. Амёбе достаточно для исполнения жизни “немного” истин: температура, например, химический состав среды обитания. Собаке таких истин требуется “много”. Но в обоих случаях отличия не принципиальны. Соблазнительно предложить здесь метафору картины мира, в котором живые существа служат «датчиками», то есть, обеспечивают жизненно необходимую Миру сенсорную систему, в которой человеку принадлежит особая “творческая” функция: осмысления, а значит, и обновления, и воссоздания истины. Человеку количественная мера, как сумма информационных еди-

ниц, не обеспечивает исполнения жизни. Ему не достаточно контролировать множество параметров среды и самостоятельно поддерживать себя, например, в оптимальном режиме температур. Не достаточно “для жизни” и знаний физики, математики, истории и всей британской энциклопедии наизусть. Количество информации не обеспечивает потребностей его жизни. Для исполнения своей жизни человек должен качественно работать с информацией, то есть, преобразовывать её – осознавать, извлекая заложенный в ней смысл. Этот смысл адекватен “смыслу жизни” и определяет, в конечном счёте, состояние человеческого счастья, которое искрится в “прекрасных мгновениях” воссоздания истины – акта осмысления жизни.

Мне видится, как приходит человек к Господу Богу и просит у него счастья. “Бери сколько можешь” – отвечает ему Бог – “у меня оно бесконечно”... И человек берёт из бесконечности своей мерой и выходит мало – мало счастья... Но ведь это не от малости божьего дара, а от неспособности его принять... – от личной ограниченности. Мир полон счастья для того, кто адекватен Ему.

Человек способен быть самостоятельным источником информации – способен на творчество. “Новое” означает “качественно” новое – оно осмысленное “старое”, и в этом смысле слова царя Соломона о том, что нет ничего нового в этом мире, – истинны только в сочетании с его же словами “на кругах”. Пожалуй, “на кругах” – в ограниченных формах

– даже таких содержательных, как земная жизнь – от рождения до смерти, и нет ничего нового. Но если видеть Мир и путь познающего его разума так, чтобы не потерять вопрос исхода: “Кто я? Зачем пришёл в этот мир?”, то Мир рождается заново – “с начала” – с каждым новым осознанием себя – с каждой разумной жизнью.

Человек способен работать с информацией опосредованно: (не непосредственно: вода – мокро, огонь – жарко), а абстрагируясь: через слово, музыку, искусство. Цель этой работы – создание мировоззрения и личной позиции – жизненных принципов. Они служат опорой в сложных жизненных обстоятельствах, когда кажется, что исполнение заповедей осложняет борьбу за “место под солнцем”, и так хочется преступить их ради сиюминутной выгоды или психологического комфорта – “расслабиться” – отвернуться от реальности, обмануться, не думать. Принципы поддерживают в минуты душевной слабости, работают как защита – нравственный иммунитет. Человеком «с принципами» труднее манипулировать, и потому он, по большому счёту, независимей беспринципных. Принципы работают на упреждение событий.

Один человек сказал, что у него есть два жизненных принципа: никогда не иметь дело с плохими людьми и всегда самому оплачивать свои желания. Что ж, достойные принципы, и они были бы достаточными, если бы не подробности: кого считать плохим, а кого – хорошим, и как определять

плату, адекватную желаниям. Принцип платы за свои желания – необходимое условие жизни, достаточное в обыденных решениях на уровне юридических норм, когда ценники и ориентиры узаконены. Что до желания личного счастья, то за плату за него входит труд переоценки своих принципов.

Вернёмся...

“В начале было слово” – идея об истине. В информационном хаосе возникает слово о жизни и смерти, о добре и зле. Оно обращено к каждому, кто способен слышать...

Физическое рождение даёт только шанс на образование человека разумного – именно так понимаю смысл образования: образование жизненной позиции и мировоззрения, без которых разумность гибнет в иллюзорных мирах. Образование – воспитание души. Образование может быть ложным и погубить душу. Статистики духовной жизни – сколько рождённых на белый свет людей состоялось по своему человеческому предназначению – кажется, нет. Но если бы она была, результаты были бы, возможно, аналогичны выживанию редких животных в условиях экологических проблем и браконьерства...

Не следует путать образование с наукой. У образования и науки разные цели и средства. Наука – работа с объективной информацией, анализируемой на техническом уровне общества, по принятым законам логики, классификации, систе-

матизации. Замкнутые на себе, без связи с Миром как с целым, науки – мёртвые информационные зоны. Они – лишь инструменты для познания мира, и имеют смысл тогда, когда ими владеют люди, чья этика соответствует уровню научного прогресса.

Позволю себе процитировать Дж. Свифта в адрес профессионалов, ставящих свою науку над человеком: "...во всём, не имеющем отношения к их профессии, они являются обыкновенно самыми невежественными и глупыми среди всех нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всякого знания, склонными извращать здравый человеческий смысл во всех других областях..." Прежде всего, эти слова относятся к профессионалам, зарабатывающим словом. Число их увеличивается во времена эпидемий криводушия, поражающих народы с ослабленным иммунитетом – низкой культурой. Увы, духовная медицина безнадежно отстаёт от телесной, так что этот мой текст – суть пилюля, прежде всего, себе самой – доморощенный способ профилактики от катастроф. Не нужно преувеличивать зловредность КГБ – советские гуманитарии служили не менее профессионально, губя духовные ценности. Пока мичуринцы выращивали яблоки на грушах, советские историки расчленяли свой предмет на пятилетки, бойцы литературного фронта лгали про самого вольнодышащего человека, погребальная команда философов хоронила свободомыслие.

Напомню, в переводе с греческого философия – «любо-

мудрие».

В толковании Ожегова – "одна из форм общественного сознания", и чем сложнее и дороже для налогоплательщиков эта «форма», чем больше служивых надевает её и получает за то зарплату, тем меньше шансов у этого общества не только на благополучие, но и на самое выживание. "Общественное сознание" – чепуха. Кстати, в английском языке такого словосочетания нет – есть "общественное мнение" по конкретному вопросу, что принципиально иное. Мнение может быть общим, но сознание – свойство личное, и в общество является своим производным – культурой – разумными технологиями жизни.

Результат гуманитарной деятельности – не рефераты, конференции, симпозиумы и учёные степени, а уровень культуры налогоплательщиков: если общество деградирует, значит, его профессиональные гуманитарии – мошенники.

Видит Бог, лучше бы «мытарь» не переквалифицировался на «апостола» – лучше бы изымал налоги с тела, а не с души, но видимо, таково свойство его лукавой «гуманитарной» природы, о чём следует знать образованному человеку. Увы, все храмы (с пристройками для служебного пользования) построены на людской глупости и развращенности. Когда я слышу, что у некого человека есть "гуманитарные наклонности", то прячу свой кошелёк подальше.

Ещё несколько горьких мыслей о российском феномене под названием "интеллигенция" – слове, не имеющем анало-

гов в других языках. Возможно, оно заменило слово “благородный”, не вынесшее совмещения понятия “нравственный” с титулом “Ваше благородие”. По Ожегову, “интеллигент” – значит, “культурный, образованный”, но, вместе с тем, и “работник умственного труда” – новое слово унаследовало порок двусмысленности. Кстати, “сословие благородных” противопоставлялось “подлому люду”. Должно быть, этой второй и количественно превосходящей группе (по Ожегову – “массе”), и достался дурацкий колпак с названием “широкие трудящиеся круги населения – народ”... Можно написать детектив о мистике этих формулировок, но ограничусь сообщением об участии феномена за российскими пределами. В израильской иммиграции термин сохранился на рынке труда в объявлениях типа: “Требуется интеллигентная прислуга”. Думаю, достаточно знаковый результат эксперимента и над словом из “новояза”, и над обозначенным им людьми. Важно отметить, что на том же рынке «инженер», «врач», «портниха» или иная реальная профессия, пошლიной “интеллигентный” не облагается. И ещё одна народная примета – изменение стиля брачных объявлений: требования “интеллигентный мужчина” сменились на “не лживый и не жадный”...

Беда новой России в том, что «новые русские» – вовсе не новые, а прежние – привыкшие к беспределу со словом, из чего проистекает беспредел во всех областях человеческих отношений. Вот что пишет об этом Д. Оруэл в эссе “Уничтожение литературы”: “Отлаженное враньё, ставшее привыч-

ным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой не говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадёт нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции.”

Увы, враньё – привычка, избавиться от которой, подчас, невозможно, даже когда оно уже не несёт и сиюминутной «выгоды». Враньё – душевная болезнь и проявляется не так активной «дезинформацией», как потерей связи с реальностью: “кривя душой” обманщики уродуют её. Вряд ли кто станет резать свою ладонь, пытаясь изменить рисунок "линий судьбы", потому что это варварство очевидно, а насилие над мыслью – нет. А со временем уже и насиловать некого – нет живых мыслей, и хотелось бы подумать, но в голову лезет одна дрянь.

Человек, использующий свои мозги не по назначению, данному природой, отключается от свободного эфира. Залгавшийся человек запутывается не только в обстоятельствах своей жизни и в отношениях с миром, людьми и самим собой, но и вовсе теряет способность мыслить – ориентироваться в своей жизни. Он не отличает здоровье от болезни, литературу от графомании, музыку от какофонии, любовь от ненависти – «добро от зла». Враньё «сводит с ума», и помешательство принимает размеры эпидемии. Люди врут безо всякой выгоды для себя, а чаще – во вред себе. История тоталитарных обществ состоит из историй болезни её участни-

КОВ.

Можно ли излечиться? Может быть, излечение сродни покаянию, когда человек признаётся себе во лжи не для мелодраматических эффектов, а для жизни. Наверное, такие случаи бывают, но лучше «беречь честь смолоду».

Тоталитарные отношения всегда строятся на лжи. Исчерпав одну маниакальную идею, участники беспомощно ищут взамен похожую: не коммунальную, так национальную, патристическую или иную тусовочную – только бы не оставаться один на один со своей душой, пребывающей в обмороке. Люди, привыкшие к бессознательной жизни, как вылупившиеся из яиц утята, готовы принять в мамы курицу или даже кошку.

В эпоху краткого российского возрождения А. Грибоедов сформулировал причину российской безысходности: общество борется с разумом на уровне своего менталитета – бессознательно, как кукушонок, рефлекторно выталкивающий из гнезда хозяйских птенцов. Альтернатива «горя от ума» – «радость от глупости»? «Радость» такого рода можно поддерживать только с помощью карательного механизма. Горе-умы (кто успел) утекают в более разумное общественное устройство – вслед за возможностью мыслить. Если бы можно было проследить миграцию людей нового времени в поисках лучшей доли, то открылась бы потрясающая драма «исхода» из безумия: в утлых посудинах по морям и океанам, ползком через подземные коридоры, в багажниках машин –

нелегальные души стремятся, как рыба на нерест, к разумной жизни.

Джорж Оруэл в своём романе «1984» замечательно описал, как работает механизм уничтожения разума. В этом смысле серьёзно болен и Израиль. Множатся метастазы «Министерств правды и свободы» со своими чиновниками, переписывающими на «новояз» древние пророчества – так, что теряется истина о том, что Бог, по-прежнему – Один. Что Он – не в окончаниях – “измах” – даже с таким значительным корнем, как “Сион», а в началах – своих этических принципах.

Израиль двадцатого века строился отчаявшимися и романтиками, он как губка впитывал все социальные пороки, приносимые беженцами из разных стран. Волны эмигрантов были признаны “судьбоносными” со знаком плюс – после катастрофы так хотелось верить в счастливое будущее. Но империи, умирая, на прощанье щедро посеяли семена рабства на все стороны света, и они, попадая в сырую ещё – несформированную, несамостоятельную культуру молодой страны с законодательством, в корне своём пораженном идеологией, прорастали низостью, удушая ростки благородства – за радость обманываться приходится платить катастрофически дорого...

Вернёмся...

Образование – система знакомства с самим собой и Миром. Принципиально, чтобы образование не разрывало Мир на бессвязные области, но собирало его, выявляя универсальные законы. Зацикленность на отдельных “предметах” плодит дикарей – и среди “физиков”, и среди “лириков”. Важно понимать, что общее образование, каким бы оно ни было, – социальная условность. Образование человека – явление индивидуальное, и незачем ждать его от общеобразовательной школы, даже в её самом достойном воплощении. Общеобразовательная школа – социальный тренажёр, обучающий ребёнка ориентироваться относительно общества, при условии, что вместе с социальным он получает и индивидуальное образование. «Средняя» школа воспроизводит менталитет общества и она культурна настолько, насколько культурно само общество. Что касается методик, то, думаю, основной принцип – «не навреди». Не знаю, можно ли научить человека «думать», но можно, хотя бы, не подавить его способность мыслить. Лучше ответить ребёнку – «не знаю», чем солгать или слухавить, мол, подрастёшь – узнаешь. Хороший учитель – не тот, кто, защищая свою социальную нишу, изображает из себя «гуру», а тот, кто знает свой предмет и готов продать свои знания за адекватную цену. Разумеется, общество должно быть достойным «хорошего» учителя – иметь

разумные требования и быть платежеспособным.

В начале образования вопрос, обращённый к самому себе – «Кто я?» и ответ на него: «Я – человек». Образовательный процесс не может начаться без принятия своей разумной природы. Образовательный процесс происходит в диалоге о человеке, о жизни, Мире, о добре и зле. И общественное – «среднее» – образование должно начинаться даже не с имени и фамилии, но с уточнения, знает ли ребёнок, что он – «человек-разумный». Тогда имя и фамилия, знания математики, химии и поэзии приобретают человеческий смысл, потому что все они – пути для мысли Человека.

Мистика... ирреальность... Бог... вера... религия... Счастье, свобода, любовь, милосердие – явления мистического свойства. Нет науки о счастье и нет технических приборов, фиксирующих любовь. Можно проследить состояние эмоционального возбуждения, и, может быть, даже разделить его на удовольствие или мучение, но спаси бог от знака равенства между чувствами тела и души – между животной радостью и человеческим счастьем. Альберт Эйнштейн сказал, что можно описать, как угодно подробно, устройство часов, но это не приблизит к пониманию времени. Очевидные – для одного человека – истины, невидимы – для другого... В область мистики ограниченный разум переносит всё, что требует трудов преодоления собственной ограниченности. Ограниченность наглядна в чеховской формуле: “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”. Тезис:

“Это явление за пределами моего понимания” – достаточен для состояния потенциальной открытости миру, необходимой для душевного здоровья.

Способ определения реальных явлений не хорош для явлений мистических и множит информационный абсурд, в котором и живут люди, предполагающие, что свобода – состояние, которое можно дать или забрать извне, что любовь решается обладанием... Если бы я создавала толковый словарь, то такие слова как “свобода”, “рабство”, “любовь” помечала бы – “мистика”, тем самым, напоминая об условности определений, в отличие от тех, что даны реальным явлениям и предметам, таким, как дом или дождь. В область мистики я бы отнесла и слово “человек”... Эта позиция не абстрактного свойства, а реальное предостережение об опасности: опасно использовать мистические явления, как опору в реальной жизни. Мистика присутствует – зримо или нет – в жизни, но не может быть её основой. Нельзя, увы, как бы это ни выглядело прекрасно, опираться в жизни на “любовь”. Невозможно подчинить “любви” реальный обмен веществ, не уничтожив одно за счёт другого – необходим посредник между явлениями мистическими и реальными. Им может быть только закон – единая для всех система свобод и запретов, определяющих реальные поступки: что можно и что нет, что хорошо и что плохо – для всех – любящих и нет, счастливых и несчастных, успешных и нет. Область мистики – свободное пространство для способных быть в нём.

Но реальная жизнь, в которой существует общее жизненное пространство, требует подчинения единым правилам общезжития.

С этой точки зрения попытаюсь понять иудаизм и христианство – старый и новый завет – информационные системы, лежащие в основе западной цивилизации. Библия – в моём понимании – текст о компромиссе, состоящем из двух попыток. Первая – “старый завет”: исход из древнего язычества, в центре которого было злобное – враждебное человеку божество. Вторая – “новый завет”: исход из личного одиночества к новому язычеству, в центре которого появилось “доброе” – любящее человека божество. Думаю, что Библия написана, как история человеческой души – маятника блужданий между потребностью выживания и бытия, между мистикой и реальностью – на пути по спирали осознания Мира, в поисках добра и компромисса. Должно быть, такое движение – естественный ход вещей...

Третью часть Библии каждый пишет для себя сам...

«Старый завет» – основан на заповедях – законе, имеющем реальные постулаты. Христианство – «новый завет» – ставит в центр Мира «любовь» – неопределённо-прекрасную, оправдывающую преступающих законы «во имя любви». Христианство, не отвергая – де-юре – заповедей, де-факто выдаёт индульгенцию, легализуя произвол. В этом контексте, символична педофилия среди католических священников. Где грань между тем, чтобы погладить ребёнка по го-

лове или тронуть его за пенис? В толковом словаре «моральное падение» означает утерю грани между добром и злом. «Любовь» не обозначает реальной грани и потому не может быть в основе этического учения. О достоинстве и недостатках законов можно спорить, но как бы несовершенны они не были, ничего лучшего для обозначения нормы реальной жизни не придумали.

Любое мировоззрение может быть построено сознательно, а может быть принято «на веру», и тогда оно превращается в «образ» мировоззрения – религию. Религия – информационная схема – плоское отображение мира, сфокусированное на его образе – «идоле». Я попыталась наметить для себя грань между двумя состояниями души, первое из которых обозначила как “законопослушание”, второе, как “религиозность”. И первое, и второе проистекают из слабости, зависимости человека, его потребности в упрощении истины. Эту грань не однажды обозначали, но со знаком равенства: “Бог есть Мир” и наоборот... Слово на иврите “дат” имеет два толкования – “вера” и “закон” – гениально сформулированный компромисс для обеих позиций. Мне кажется важным, не противопоставляя, обнажить противоречие. Оно – на зыбкой грани между мистикой и реальностью. Бог – символ мистический, Мир – реальный, и знак равенства в данном уравнении поставлен там, где должен быть символ подобия. «Мир» и «Бог», при кажущейся одинаковости, соотносятся наподобие предмета и отбрасываемой им тени – эти яв-

ления существуют реально, но ориентироваться на тень можно только на свой страх и риск: она меняется в зависимости от освещения, и уж совсем неразумно строить системы общественных отношений с точкой отсчёта “от тени”.

Но, тем не менее, такая практика существует: религиозная система мира, в центре которой мистическая личность – Господин Тень...

Религиозность – состояние отказа от себя в пользу Господина – хозяина жизни земной и вечной – чрезвычайно гибкого “коэффициента погрешности”, созданного слабым разумом, не способным даже на свою иллюзию, а принимающего общественную. Вера в Бога позволяет подменить личную позицию – позой подчинения, в которой и пребывают верующие. Формула «Бог знает» снимает ответственность с души раба добровольного, смиренно верующего в свою фатальную несвободу.

В религиозном мировоззрении предположения заменены утверждениями, что создаёт интеллектуальный тупик. Люди, приспособившие свою мысль к догмам – к мыслевыживанию в рабской зависимости от предмета своей веры, оказываются в ситуации информационного абсурда, и спасение их разума действительно возможно только “чудом”, которого они так жаждут. Чудо – в материализации идеи, когда предмет веры проявил бы себя реально, и тем снял бы болезненное психическое напряжение, естественное для живущих среди абсурдных утверждений. Верующие недоверчивы

и нуждаются в допинге – чуде – сверхъестественном шоу, и эта зависимость – из ряда наркотических. Парадокс в том, что, на самом деле, мир полон чудес, но они воспринимаемы разумом. Разве не чудо общение – вне времени и пространства – через слово? Вот, пожалуй, компромисс между мистикой и реальностью, ипостасями духовной и телесной – слово. Но чтобы «услышать»...

“Имеющий уши, чтобы слышать” – владелец не ушных раковин, но способности отличать добро от зла наподобие того, как музыкант отличает чистый звук от фальшивого. И так же, как камертон помогает настроить инструмент, этические принципы помогают человеку настроиться на гармонию Мира. Мир проявляет себя естественно – в согласии со своей природой и своими законами. Фокусы и мистификации хороши в иллюзиях, но в реальности любой парадокс разрешается только на пути мысли... Нет парадоксов – есть парадоксальная ситуация на отрезке осознания.

Вернёмся к началу...

...но уже не затем, чтобы обличать “опиум для народа”, а в поисках культурного компромисса между чувствами и душой. В цивилизованном обществе, где церковь отделена от государства, религиозные верования протекают подобно детской болезни после прививки – романтическими увлечениями, социальными играми в сказку – не подчиняющимися

себе индивидуальные жизни. В Рождество люди могут наслаждаться иллюзией, если они достаточно взрослые, чтобы организовать себе праздник с подарками. Но требование вечного Рождества превращает людей в агрессивных романтиков.

Так устроено, что вечные истины порождают и вечные заблуждения – великие заблуждения, не вульгарную ложь, но прекрасные миражи справедливости, равенства, любви, которые возникают в самых губительных пустынях перед измученной душой. Человек нуждается в мечте, в идеале. Западное общество сумело воспроизвести мечту о счастье на уровне своего менталитета. «Американская» идея заключается в том, что каждый человек может сам создать своё счастье, и общество развивает эту идею в культурных технологиях, которые позволяют реализовать её в рамках закона. Можно маниакально отрицать «американскую» идею, но лучшей никто не создал. Иное дело, что «американцы» и сами далеко не всегда соответствуют своему образу, но не об этом речь.

Мечта об индивидуальном счастье – единственная, пригодная для развития, потому что она – естественна, общечеловеческого свойства и может быть названа «западной» условно, пока существуют её антиподы – сторонники коллективной мечты об общественном счастье. Любая надчеловеческая идея агрессивна и материализует толпу. Толпа – не обязательно «массы», не обязательно «погромы и баррикады» или «всеобщая любовь и поклонение». Толпа может

быть представлена и одним человеком – человеком толпы, социальная сущность которого сильнее личностной, и именно с человеком толпы происходят метаморфозы превращения мирного обывателя в погромщика. В отсутствие внутреннего закона – нравственной опоры – человек толпы меняется вместе со средой своего обитания, без которой не способен выживать, как моллюск без раковины. Толпа замечательно описана в «Хамелеоне» А.П. Чехова. Лики толпы разнообразны: от «бритоголовых» до «интеллектуальной элиты», толпящейся в агрессивном стремлении к социальному признанию своего превосходства.

...вернёмся...

Религия – образ жизни, основанный на мифологии – литературном сюжете о мироустройстве, в центре которого сверхчеловек. Религия не представляет собой открытой для живого диалога системы – с прямой и обратной связью – и отличается от реальной системы мировоззрения как отличается, например, легенда о человеке по имени Пифагор от геометрии...

Элемент веры присутствует при построении любой теории. Вспомните, как начинается любое доказательство в математике: “допустим, что...” то есть, “поверим, что...” Разумное размышление об истине начинается с предположения, оставляющего свободу для мысли – с аксиомы; нера-

зумное – с утверждения, исключающего относительность в конкретной теории, а значит, и возможность её переосмысления. В религиозной вере вместо свободного предположения “поверим” – тоталитарная команда “веруй”.

Религиозная вера требует абсолюта – культа вместо культуры. Культура – технологии цивилизации, культ – “отправление” психологических функций на уровне общественных рефлексов. То, что нормально в младенческом возрасте, отвратительно для зрелого общества, и говорит об инфантилизме: слабоумии и деградации. Сказка о “Мухе-цокотухе” прекрасна для ребёнка, но трагично, когда биологически взрослый человек доверчиво пытается оплатить самовар копеечкой или ждёт комара-мессию.

Не стоит забывать, что вера в науку или искусство, любовь или красоту, которые спасут(?) – одна из форм религии, со всеми составляющими этого явления: “храмами”, “жрецами”, “жертвами” и подобными общеизвестными “культуво-обрядовыми” символами варварства. И печально известный “атеизм”, по сути своей, религия, вывернутая наизнанку, из которой торчат уродливые швы абсурдных утверждений, сшивающие белыми нитками куски необработанной информации.

Об истории...

История – от греческого “расследование” – наука, занимающаяся прошлым человеческого общества: его разумной деятельности, культуры и цивилизации. Важно для человека, знакомящегося с историей, понимание, что процесс познания прошлого так же бесконечен, как и любой иной, и потому любая попытка канонизации исторических фактов уничтожает их исторический смысл и возможность извлечения исторического опыта. Пушкинский «сын ошибок трудных», не накапливается, подобно жемчужине, на уровне химического смирения. Его ценность создаётся в душевных трудах.

История – осознанные опыты жизни. Историческое мышление – в ощущении вечного бытия – прошлое не ушло: оно – в настоящем и будущем. Неосмысленные события минувших дней не канули в вечность, а возвращаются к людям, живущим в неосознании своей жизни – вне исторического опыта. История демонстрирует, как проистекают коллективные “исходы”: революции и прочие прорывы напролом – не через ворота культуры, а через бреши в социальных заборах. События такого рода могут выглядеть успешными на отрезке времени, но относительно духовных ценностей они всегда губительны – несущаяся к исходу толпа подобна стадам в горящей саванне и вытаптывает в безумном беге все рощки цивилизации. Романтические иллюзии преобразова-

ния мира “не через себя”, а через отказ от себя в пользу общества, требуют всё более сильных допингов: от водки – до крови. Пробуждение всегда горько, но и оно может не наступить. Даже когда насилуемый психопатами мир кричит о себе, неразвитое сознание “не слышит”.

История человечества – история человеческой мысли, и она воссоздаётся из осознания человеком его личной жизни, а не из множества неосмысленных сюжетов, которые хранятся в общественных архивах, с надписью «история».

Используя в дальнейшем слово «цивилизация», я понимаю, что у этого слова существует множество спорных определений, но именно оно подразумевает культурное общественное устройство, и в этом смысле я употребляю его.

Цивилизация – общественное устройство людей, сознательно объединившихся для совместного решения проблем бытия. Для выживания существуют более примитивные сообщества: от первобытных племён до индустриальных коммун – все они основаны на жесткой иерархии подчинения, и история демонстрирует, как эта жесткость оборачивается для людей жестокостью, и, в конечном счёте, лишает возможности «выживания». Напутствие «добывайте хлеб в поте лица своего, плодитесь и размножайтесь» нельзя понимать примитивно – на уровне животного существования. К сожалению, исторические уроки воспринимаются, как детективы с дворцовыми интригами, злодеями и роковыми событиями. Увы, историю подменяют литературой, литературу – истори-

ями, и эта путаница сдерживает развитие цивилизации.

Современная цивилизация – общечеловеческое явление, неделимое с точки зрения национальных, географических и прочих “вторичных” признаков. Цивилизация – не «западная» или «восточная», не «американская» или «китайская», но человеческая – на западе или востоке, в Америке или в России, если таковая воссоздаётся землянами в определённых местах проживания на их планете. Цивилизация есть, если общество воспроизвело её своим достойным – адекватным цивилизации – поведением, и будет, если общество сумеет в будущем вести себя разумно – по законам природы цивилизации. Такова жизнь: обмен милосердием подобен обмену веществ и требует постоянного возобновления.

В центре цивилизации – универсальный закон – не жесткая структура, а технологии общественного устройства по принципу «сделай сам». В цивилизованном обществе предложены общие правила совместной жизни, которые, конечно, должен исполнять каждый, но в индивидуальном режиме – с учётом личного потенциала, что, позволяя поддерживать стабильность общественного устройства, даёт каждому из участников возможность исполнять общественные требования относительно его особенностей.

Цивилизация – плод общечеловеческой культуры, выращенный из семени разума по культурным технологиям, поддерживающим жизнь человека разумного, что обеспечивает реальное благополучие общества.

Так, вряд ли, можно назвать Россию, которую, по словам Тютчева, “умом не понять”, в которую “можно только верить” – цивилизацией. Россия – социальное явление, в котором разумная жизнь не самоценна, а зависима от декларативных идей и мифов, а, значит, ущербна, что, увы, подтверждено исторической безысходностью. Словосочетание “духовность русского народа” стало штампом, которым пользуются, не вникая в смысл, а зря: на путанице в понимании духовности и психики в сознании людей вырос образ “большой души”, списанный с душевно слабых или просто больных людей автором романов из русской жизни Ф. М. Достоевским. Думаю, что причина явления под названием «достоевщина» заключена в отсутствии культуры чтения – в неспособности читателя отличать духовную ипостась – от психической, а детектив – от Библии. Думаю, автор был бы опечален тем, что его тексты превращены в мифологические сюжеты для языческих суеверий. Достоевский и «достоевщина» – Человек и его тень, потерявшая своё место, как это описано в сказке. В тени Достоевского, Шекспира, Гоголя паразитируют бесчисленные «-веды», множа сплетни об авторах и их текстах, уничтожая первоисточники. Существует огромная агрессивная псевдолитературная империя со своей властью, армией, институтами, союзами, идолами и ещё чёрт знает чем.

Не думаю, что торговлю словом можно или нужно ограни-

читать законодательно. Бессмысленно «бороться с недостатками», нужно насаждать достоинства – личную культуру. Не нужно хватать и глотать всё, что плохо лежит – любое чтиво, от которого душу воротит. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы суметь освободиться от хрестоматий и научиться читать литературу так, чтобы ощутить её милосердие. У Достоевского в романе «Подросток» я нашла для себя точку отсчёта, которую тщетно искала в начале жизни: маленький мальчик, испугавшись неизвестности, не решается бежать из унижающих его обстоятельств, и понимает, что он – сам – виновен в своём рабстве. Это осознание становится началом его человеческой жизни...

Духовность проявляется в доминанте разума над другими природами человека, и цивилизация – система отношений, поддерживающих эту иерархию. История цивилизации – история духовной жизни, а не список сезонных созиданий и разрушений с бегущими вдогонку и всегда опаздывающими – задними – мыслями: “во имя чего или кого пролилась на сей раз детская слеза?”

Цивилизация начинается с Человека разумного, с осмысления им исторических событий, с отстранения “Я” от обстоятельств “Мы”. “Кто Я?” – единственный вопрос исхода, и он не может быть коллективным: ни русским, ни еврейским – только личным. Так, пресловутый еврейский вопрос существует в контексте выживания в зоологическом музее языческого сознания. Так же безысходны и роковые “русские во-

просы” с ответами, одетыми в прокурорскую форму: “Виноват!” – и, далее, обрастающие подробностями национальной идеи в её провинциальной реализации: татаро-монгол виноват, еврей, чеченец, американец или другой чужой – любой другой, только не русский – не держатель основного пакета национальных акций идеологического алиби. И еврей, по тому же принципу, не виноват в своей катастрофе, а некто “анти”: русский, немец, римлянин, араб – чужой. Если вникнуть в факты любой исторической драмы, то становится очевидным, что очередной “разрушитель Храма” возникал наказанием за преступления внутри общества: вульгарную драку за власть и деньги.

Я не исключаю данность национального мироощущения – спаси бог! Национальная мелодия вплетена в полифонию бытия, но душа – камертон, что держит чистое «ля» и не позволяет нарушить партитуру божественного замысла. Не думаю, что природа человека предполагает доминанту, пусть, самого важного, но “общего” признака, коим является и национальность, над “личным”. Тон задаёт не инструмент, даже такой совершенный, как скрипка Страдивари, а камертон... Градостроительство, календарь, письменность, демократия и другие признаки возникающей цивилизации говорят, прежде всего, о явлении Человека разумного, стремящегося к личной свободе через создание системы разумных компромиссов. Цивилизация – система компромиссов между выживанием людей и бытием человека.

В этом смысле, современный Израиль, вынужденный отстаивать приоритеты спасения в национальных рамках, похоже, “испускает дух” цивилизации. Конечно, его история слишком своеобразна, чтобы быть использованной как простой пример: общество живёт в режиме искусственного дыхания – экономически, политически, демографически не самостоятельно, поэтому развивается, в значительной степени, благодаря достаточно свободным миграциям. Но можно проследить баланс, из которого видно, что “самостоятельные” люди – способные реально платить за достойную жизнь, мигрируют в общества, которые сегодня адекватней их личным требованиям, что, в свою очередь, развивает цивилизацию принимающей их страны: милосердие – взаимно. Люди зависимые остаются, и доля их растёт, что приводит к деградации.

Читала, что существует статистика, по которой индивидуалистов, стремящихся жить независимо – осознанно и самостоятельно – пять, шесть процентов... Думаю, именно они, живя для себя, не мешают жить другим. Именно индивидуалисты, стремясь к собственному благополучию, поднимают общий уровень жизни, если, конечно, общество не рубит сук, на котором сидит – не уничтожает своих думающих граждан. Видела фильм о стаде обезьян: одна из них придумала размачивать в воде еду перед тем, как есть, другие последовали её примеру, что, очевидно, было лучше для всех. Если бы это стадо подражало людям, то, скорее всего, ото-

брало бы у своей хвостатой индивидуалистки её еду, подравшись и разбросав большую часть в грязи. Саму же изобретательницу убили бы или прогнали, а потом продолжили бы есть всухомятку, мучаясь несварением.

Увы, израильское общество изначально построено на принципе национальных, а не универсальных приоритетов. Причины и побуждения известны и эмоционально легитимны, но жизнь проистекает не по желаниям, а по универсальным законам, и они определяют реальность: Израиль теряет свою уникальную индивидуальность, превращаясь в историческую провинцию.

По сути своей организации, современный Израиль – страна, состоящая из фрагментов разных социальных структур – от разнообразных общин с жесткой иерархией до «граждан Мира». И все это сосуществует в состоянии уникального сочетания жёсткого предъявления и терпимости, которое периодически взрывается насилием. Израиль видится мне мистическим местом, где воспроизводятся исторические опыты, уроки из которых извлекают все, кто учится. В “лаборатории исследования личностных и общественных законов”, как в прежние четыре тысячелетия, совершаются вечные ошибки. Не удержусь от сравнения Израиля с чистилищем, в котором, как нигде больше, судьбы определяет личный этический выбор.

История Израиля – яркая демонстрация тленности тела и бессмертия души: этическая идея, окрепнувшая в теле

иудейства, стала достоянием человечества и основой бытия для многих думающих людей, определяющих себя по при знаку личной разумности. “Золотые века” государства Израиль коротки, а история его цивилизации продолжается, как и было обещано в Торе: “дети Иофета живут в шатрах Сима” ...

На этом перекрёстке я прощаюсь с национальной принадлежностью своей души с тем, чтобы отправиться в «рассеяние». Думаю, такой перекрёсток есть в топографии каждого человека.

Вернёмся в начало...

Бесчеловечные идеи превращают людей в уничтожающий себя сброд. «Исход народа» – не в общем топоте ног, смешении дыханий и биений сердец, а на пути осмысления человеческих отношений, и в создании адекватных и работающих общественных законов. Думаю, что законы такого рода – суть и основа человеческой культуры, без которой иные её ценности – искусства, литература – фальшивы. Человек, понимающий нравственность, как личную ответственность за свою жизнь, стремится понимать происходящее с ним, принимать самостоятельные решения, отвечать за себя, не выискивая вины в другом. Без таких людей общество обречено на деградацию, как бы ни были хороши его законы. Конституция – мёртвая информация, если она не воссоздаётся – не

переосмысливается хотя бы частью своих граждан.

Благополучие человека – единственно реальный гарант благополучия общества, поскольку по сути своей природы – реально – стремясь к своему благополучию, человек заодно реализует и “чаянья масс”, поход к которым напролом – в массовом порядке – завершается катастрофами. Человек должен быть сосредоточен на самом себе и на ответственности за свою жизнь. Ответственность за других людей достаточна в рамках юридического закона. По Ожегову альтруизм – готовность бескорыстных действий на пользу другим, не считаясь со своими интересами. В этом контексте, альтруист – либо псих, либо мошенник. Когда человек декларирует, что ему ничего не надо, это обычно означает, что ему нужно всё.

Тоталитарный режим – система общественного управления без обратной связи. И, как все системы такого рода, режим обречен на разрушение. Такое общественное устройство губительно не только для непосредственных участников тоталитарной пирамиды, но и для всемирной истории, культуры, экологии. Земля и земляне не могут быть благополучными, если один из народов гибнет, как не может быть благополучен человек, нога которого попала в капкан. Глупо, когда люди «первого мира» ощущают себя над «третьим миром» – жизненное пространство общее и культурные границы, в отличие от политических, меняются динамичнее: не успел оглянуться, а за окошком, украшенным геранью с кру-

жевной занавесочкой, обосновался потомственный людоед.

Тоталитарный режим успевает за период своего существования уничтожить носителей «обратной связи» – людей, способных на свободную мысль. Уничтожение происходит не только в пределах границ тоталитарного государства, но и масштабах Мира (эффект сообщающихся сосудов), и этот трагический факт определяет будущее человеческой культуры надолго после того, как некий тоталитарный режим погибнет естественным образом.

«Возрождение» – не оживление из мёртвых, но воспроизведение жизни – живой мысли. Для общественного Возрождения нужна живая мысль – мыслящий, нравственный человек, способный жить адекватно реальности. Но если общество истребило своих думающих граждан, то и нет их. Такова данность, которая над всеми тиранами с их безумными амбициями и над рабами, согласными выживать любой ценой. Цену назначают не рабы и не тираны – цена определена мировым законом, который дан человеку для познания, а не для поправок в угоду трусости, жадности и глупости.

Начало третьего тысячелетия: террористы-смертники, антиглобалисты – живчики.

Может быть, западная цивилизация состарилась исторически и, теряя здравый смысл, тешится диснейлендовским оптимизмом? Вряд ли физические законы «сохранения» распространяются на природу «разумного, доброго» бук-

важно – если ум где-то убывает, это ещё не значит, что где-то он появляется. Может быть, ум и появляется в каком-нибудь зазеркалье, но, для живущих «здесь и сейчас», недостаток ума говорит о том, что «свято место» пустеет и заполняется хламом.

Современная историческая панорама отличается тем, что её можно наблюдать по телевизору, и потому «история» может быть осознана человеком и сопоставлена с личной судьбой в режиме реального времени. Мне представляется, что современный человек может держать Земной Шар на ладони, выбирая жизненный путь "на местности" куда более предсказуемо, нежели в прежние времена, рассчитывая, разумеется, только на собственный разум, что и питает слабый ручеёк исторического оптимизма...

Цивилизация пребывает в теле социальной структуры – государства. Государство можно считать цивилизованным, если оно строго функционально и не выходит за рамки своих утилитарных функций. И в этом смысле идеал государства – компьютер. Чиновник, превышающий свои функциональные обязанности, ломает аппарат. И граждане государства – пользователи чиновничьего аппарата – должны владеть «правилами пользования», а не искать у чиновника «человеческого отношения», провоцируя тем преступление против своих же прав. Власть – вынужденное зло, которое необходимо ограничивать и контролировать, а не развивать. «Очеловечивание» бюрократии – её выход за пределы функцио-

нальных рамок, говорит о слабости гражданского общества.

Современная демократия – единственная из существующих систем социальных отношений, с их тяготением к решениям на уровне «вкусового пупырышка», которая учитывает право человека быть разумным. В отсутствие демократии человеку приходится самому защищать свой дар разумности от общества.

Если превыше всего ставить своё социальное положение, то определяющим в успехе становится признание, одобрение окружающих – верный путь к отказу от себя. Помните у В. Шекспира в переводе С. Маршака: «Зову я смерть, мне видеть невтерпёж достоинство, что просит подаянье...» Действительно, жуткое зрелище... “Достоинство” – не попрошайка, оно существует в человеке, как мысль, следовательно, не нуждается в общественном признании, в отличие от псевдодостоинств, не существующих без публичности.

Вспоминая все случаи унижения в своей собственной жизни, понимаю, что, прежде всего, униженность была во мне. Конечно, она была привита воспитанием и поддерживалась немилосердными обстоятельствами. Но как бы то ни было, исход из любой патовой ситуации возможен только личный – достоинство не подадут, его нельзя украсть или купить за фальшивую монету. Каждый платит за себя по истинному эквиваленту.

Историческая картинка:

Один из истоков цивилизации – Ближний Восток и бассейн Средиземноморья. На Ближнем Востоке где-то с шестого тысячелетия до н. э. развиваются два государства – Египет и Вавилон по похожим схемам. Природные условия: равнинные реки, требующие объединения усилий для совместных ирригационных работ, а значит мощной централизованной власти, языческие религии, со свойственной им деспотией отношений, диктуют возникновение рабовладельческих режимов с жёсткой иерархией и культом правителей.

В это же время в бассейне Средиземного моря (полуострова, острова, прибрежные районы, включая Ханаан) развиваются языческие города-государства, относительная самостоятельность которых вызвана природными условиями, ограничивающими социальные центростремительные силы.

В начале второго тысячелетия до новой эры в истории мировоззрения происходит явление качественного порядка – возникновение монотеизма.

Стремление к монотеизму закономерно в развитии осознания мира и прослеживается во всех языческих религиях. Язычество говорит о разорванности сознания и бессвязности мироощущений. Явления природы безответственно розданы богам в полное владение, а сам человек не принадлежит себе и зависит от их произвола. В языческом сознании

мир – хаос, а человек – игрушка рока. Человек, принявший роль марионетки в чужой игре, в конечном счёте, ею и становится.

Думаю, ошибочно считать язычество детством человечества, которое со временем, естественным образом преобразуется в более зрелое миропонимание. Язычество прекрасно воспроизводится в любом зрелом обществе его инфантильными гражданами, ведя общество к деградации. В теле вполне здоровой цивилизации всегда присутствуют бесчисленные формы «вирусов» язычества, размножающихся при потере сопротивляемости и в благоприятных условиях, и тогда “на родине Шиллера и Баха” возникают крематории. Этические принципы – иммунная система, поддерживающая разумную жизнь, и они нуждаются в постоянном воспроизводстве на личностном уровне. Недостаточно однажды получить культурную прививку даже от таких великих пророков, как А. С. Пушкин или полный старозаветный свод, чтобы раз и навсегда обеспечить нравственное здоровье народа.

Если прислушаться к музыке человеческой истории, то можно проследить её центральную мелодию, которая иногда едва слышна, иногда звучит мощно и ярко. Она – мелодия собирания Мира в «гармонию». Люди, прислушивающиеся к камертону, звучащему в душе, создают, прежде всего, самих себя – свою гармонию, своё собственное бытие, и, вместе с тем, и сам Мир.

Есть слова, девальвированные, как мне кажется, более иных. Думаю, они изначально были от лукавого. Слово «личность» не имеет определённого смысла. Так, по Ожегову «личность – человек, как носитель каких-н. (?) свойств». В словаре приведен и соответствующий смысловой ряд: «светлая личность, не переходите на личности». На английский слово переводится, как «персона», и оно используется конкретно, как идентификация человека в официальном контексте – владельца реальных документов, имущества, а не лукаво неопределённых свойств. Кстати, слово «персона» прекрасно вписалось и в русскую речь – в английском же, деловом смысле: «персональное дело», «заказ на две персоны» и т. п. Слово же «личность» в русской традиции превратилось в спекулятивный аналог слова «человек», вернее, сверхчеловек, потому что именно эти свойства – «сверх и над» – приписываются личности, а, далее, и «сверхличности» – супермену из триллеров двадцатого века.

В моём словаре принимаю слово «личный», как прилагательное – мой собственный, принадлежащий мне: мой дом, мой выбор, моя жизнь – всё то, на что не распространяются права общества.

Российская трагедия – «Культ личности». «Личность», материализовавшаяся из российского Ящика Пандоры, – злодейского свойства. То, что «дьявол» ставится обществом в центр своей истории – будь то татаро-монголы, масоны, капиталисты, сталинцы с ленинцами, демон-мужик Распу-

тин или булгаковский Воланд – говорит о реально существующей в общественном сознании схеме мироустройства, в центре которой – первопричиной – определён кровожадный языческий божок. Это ОН – дьявол – ответственен за все жизненные проблемы. «Не Я» – извечный ОТВЕТ на русский вопрос «КТО ВИНОВАТ?».

Язычество пёстро демонстрирует себя и в современном Израиле. Оно одето и в средневековые одежды, и в шорты, и в костюмы с галстуком – формы его разнообразны, но суть – одина: разорванность сознания и рабская зависимость от пикейных жилетов, СМИ, политиков и т. п. Возвращение к себе начинается в точке, которую определяю для себя, как “ноль” – “нет ни элина, ни иудея” – никого, кого бы позволила себе поместить в центр своего мироздания. Конечно, в этой точке – в точке исхода – одиноко... и темно – звезды истины зажигаются не сразу, чтобы осветить мир, превратив его в уютный дом. Но если страх преодолён, то становится видно, что и элины, и иудеи – всего лишь планеты на небосводе, движущиеся по своему пути и влияющие, конечно, на порядок вещей, но не фатально, а в меру – прежде всего, в меру внутренней свободы человека – равного среди равных перед универсальным законом.

Вернёмся к началу...

Возникновение иудаизма относится к началу второго тысячелетия и связано с жителем Вавилона по имени Авраам, которого посещает прозрение о том, что Бог – один. Об этом событии известно из Торы (Старый завет) – древнего текста мировоззренческого содержания, который стал Святой Книгой – единственным источником истины для верующих, и одним из наиболее значительных источников образования для всех, кто свободно формирует своё мировоззрение. Но и религиозные и секулярные читатели, которые размышляют над этой книгой о мире, о боге, о человеке и о смысле жизни, знакомятся с иудейской теорией о мире, которая в сочетании с греческим мировоззрением, повлияла на современную нам цивилизацию с её принципами гуманизма и демократии.

В центре иудаизма – идея о единстве мира и его универсальных законов. Иудаизм – одно из центральных учений о мире и о жизни. Но каждый «ученик» понимает учение в свою меру. Мыслящий человек, опираясь на существующие идеи и теории, создаёт свое мировоззрение. Ортодокс превращает любую живую мысль в набор тоталитарных штампов, из которых он, как из кубиков, складывает свой образ жизни, и в этом смысле иерусалимский «хареди» отличается от московского коммуниста только деталями формы.

Бог – мистическое продолжение идеи. В иудаизме Бог от-

крывается человеку (откровение) и человек отвечает Ему. Из этого диалога возникает договор о том, что есть добро и зло, как можно и как нельзя поступать в отношениях с собой, с Миром, с другим человеком. Из хаоса отношений древнего мира рождается закон о компромиссе: этическая система, достаточно жизнеспособная, чтобы спустя тысячелетия вырасти в современное демократическое законодательство. Закон, обозначенный в иудаизме, далёк от совершенства, как и всё, что связано с человеком, но обозначенный им вектор «добра и зла» достаточно определён, чтобы человек мог ориентироваться на своём жизненном пути, как по стрелке компаса, совершая свой выбор между добром и злом.

Убеждена, что природа требует от человека соблюдения закона отношений. Двойные стандарты: быть «хорошим» – с одними и «плохим» – с другими, разрывают сознание на части, которые и будут скакать, как «черти на сковородке», превращая обладателей «крученных мозгов» в «скользких типов».

Теория иудаизма основана на “Законах Моисея” – заповедях, запрещающих убийство, ложь, воровство. “Закон божий” возведен в статус веры и стал аксиомой гуманистического мировоззрения. Таким образом, иудаизм можно в равной мере называть и религией, и законодательством, его форма не властвует над сутью – идеей о единстве мира и его законов. В системе ясно обозначены полюсы добра и зла, как жизни и смерти. Жизнь – добро, и законы, запрещающие

убийство – гуманны. Можно, опираясь на гуманистическую позицию, бесконечно продвигаться по спирали понимания явления под названием “жизнь”: рассматривать её как философское “бытие”, или как материалистическое “существование белковых тел”, или как “миг между прошлым и будущим” (слова из романтического шлягера). Главное, что «не убей», обозначенное как «добро», недвусмысленно формирует этическую концепцию и основанное на ней законодательство как цивилизованную норму отношений.

Жизнеописание Авраама (“Бытие”), история его откровения и исхода – явление, которое превратилось в символ. Авраам – зажиточный и преуспевающий горожанин покидает места, где благополучно сложилась его социальная жизнь, и отправляется в неизвестность по “Слову Бога” или “душевному зову”. В Торе откровение Авраама описано, как диалог с невидимым Богом и заключение союза о покровительстве в обмен на признании Авраамом “Его” – своим и единым. Союз заключён на личностном уровне – личный Бог и личный поступок, согласно личному выбору в... тоталитарном языческом мире, где отношения построены на обезличенности (!?) Завет легализует человека, как индивидуальность, и, в этом смысле он противостоит не только общественному мнению Древнего Мира, но «толпе», как символу агрессивного большинства всех времён и народов. Думаю, мистический шлейф сплетен о роковой особенности иудеев, тяну-

щийся за евреями тысячелетиями, основан на противостоянии человеческих архетипов – индивидуалистов и коллективистов. Но об этом позже...

Согласно Торе, Авраам уходит в Ханаан. Так начинается еврейская история – её первые четыре сотни лет, как история семьи Авраама, его детей и внуков. Продолжение этой истории, уже как истории еврейского народа, воспроизводится массовым исходом и заключением общественного Союза с Единым Богом – Богом Авраама.

Думаю, что биологическое выживание не есть историческое явление, а, скорее, остановка на историческом пути, похожая на стойбище дикого человека. История человечества прослеживается в осмыслении жизни, в душевных трудах, а не в выживании вопреки нищете, болезням, рабству и войнам. История народа прослеживается не в происшествиях, даже таких впечатляющих, как революции, а в актах переосознания себя, как народа. Так, по реальному календарю, события могут длиться столетиями, а по факту присутствия в них, как в своей “истории” – мгновениями... Есть люди и народы и вовсе живущие, словно, вне истории, и они, подобно диким туристам, оставляют после себя лишь опустошение: мусор и следы от пожаров с тлеющими головешками чьих-то загубленных душ. Так бывает с теми, о которых известно лишь, что они успешно воевали со всеми вокруг себя, используя тактику тотального уничтожения, а затем исчезли

так же внезапно, как и появились. Видимо, так происходит с палестинцами, знаменитыми лишь тем, что они воюют с Израилем. Разрушать – не строить, но победы в разрушениях – «пирровы», и лишают победителей собственной истории.

Господь Бог творил мир шесть дней... Значит ли это что он управился в календарную неделю? Кто знает, сколько бессмыслия утекло за время творения и сколько материализованных ошибок досталось человечеству для его горьких опытов.

“Исход из Египта” произносится в сочетании со словами “еврейского народа”. Но если попытаться вникнуть в событие, которое произошло где-то в тринадцатом веке до н. э., то речь идёт о массовом побеге рабов под предводительством египтянина Моисея, которого, как прежде вавилонянина Авраама, посетило откровение о едином Боге – покровителе. Среди беглецов были и потомки семьи Авраама, но были и люди других родов, объединённых в силу обстоятельств, приведших их в рабство. Тринадцатый век до н. э. был веком массового перемещения народов в бассейне Средиземного моря. Троянская война и скитания Одиссея, описанные Гомером – исторические символы этого времени. На побережье Ханаана селятся переселенцы элины – филистимляне. После “сорока лет блуждания в пустыне” в долины Ханаана “текущие молоком и мёдом” приходят евреи. Пришельцы встречают здесь разрозненные города-государства с похожими языческими культурами и кочевников-бедуинов.

Были, вероятно, среди местных жителей и реальные праправнуки Авраама – те из них, которые остались и жили дома, избежав эмиграции. Возможно, все эти столетия родственники Авраама сохраняли влияние Завета и выделяли себя в особый народ. Для пришельцев, идентифицирующих себя евреями, все эти люди, живущие на вожделенной земле, были соперниками и равно подлежали уничтожению. Таковы были реальные нравы того времени, и запрет “не убий”, принятый измученной толпой беглых рабов у подножья Синая в обмен на обещание чудесного спасения, был тогда лишь неосознанным – формальным – актом, мало влияющим на образ жизни и поступки. И всё же, во вспышках молний Синайского откровения – ярком впечатлении о добре и зле – на мгновение осветилась истина о жизни и смерти. Осознать смысл этого явления, как начала цивилизации, увидеть в заповеди аксиому мировоззренческой теории возможно только личным усилием разума и доброй воли – “с начала”: в каждом времени своей жизни – и прежде, и теперь – на исходе четвёртого тысячелетия истории осознания Единства Мира по “теории Авраама”...

Лирическое отступление...

Думаю, существует некая информационная иерархия “впечатлений о мире”, соотносящихся по жизненной важности на системном уровне. Вернее, не самих впечатлений, а порождающих их явлений. Мир открывает себя спонтанно или в соответствии с неведомыми циклами, монологом или репликой в многоголосье. Похоже, что явление, известное, как «откровение» – нечто, несравненно более ёмкое, чем просто «впечатление» – всплеск концентрированной информации, высвечивающий вектор познания истины.

Известно, что центральные философские учения, близкие по смыслу, возникли приблизительно в одно время, словно оплодотворённые одним откровением – одной идеей. Греческих философов, иудейских пророков, буддистов в Индии и даоистов в Китае посещает идея единого мира и человека, одиноко несущего в себе мир. Слово свет молнии на мгновение осветил спрятанную во мгле реальность, и какие-то люди сумели рассказать то, что успели увидеть. Какова природа откровений? Воля высшего разума, направленная на просвещение людей, или это случайные искры, возникшие в информационных потоках? Что ж, вечные вопросы, не извратив своей сути, не могут составить коллекцию мгновенных ответов.

Вернёмся к Синайскому откровению, где, похоже, про-

изошло, мощное извержение информационного вулкана. Застывшая лава хранит письмена десяти заповедей – закона, ставшего органикой современных юридических норм. Но главное, пожалуй, что хранит древняя лава – это отпечаток явления превращения толпы в народ. Конечно, он условен, как любой символ, но достаточно обозначен, чтобы видеть его основной признак: народ – это люди, осознанно принявшие один закон.

Очевидно, что в исторический момент Синайского откровения среди смертельно измученных и отчаявшихся людей не было и не могло быть «осознанного принятия закона» в полном смысле этого слова. Но и “народом” люди у подножья Синая стали не сразу. Долго простояли они, терзаясь сомнениями и совершая ошибки, а затем сорок лет бродили по пустыне, пока не умерли рабы – уже не чужеземного Египта, но личной зависимости от своей судьбы.

«Исход» – не перемещение из одних обстоятельств в другие – в другую страну, идею или религию, как бы энергично, направленно и даже успешно, по стандартам общественного мнения, ни происходило это событие. Исход – в осмыслении жизни. Освобождается не раб, а свободный человек. Свободный человек, оказываясь в рабстве, стремится к свободе, а раб ищет рабства, избегая свободы.

Свобода – состояние человека, которое проявляется способностью разумной души подниматься над своей “второй натурой” – догмами, канонами, штампами, собственными

психозами и ментальными привычками. Внутренне зависимый человек всегда найдёт форму для своего рабства, в которую сумеет вписаться, как жертва, или, как тиран – по обстоятельствам. Найдёт и виноватого, которого можно обвинить в своей несостоятельности, и спасителя, на которого можно переложить ответственность за себя. Жаль, что рыбки-прилипалы не описывают свою жизнь – это была бы великая трагедия о фатальном преследовании их морскими гигантами...

Для меня свободное общение редко возникало в реальных встречах с другими людьми. За недостатком «душевных друзей», с которыми могла бы поделиться впечатлениями и мыслями, радость общения черпаю из книг, а если и таких недостаточно, то пишу сама, чтобы читать, создавая себе «живое общение», которого мне не достаёт. И это – не иллюзия, а данность, на которую могу опереться.

Любой текст – всего лишь зерно, которое может прорасти в разумной среде. Текст принадлежит тому, кто способен его прочесть. В этом высоком смысле проблемы авторства не существует, как не существует списка личностей. Сколько? Когда? – ответы на вопросы, связанные с количеством, местом и временем, мало что объясняют.... Много? Мало? Давно или недавно? Кто был автором скрижалей? А Торы? Авраам – был? Давно? Возможно, но... для меня – в это самое мгновение, когда я думаю об откровении, посетившем его... Его? Да нет, это – моё откровение... Он не мог мыслить моими мыслями, в моих обстоятельствах и формули-

ровках... но, вместе с тем, близость мироощущения... его... моего... множества безвестных людей, сумевших мыслить, стремящихся к свободному общению через слово?

“Думаю” не мысль Авраама или... Эйнштейна... И читатель моего текста думает не мою мысль – каждый человек разумный думает свою мысль – единственную и неповторимую, но... о Мире Едином – Одном для всех – собираемом в единую гармонию разумом – мире разумном. Даже моя собственная мысль, материализованная в текст, – “моя” условно, то есть, не тогда, когда храню её в рукописи с моим именем, а тогда, когда переосмысливаю заново – свою, вчерашнюю мысль – “себя в прошлом”.

Кто же для меня Авраам? Яркое впечатление? Информация, пробудившая мою мысль для создания “эскиза об Аврааме”... Разумное поле, в котором проросло и моё сознание.

“Сопереживаю Аврааму” – спустя четыре тысячелетия – и воссоздаётся его облик, дом, голос, улица, мучительное ощущение бессвязности мыслей, слов и поступков, одиночество среди самых близких, сомнения, эмиграция – жизнь в чужом времени и обстоятельствах. Пытаюсь осознать историю жизни другого человека так, чтобы не подменить его жизнь своей, не распять душу другого человека по своей мерке – в “образе Авраама”. Так понимаю заповедь “не убий” – в уважении к другой жизни, которое возможно, если уважаешь и свою жизнь.

Гуманное пожелание «относись к другому так, как хотел

бы, чтобы относились к тебе», улы, имеет и теньюую сторо-
ну. Отношения подчёркивают трагическое неравенство лю-
дей. Человеческое общение всегда относительно, поскольку
сознание индивидуально, и в понимании этой относительности
вижу исток культуры отношений. Слова «отношения» и
«относительность» – от одного корня. Абсолютное взаимо-
понимание вряд ли достижимо. Не разумно настаивать на
«слиянии душ» и строить свою жизнь на этом мистическом
фундаменте. Это не значит, что не стоит стремиться к ду-
шевной близости с другими, но душевный диалог с другим
человеком возможен лишь на пути диалога с самим собой.
Нужно быть готовым к шансу услышать и ответить другому,
если судьба подарит счастливую встречу. Но если нет, то и не
стоит губить свою жизнь, превращая себя «в горох об стен-
ку». Жизнь самоценна и не нуждается в посторонней мере,
но сама становится мерой: живой человек благодарно оценит
и мимолётную улыбку, а безразличный обесценит и золотой
дождь.

Для добрых отношений достаточно соблюдения принятых
общественных норм – прав и обязанностей – если, разуме-
ется, общество достаточно демократично. Важно понимать,
что милосердие может быть только взаимным. Взаимное уси-
лие понять, но не друг друга, а Мир, как общую данность.
Человек – «чёрный ящик», его не позволительно вскрыть,
чтобы узнать индивидуальное устройство – жизнь неприкос-
новенна. Но в открытом общении с другим человеком

можно лучше узнать общие законы жизни, а значит, и себя. Потребность в Боге – посреднике в диалоге между людьми, мистической сверхличности, символе мировой разумности и гаранте высшей справедливости – естественна для человека. Он говорил с Авраамом и может говорить с каждым человеком об одних и тех же истинах. Авраам ответил, как сумел, и каждый отвечает за себя.

Союз заключается, как приглашение к диалогу, но не исчерпывается им. Союз подтверждается – опосредованно – достойной жизнью. Ошибочно, думаю, автоматически распространять однажды свершённый человеком акт бытия на всю историю его жизни и принимать, как благо, все его слова и поступки на том основании, что однажды он «был на высоте», а значит – навеки «святой». В этом смысле, иудейская мифология справедливо повествует о своих праотцах, как о нормальных людях с земными слабостями и проблемами, строящих свою жизнь, скорее, вопреки, нежели благодаря, когда даже само милосердие нисходит травмой, как это случилось с внуком Авраама (Яковом-Израэлем), охромевшем в борьбе-диалоге с Богом...

Иудейский Бог – невидим, нет его культовых изображений. Образ его – «святое присутствие» – материализован пустотой в «Святая Святых» – «Скинии» – рукотворной форме, исполненной по требованиям, изложенным в Торе. «Пустота» – идеальная форма для абстрактной идеи, овладеть которой – в прямом смысле – невозможно. Так, по обычаям

языческих войн, победитель должен был взять в плен идолов побеждённых. Это было невозможно в войне с иудеями – их святыня была не материальна, и можно было перебить народ, разрушить Храм, но победа «де-факто» не подтверждалась «де-юре», и это был ещё один прецедент, разрушающий устои языческого мира.

В общественном мнении существует собрание суеверий, ставших классикой. Среди них весьма почтенный сборник мифов под названием “Еврейский вопрос”. Думаю, он, как и все роковые вопросы, обозначил (метафорой) противостояние двух человеческих архетипов: индивидуалистов и коллективистов, стремящихся к разным способам жизни и, соответственно, к созданию принципиально разных моделей общественного устройства.

Думаю, что борьба с архетипами бессмысленна. Социальная ориентация архетипов происходит, видимо, в таком же драматическом контексте, как и ориентация полов. Если индивидуалист оказывается в тоталитарной общине, которая навязывает ему свои понятия, он чувствует себя так же, как мужчина в теле женщины или наоборот, и, пытаясь освободиться, стремится изменить своё социальное тело – свой «образ жизни». Думаю, ситуация не симметрична, и общественный строй, созданный индивидуалистами по своей мерке, достаточно универсален: комфортен и для коллективистов, которые могут реализовать своё тяготение к общественной жизни частным образом – в своей семье или про-

фессии.

«Еврейский вопрос» стал символом противостояния мировоззрений. Он возник, как исторический прецедент, появлением на древней сцене, знающей бесчисленные ипостаси язычества, монотеиста – плоть от плоти (и крови, разумеется) мамы-папы – язычников... Первый в мире публичный индивидуалист по имени Авраам воспринимает Бога, как личное откровение. Думаю, что Авраам не был избранником – Бог открывался людям не по секрету. Он открыт всем, а быть или не быть – осознавать истину или прятаться от неё за декларативными вопросами – решает сам человек. Четыре тысячи лет все участники и зрители истории “от Авраама”, так или иначе, активно или пассивно, формируют своё мировоззрение под еврейской звездой. Думаю, культурный компромисс, связанный с еврейством – в понимании символичности этого явления. Евреи стали символом мировоззрения, не популярного в «массах» и по сей день, вопреки тому, что именно оно – в основе цивилизации.

Антисемитизм

Не думаю, что имеет смысл рассматривать разнообразные лики шовинизма отдельно, когда явление известно в его полноте, как преступление, наказуемое согласно цивилизованному законодательству. Для ежедневного пользования достаточен принцип: не важно какие – меркантильные, эмоциональные или идейные порывы – вели к преступлению против человека. Если я хочу защитить себя от антисемитизма, то ищу не доброе отношение к евреям (и не любовь), а зрелое и работающее законодательство. Разумеется, при условии, что я – сама – законопослушна, что исключает личный шовинизм. Для меня современный антисемитизм – вредное суеверие – одно из многочисленных языческих божков и семита, верующего в свою исключительность, и его протестующего "анти".

Израиль должен осознать себя обыкновенным – нормальным – народом, нуждающимся в нормальном государстве и конституции, с тем, чтобы сосредоточиться на себе, как источнике собственных проблем, какими бы уникальными они ни были. Решение еврейского или любого иного рокового вопроса – в становлении демократического закона. "Кто виноват?" – тот, кто претупает закон. "Что делать?" – жить по закону.

Реально ли это на современном историческом витке? –
«Дорогу осилит идущий»...

О христианстве...

Христианство проистекает из иудаизма и Новый завет не противоречит Ветхому: Христианство вобрало в себя идею иудаизма о единстве мира и гуманное законодательство десяти заповедей, облачив их в новую форму, вернее, романтическое платье эллинского стиля, сшитое по социальному заказу новой эры.

Думаю, что идея единства мира (Бог – один), возникшая в иудаизме в своей совершенной форме (Бог – невидим), слишком абстрактна (невидимость формы), чтобы быть достаточной для повседневности. Идеи даны человеку, как и сам мир, в своём законченном виде – для личного осмысления, а не общественного пользования. К обществу иудаизм обращён другим своим откровением – законодательством, основанным на принципе гуманизма “не убий”. Десять заповедей, по сути своей – одна заповедь, запрещающая убийство, а остальные можно рассматривать, как её логическое продолжение, вырастающее в этическую систему и демонстрирующее способ мышления. Действительно, разве воровство и клевета – не есть убийство? Разве не ведут они ограбленного или оболганного человека к гибели?

Размышляя таким образом, можно переосмысливать заповеди, в которых убийство – логическое завершение неэтичности, и, таким образом, создавать свою личную эти-

ческую культуру на законодательной основе.

Христианство возникло в безвременье смены эпох и перерождения мира.

Современные еврейские историки любят бодро аукать древним грекам и римлянам: мол, где вы? – а мы тут... – утверждая, что возрождение древнееврейского языка говорит о непрерывности еврейской истории, в отличие от греческой, римской.

Проявление непрерывности видится мне не столь в языке и традициях, а в связи этических норм общества с принципами заповедей. И, в этом смысле, любое общество, живущее по зрелому законодательству, адекватному Законам Моисея, создаёт своё благополучие, становясь избранным народом. Благословение не даётся в вечное владение – его нужно отрабатывать на каждом историческом витке. Так же мне видится преемственность и на личностном уровне: не через телесную связь (по крови, генам или ментальным традициям), но духовную, воплощённую в этическую культуру. И своё собственное достоинство нельзя заработать однажды – на всю жизнь, его приходится отрабатывать, воспроизводить, чтобы быть в каждый свой новый день достойным.

Две тысячи лет тому назад Рим отстаивал своё право владения Миром, и среди побеждённых и изгнанных со своих земель людей оказались и евреи. Участь изгнанников, конечно, была трагичной – трагедия всегда доминирует в судьбе “посетивших мир в его минуты роковые”, но Ветхий Завет,

полученный евреями в наследство, стал своего рода охранной грамотой в обществе новой эры. Евреи получили статус неприкосновенности, как живой символ основ христианства, и в этом лестном (и, увы, не всегда оправданном) качестве пребывают в общественном сознании по сей день. Смена эпох во многом определялась сменой символов в общественном сознании. Невидимость еврейского Бога исключала его участие в конкурсе форм. Он проходил в вечность вне суеты олимпийских претензий – вне времени и пространства – как Бог, которому не нужен рукотворный храм.

За две тысячи лет – к началу новой эры – идеальная форма “завета”, данная Аврааму в личном диалоге, изрядно истрепалась: чиновники иудаизма адаптировали её к своему уровню, превратив в китч. Конкурс на нового идола евреи проиграли, надо признать, заслуженно: к нулевой отметке временной эры они представили свою религиозную эстетику в непривлекательном виде. Проиграли и эллины – у старых олимпийских богов отвалились их греческие носы, а римские, слепленные с натуры, были слишком вульгарными. Миссия создания компромиссной формы де-юре досталась новому сообществу – христианам, де-факто – мастерам европейского возрождения: Бог проявился в их живописи, архитектуре, музыке. Этика иудаизма облачилась в эстетику христианства, как и было завещано – “дети Иофета живут в шатрах Сима”...

Эстетика, как осязаемая ипостась явления – психологи-

ческая потребность общества. На «внешний вид», созданный живописью, музыкой, архитектурой, церемониями, переносится внимание людей. Ущербная эстетика разрушает создавшую её идею, и в этом смысле, иудаизм не сумел создать достойный идеи образ – не сумел найти удачный компромисс между идеальной невидимостью Бога и психологической потребностью людей в чувственной материализации... Не знаю каким мог быть «образ иудаизма»... Может быть, “Белый квадрат”? – не случилось... И в святой пустоте возникло лицо человека – Иисуса Христа, которому можно смотреть в глаза во время молитвы, чувствуя себя менее одиноким... Безответная молитва вновь подменила диалог, и сильные чувства, в который раз, вытеснили собой слабый разум. Универсальная идея была адаптирована для нищих духом.

В слабом законодательном поле неразвитое общественное сознание нуждается в материальном гаранте “высшей справедливости” – в сверхчеловеке, к которому могут обращаться “униженные и оскорблённые”. На историческом перепутье Иисус возник заступником страдающей плоти. Старая эра кончалась, не приходя в сознание – в войнах, массовых психозах и зверских казнях... Спасителем Новой эры стал Богочеловек, воскресающий чудесным образом. Крест – из орудия зла – пыток и убийств – стал символом добра... Чудесным образом интерес общества был перенесен из реальности, требующей осмысления, в иллюзию всеобщего спасе-

ния без хлопот личного покаяния и одного на всех “воскресения”... Иудейский Бог оказался слишком абстрактным, и, как и тогда, у подножья горы Синай, измученные обстоятельствами люди, слепили из своей страдающей плоти нового “тельца”. Иисус Христос, утешая и смиряя, утверждал в Новой эре закон Моисея и эстетику с семитским лицом...

Должно быть, христианство – закономерное социальное явление в контексте исторического развития общества – шикарная жемчужина, возникшая в общественном сером веществе от инородной ему песчинки разума. Оно лукаво подменило этику эстетикой, предложив вместо ясных общественных отношений “по закону” – неопределённость игры “по любви”, когда нет чёткой грани между свободным соитием и изнасилованием, а объявление любви подчас опасней объявления войны. Верю, что мир разумен, несмотря на несовершенство теорий о нём, что даёт надежду на спасение от безумия.

В христианскую эру еврейская история вплелась в мировую и своей этикой, и физическим присутствием: евреи расселились в Европе и Северной Африке, а затем в России и в Новом Свете. В этот период был создан свод законов для жизни в “рассеянии” – для тех, кто продолжал самоощущать себя евреем – кому была необходима духовная опора в иудейском мировоззрении или психологическая защита – в ритме еврейского “образа жизни”. Так, в законе для жизни в “рассеянии”, еврей должен был жить по юридическим за-

конам страны проживания, служить в армии, выполняя всё, что положено по уставу, но его присяга не должна доминировать над клятвой еврейскому Богу. Конечно, солдат (и просто гражданин), в душе которого поют не боевые марши (или гимны), а звучит неумолимый камертон заповедей, никогда не станет своим настолько, чтобы удостоиться “всемирной любви”, и его удел – реально – быть чужим – в отстранении от общественного ритма. Увы, непонимание своего удела, как компромисса; желание – во что бы то ни стало – психологического комфорта, чувственной любви к себе публики, ощущения своей принадлежности, социальной близости (стадный инстинкт), ломает компромисс не извне – не со стороны “анти”, а изнутри – со стороны самих евреев, не способных лично окультурить данность своего еврейства так, чтобы чувства не унизили душу.

Чтобы не потерять себя и преуспеть социально, человеку необходима жизненная позиция. Должно быть, явление человека с ярко выраженным внутренним законом, который так восхищал И. Канта, не часто, и большинство людей нуждается в целенаправленном образовании своей души. Учение иудаизма времён рассеяния сформулировано в свод компромиссов духовного начала, определённого, как “еврейская душа”, и обстоятельств жизни в пространстве новой эры. Древняя еврейская душа, без сомнения, обладала традициями и культурой, которых недоставало молодой христианской душе, переживающей все пороки детства и отрочества.

чества. Но, разумеется, возраст не определяет качества души и не спасает от инфантилизма, о чём забывают современные идеологи национальной принадлежности души.

Вернёмся к началу

Думаю, главное отличие между людьми – во внутреннем законе, который видится мне мистической сутью человека. Человек появляется на белый свет со своими “предварительными знаниями” о том, что есть добро и что зло, что можно и чего нельзя. В течение жизни он согласует – более или менее осознанно – свои собственные интуитивные представления с принятыми в его окружении, находя компромисс, который определяет всю его жизнь. В конечном счёте, человек строит свои отношения с другими – близкими и чужими – по тем же законам, что и с самим собой. Видимо, лживый человек просто не способен на искренность. Следует знать, что намерения лгать в одних обстоятельствах и быть правдивым в других; хамом с одними и корректным с другими – не реальны. Хитрости такого рода, прежде всего, деформирует внутренний мир их автора, создавая безысходные противоречия, разрушая связи и множа хаос в душе. Думаю, что лжёт человек, прежде всего, потому, что не способен на правду – не знает истины. Глупость и подлость – общего свойства.

Отсутствие закона – тоже закон с названием «произвол», и он – самый несвободный. Восприятие жизни и сама жизнь

сводятся к разрозненным «клипам», как в старом советском фильме, где несчастный крестьянин восклицает: «Белые пришли – грабуют, красные пришли – грабуют». Беспредел вызывает защитную реакцию – равнодушие, когда всё становится безразлично – происходящее теряет смысл – и человек или безвольно плывёт по течению, или идёт на штурм неведомой ему стихии. Так, вчерашний коммунист, превращается сегодня в сиониста, завтра – в антисемита или опять – в коммуниста, а вчерашняя проститутка – в сержанта полиции нравов, и всё это вполне искренне: безразличный не отличает добра от зла, не видит себя со стороны, не помнит прошлого, не связывает его с настоящим и будущим.

Проблема в самоидентификации. По определению Конфуция глупец – тот, кто “не знает, что он не знает” – случай, когда нет исхода в обращении к самому себе: “Кто я?” Зацикленное самосознание исходит дико – слепым упорством, когда человек распинаят самого себя и других в клеточках биологической классификации и, как продолжение прокрустовой методы, в расовые, национальные, профессиональные, родственные рамки – по крови, генам и прочим материальным признакам, не учитывающим его духовной принадлежности. Что же делать? Сантименты по поводу глупости не просто бесплодны, но развращают и их объект, и сочувствующих. Думаю, “делать” нужно самого себя, жить свою жизнь – только на этом пути человек способен на милосердие и к себе, и – опосредованно – к другому.

О ментальности

Менталитет – общественное поведение – говорит о принадлежности к обществу, времени, месту с его языком, литературой, традициями, искусством, наукой, образованием, воспитанием и прочими составляющими общественного “бульона”, формирующими навыки, представления, привычки, понятия, возникающие из бессознательного подражания.

“Образ жизни” – порядки и ментальности, отнюдь не случайны, и тоже, в определённом смысле, вечны, как вечны архетипы характеров, ситуаций, отношений – «левее или правее» универсального закона. Они ярко представлены политическими партиями – социальными ипостасями архетипов (парламент – социальная модель общества).

В отличие от культуры, менталитет формируется на уровне психофизических рефлексов, и потому он может войти в противоречие с культурой. Достаточно свободный человек, стремящийся к культуре и осознающий недостатки своего менталитета, вполне может влиять на него, создавая новые привычки, более адекватные его индивидуальности, и тогда возникает стиль – оригинальный облик. Следует помнить, что личный стиль создаётся, прежде всего, внутренней работой. Манеры, поведение, речь, мимика – форма, которая без связи с внутренним миром человека, не более, чем карнавальная маска. Можно с помощью стилиста, парикмахера,

психолога и иных специалистов повлиять на свой внешний облик так, чтобы он стал адекватен среднестатистическому идеалу конкретного времени и места, но без личного участия возникнет манекен.

Общество может быть культурным ментально – органично – благодаря присутствию в нём достаточного числа культурных технологий. И в этом смысле цивилизованное поведение – окультуренный менталитет. Менталитеты народов могут быть различны, но культура – явление общечеловеческое. Культурные люди разных менталитетов общаются достаточно легко, а люди с общей ментальностью часто не находят общий язык, как это бывает с самыми, казалось, близкими людьми, если они находятся на разных ступенях культуры. Более того, похожесть может ввести в заблуждение, создав иллюзию взаимопонимания.

В современной цивилизации происходит унификация менталитетов. То, что уместно в этнографическом музее, вряд ли жизнеспособно в современном мире. Кино- и теле-общение, музыка, компьютер, туризм создают единое информационное поле, в котором традиции отступают в область фольклора. Культурные технологии не являются теперь достоянием некой привилегированной группы, но доступны каждому, как водопровод – было бы стремление. Технические атрибуты цивилизации создают достаточные условия для личной свободы, и, пожалуй, впервые обнажается правда о том, что к свободе стремятся далеко не все.

О воспитании чувств

Эмоциональная амплитуда – данность природы каждого человека, и у одного она больше, у другого – меньше. Проявление чувств – их материализация в словах и поступках – зависит не только от природы эмоционального начала, но, в значительной мере, от культуры человека и его внутренней свободы – от его способности осознавать и выбирать среди своих чувств те, которые не поработили бы душу и не принесли бы в мир зло. Свобода – данность человеческой души, но не его “живота”. Душа, если она жива в человеке, свободна в выборе чувств. Она, как хорошая хозяйка, примеряет их к себе, заботясь о соответствии: не агрессивны ли чувства, не пленяют ли разум, не подлы ли своей двойственностью. Разумная душа позаботится и о том, чтобы не разрушить свои чувства, не унижить их, не подавить, не уничтожить желания. Предназначение души – воспитание чувств.

Мне часто говорили: “Вы такая спокойная...”, воспринимая сдержанность, как бесчувственность – стереотип варвара, который предполагает, что если некто не захватывает в свои переживания всё, что плохо лежит – не ворует и не вторгается в чужие пределы, то это потому, что нет у него «вкуса к жизни», в отличие от тех, кто «хочет», то есть, владеет индульгенцией на право желания. Амплитуда чувств – индивидуальная способность, но вот, как ею распорядить-

ся? Вдохновенное перо может написать «Я помню чудное мгновенье», а может – кляuzu или фальшивый вексель – при этом авторы испытывают сходные чувства, да только похожий эмоциональный всплеск создаёт противоположные эффекты в спектре добра и зла.

Потребность душевного отдыха – расслабления, забвения – реальность человеческой природы, такая же, как и потребность сна – не низкая и не высокая, а равная среди равных. Она тем острее, чем интенсивней информационный поток – разум устаёт от «слова», растиражированного всеу современными средствами информации. «Спасение души» от научно-технических технологий – в создании культурных технологий. Душе не обязательно разделять бесчисленные нужды психики и тела, она может быть в достойном отстранении, как мудрая мать по отношению к своему ребёнку, которая не прислуживает, но научает. Душа, освобождённая культурными технологиями от рутинного воспроизводства – “на кругах” – может заниматься качеством бытия.

О мужчине и женщине

Тема любви мужчины и женщины отдана поэтическим метафорам, с которыми соперничает лишь ненормативная лексика – две стороны бесчисленных симуляций слова. Атеист декларирует, что любовь – «химия» – нечто, хотя и естественное, но слишком сложное для понимания. Верующий декларирует, что любовь – Бог – сверхъестественное, а значит и вовсе не для ума. Современная традиция адаптировала сюжет до уровня сексуального партнёрства, а медицина и педагогика свела к функциям и рефлексам. Как и во всех проявлениях жизни, человеку приходится образовывать себя в своей способности любить. Как бы там ни было, ориентируясь в бесконечном море фактов и мифов, приходится сооружать самому свой эскиз о любви.

Касаясь этой темы, ещё раз напоминаю, что я только пытаюсь понять – не настаиваю, не утверждаю, не поучаю, но ищу в любви её естественные границы, которые определила относительно нравственных норм. Я пытаюсь избежать беспредела «всепоглощающей» любви. Коль скоро я пытаюсь моделировать в эскизах свою жизнь, приходится опускаться с небес на землю все её тайны. Надеюсь, что читатель, если он прочёл мой текст до этого места, принял компромисс, предложенный мной вначале, вернее, «в началах», предложенных не мной.

Бог создал Человека – мужчину и женщину – союз двух природ – различных, но нуждающихся друг в друге, и не только для продолжения рода, но и для жизни. Свойства мужской и женской природ – «мужественность» и «женственность» – проявляются не только физиологией, но своим «началом» – компромиссом.

Думаю, в душе каждого человека хранится эскиз его Галатеи, и если он не востребован – не осмыслен, если утрачена связь с душой или недостаёт знаний и мастерства на воссоздание эскиза в своей жизни, то «приходят в странной суете разнообразные не те». Станислав Лем описал в «Солярисе» встречи людей с фантомами, вырвавшимися из их внутренних миров. Большая часть «гостей» явилась клиповой плотью, возникшей из бессмысленной информации, которой было замусорено сознание её обладателей.

Находясь в реальной близости с тем, с которым свела судьба, каждый продолжает общаться и со своей мистической половиной. Любые отношения «относительны» по своей природе, и диалог, скорее, ближе не к дуэту, но к квартету, когда в голоса двоих вплетены голоса идеалов, а за их неимением – общественных кумиров. И в этом смысле, важны не так голосовые данные и колоратурные подробности участников, как элементарные знания гармоний – норм нравственных отношений.

Добрые отношения – равноправные и личностные одновременно, объединяют разум и чувства в «любовь». «Бог

есть Любовь» или «Разум», «Закон», «Мир» – нет противоречия в ипостасях идеала, к которому стремится человек. Бог создаёт человека по своему образу и подобию, но и человек создаёт своего Бога, и этот внутренний диалог определяет отношения человека с самим собой, Миром, другими людьми.

Культурное образование может обозначить существование разных уровней близости между мужчиной и женщиной, что избавило бы многих от разочарований и психологических травм. Спору нет, физиология вынуждает людей искать компромиссы далеко за пределами духовных идеалов, и спаси бог от ханжества. Но это не означает, что снисходя к телесным страстям, можно покидать пределы нравственности. Там, где нет культуры, возникает культ. Культ плоти, как любой иной, нивелирует человека, сексуальная индустрия усредняет пол, подавляя мужское и женское начало. В попытке победить в себе Человека, мужчины и женщины позволяют насиловать и развращать свою природу. Последствия катастрофичны для всех, и эпидемия гомосексуализма в этих трагических метаморфозах – лишь видимая часть айсберга.

В любви человек утверждает себя в наибольшей близости с другим, провоцируя естественное противоречие между потребностью отдать... и сохранить себя.

В восточных философиях «инь» и «янь» нуждаются в гармонии, без которой человек разрушается. Примитивное тол-

кование отношений мужского и женского начал на протяжении веков материализовалось чудовищным насилием. Так, в Китае столетиями женщинам уродовали ступни ног, превращая их в калек. Но не стоит преувеличивать вину мужчин – женщины с энтузиазмом угнетают и самих себя, и своих дочерей, и своих мужчин. Видимо, таким варварским способом люди компенсируют примитивность своих отношений, как это происходит во всех диких общинах. Не знаю, как попадает в земной мир разумная душа, но механизм неуёмного размножения обездоленной плоти заводится в отсутствие разума. Не знаю, задуман ли был этот эффект или мир поломался, а то, что воспринимается как динамика, часто – не более, чем инерция.

Вернёмся же к нашим влюблённым баранам... «Война полов» и подобные штампы вбиты в ментальность толпы, как гвозди в гроб. Сентенция «размышления мешают наслаждению» нужна тому, чья мысль слаба, не поспевает за ощущениями, или же бежит от них, пугаясь уродливой формы или страшной сути своих наслаждений. Так, педофилу, например, чтобы «наслаждаться», лучше, конечно, не думать. И, вот, безмыслие уже культивируется, как всеобщая норма удовольствия, «занятия любовью» в общественном мнении вытесняют саму любовь, и в хаосе агрессивной информации вполне нормальные мужчины и женщины теряют ориентацию уже не только в этических сферах, но и в определении своего пола. Впрочем, «снявши голову, по волосам не пла-

чут»: не всё ли равно, каков «вторичный» признак у того, кто лишен своего «первичного» признака – разумности. Видимо, для многих физическая близость – единственный способ ощутить себя цельней, что и толкает в объятия, подчас, чужих и враждебных друг другу людей.

«Объявление любви» опасней объявления войны, потому что охотник за «предметом любви», ощущает себя, как никогда, правым. Действительно, право на любовь регламентировано не так чётко, как на материальную собственность: деньги, дома, машины. В беспредельном стремлении любить – ребёнка ли, родину, женщину или, пусть, самого Господа Бога, человек, не осознающий происходящее с ним, не способный на самоограничение, становится разрушителем. В безудержном стремлении к вдохновению, признанию, счастью – глупец опасен.

Человек рождается с даром любви столь же индивидуальным, как и все иные дары, но любовь его развивается счастливо или несчастливо в зависимости от того, насколько он осознаёт в ней себя. Доверить свою любовь можно только самому себе – своей интуиции, культуре, которые подскажут, если они развиты, и достойный выбор, и то, как самому достойно вести себя в любви. Чем цельней, собранней и культурней человек, тем полнее реализует он свой дар любви. Можно воплотить свою любовь в реальные отношения или сублимировать в виртуальные – как позволит судьба. Но как бы ни складывались обстоятельства любви, её автор со-

здаёт одно своё произведение, сколько бы различных жанров и сюжетов не объединилось под его именем.

Жизнь – воспроизведение себя. Думаю, что ощущение счастья возникает тогда, когда этот труд успешен. "Я сумел, у меня получилось" – ликует душа. Человек нуждается в успехе своей жизни – в подтверждении, утверждении себя. Успех в любви – яркое подтверждение жизни. Взаимность в любви происходит, как в совместном восприятии музыки: каждый слышит и переживает её индивидуально, но выбор партитуры и исполнение могут быть общими. Партитура – общность миропонимания и культуры – единственно, в чём вижу реальный шанс взаимности. Думаю, успех для двоих возникает из успеха каждого – не из ущербов половин, нуждающихся в дополнении, но соучастием цельных людей, когда каждый живёт в своей жизни, и, вместе с тем, возникает общее жизненное пространство – новое измерение, воспринимать и осваивать которое приходится... тоже порознь...

Вряд ли официальная регистрация союза мужчины и женщины делает его лучше. При всём моём уважении к закону (что неустанно обосновывала в этом тексте), брак – исключительная форма союза, изначально требующая искренности и доверия, без чего он не состоится фактически. Убеждена, что союз между мужчиной и женщиной возможен, если их объединяет внутренний закон. Все социальные, финансовые вопросы могут быть улажены по общему согласию, юридически оформлены и без брачных контрактов. Посредник

нужен, если люди не доверяют ни себе, ни друг другу, но если при этом они, всё же, согласны жить вместе, то, конечно, юрист необходим, а также полицейский, священник, свидетели и судьи – участники и зрители очередного детектива.

О ребёнке

Если прежде я отпускала поводья своих рассуждений, то в размышлениях о ребёнке попытаюсь держать их, поскольку в этой теме я – не одна...

Пытаясь продолжить свой монолог, понимаю, что пишу свои эскизы не только для себя – теперешней или для своих детей, но для некого – абстрактного – ребёнка, которым могла бы быть и я.

Вряд ли эскиз о детях может быть прорисован в отдельной главе. Он вплетён во все размышления: о мире, человеке, добре, зле, культуре, любви. Принципиальная разница лишь в том, что в отношениях с ребёнком счёт выставлен особый. Прекратить отношения «отцов и детей» вряд ли возможно живому человеку. Даже если «отец и сын» расстались, их диалог продолжается. Его можно заглушить лишь вместе с общим восприятием жизни.

Традиция рождения ребёнка для «любви» возникла, кажется, в веке семнадцатом. Прежде ребёнок воспринимался, как функция продолжения рода, и его права и обязанности были весьма строго определены. Технологии взаимоотношений «отцов и детей» – до «эпохи любви» – были самыми разнообразными, но, как бы там ни было, технологии, основанной на любви к ребёнку, видимо, не существует, и тот, кто

рождает своего ребёнка «для любви» отправляется с ним в путь над пропастью с завязанными глазами.

Ориентирами и поддержкой в этом путешествии могут быть только нравственные нормы. Глупая родительская любовь разрушительна, подчас, не менее, чем равнодушие или даже враждебность. Не удивительно, что взаимоотношения «отцов и детей», основанные на чувствах, чаще всего превращаются в культ со всеми его печальными следствиями: беспределом и насилием, разрушительней которых нет – никто так не ранит, как тот, кого боготворишь. Молодая мифология о любовных отношениях родителей и детей пребывает на уровне мексиканских сериалов и реализуется подобным же образом: «Хуанито, я отдала тебе всю себя, а ты...» и т. п.

И жесткая рациональность в отношениях родителей и детей ущербна. Живые, добрые отношения – компромисс, опирающийся на культуру и нравственность. И если они не ложны, не декларативны, то есть шанс взаимной разумной любви – только шанс.

Хотят того родители или нет, понимают или нет, но они передают ребёнку свой образ жизни и преподают систему отношений, принятую в семье, и не ту – идеальную, которую они предполагают, декларируют и изображают, а реально существующую, которую, подчас, и сами не осознают. В зависимости от того, нравственны или извращены истинные отношения в семье, ребёнок войдёт в жизнь с теми законами, которые получит от родителей. Напоминаю, что отсутствие

реальных законов – тоже закон, и он – самый жестокий и делает человека бесправным и беспомощным перед собой и другими людьми, судьбой и всем Миром.

Трудно приходится ребёнку, родившемуся в семье, где по-разному понимают, что есть «добро и зло». Трудны испытания выбора между пожеланиями «добра» в разных системах координат изначально – от самых близких. Есть отчего заблудиться и потеряться с малолетства. К тому же и сам ребёнок приходит в мир с предварительными знаниями – индивидуальной ориентацией и мышлением, которые проявляются и предъявляются близким.

Если семье не достаёт культуры отношений, то конфликт мироощущений, а вслед за ним баталии разной степени жестокости неизбежны. Семейные войны происходят по тем же сценариям, что и «Великие Мировые»: атаки, затишья, захваты территорий, разграбление святынь и ценностей, пленения, побег, дезинформация, шпионы, дипломаты и т. д. и т. п. . . . Отличие в том, что победителей в семейных войнах никогда не бывает – слишком раним сей хрупкий организм.

Родители нуждаются в культуре не только на уровне своего менталитета, но и в умении формулировать мысли – объяснять словами свой способ жизни – человек нуждается в «слове». Мистика присутствует в рождении ребёнка – невозможно точно предопределить топографию его внутреннего мира и набор даров, с которыми он приходит в жизнь, но совершенно очевидно, что развитие его будет более успешным

в культурном, а не в диком поле. Рождение человека не ограничивается физиологией – он нуждается в образовании своего разума – в «слове». Даже если созданы достойные социальные и материальные условия для рождения и есть самые добрые и нежные чувства, необходимо спросить себя самого: "Что я должен сказать своему ребёнку?" Возможно, если бы люди, решившие стать родителями, задали себе этот вопрос, то поняли бы, что не знают ответа, и эта мысль могла бы стать началом их собственного развития.

О равенстве людей...

Вернее, о неравенстве, данном при рождении... Дело не только в том, что кто-то родился во дворце, а кто-то – в лачуге, и не в том, что кто-то – у умных и любящих родителей, а кто-то – в приюте... Я не о судьбе, не о роке, и даже не о культуре и о даре талантов, а о предварительном знании “внутреннего закона”, когда душа, будто, знает, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя, что есть добро и что зло... – о врождённом достоинстве.

Если такие достоинства, как разум, воля, внутренний закон – данность, то в чём же свобода человека? И как быть тому, кто лишен дара? Можно ли стать нравственным человеком, или это качество не выбираемо и не достижимо в земных усилиях? “Быть или не быть” – выбор или обречённость?

Тайна бытия порождает мифы, один из которых – о переселении душ: вечная душа претерпевает множество инкарнаций, каждая из которых предопределена прежней жизнью. Сюжет связывает мистической нитью земную жизнь с бытием за пределами рождения и смерти. Прежде мне нравилась эта легенда, а теперь я выросла из неё. Что ли, живя здесь и сейчас, я отрабатываю вечность? Или, если ничего и никого нет, всё дозволено и не воздастся, стану ли жить иначе? Во-все нет. Думаю, никто за мной не следит, кроме меня самой, и то, что за пределами моей жизни – не важнее, чем мой се-

годняшний день. Моя свобода – состояние моей души. Думаю, это и есть “тайное тайных”, о чём А.С. Пушкин написал: “Скучна как истина, глупа как совершенство...”

Думаю, нужно принять свою человеческую природу как данность своей жизни – единственной. Думаю, что для достойного принятия жизни, то есть, реализации себя по своей индивидуальной мерке, необходимо ровно столько сил, сколько отмерено каждому по дарам его, если сосредоточиться на себе и не слишком отвлекаться на грубое сравнение с чужой долей – на зависть, тщеславие, гордыню, жадность, ревность, злорадство, мстительность и прочие глупости. Злые чувства – в большей или меньшей мере – свойственны природе каждого человека. Их невозможно уничтожить, но можно научиться сдерживать и не позволять им развиваться в пороки. Пороки – не просто некая абстрактная нравственная категория, а весьма конкретные болезни души, за которые приходится расплачиваться, прежде всего, их владельцу. Собственные пороки можно лечить, выращивая личные достоинства, как отличные овощи в своём огороде – по культурным технологиям. Жизнь с её счастьем и страданиями, благополучием или бедствиями материализуется по законам природы. Мир один, его законы едины для всех и каждого. Отсутствие жёсткой формы равенства – плата за свободу.

Завершаю свой прозаический опыт. Он помог мне лучше понять себя, многие жизненные коллизии, сориентироваться в возможном выборе, расставить приоритеты в отношениях с другими людьми.

Вернёмся в начало...

1998–2006 г.

Пьесы



Офелия, Гертруда, Дания и другие *Пьеса в пяти актах*

Действующие лица:

Гертруда – королева Дании,

Клавдий – король,

Полоний – вельможа,

Офелия – дочь Полония,
Лаэрт – сын Полония,
Рейнальда, Корнелия – придворные дамы,
Марцелла – белошвейка,
Бернардо – садовник,
Актёры и режиссёр бродячего театра

Акт первый

Картина первая

(дом Полония)

Корнелия

(обращается к Марцелле):

Ты, милочка, не будь дурёхой больше, и если хочешь жить не с синяками, как матушка твоя, что померла от мужниного кулака в живот, как говорят, кто видел... Да, вот, кстати, давно спросить хотела, ты была там и видела: ударил как – в живот? Неужто кулаком – и вышиб дух... или ногой – так более понятно: особенно когда *поддых* – в сплетенье дыхания, биенья и души: под “дых” ли, “дух”, но что-то там происходит...

(кладёт руки на “солнечное сплетение”, прислушивается)

Вот здесь то место, которым понимаешь быстрее, чем головой...

Марцелла:

Вот-вот, сударыня, вы бьёте прямо в точку: так и со мной, когда он говорит, что я прелестна, словно перепёлка, и вижу, что готов он съесть меня – совсем: от клювика до пяток, ... или что там – у перепёлки – есть, не важно, только... здесь, (взволнованно прижимает руки к груди) как точно вы сказали – не сойти мне с места, коли вру (истово крестится) – вот в этом самом месте (показывает)... есть *силок*...

Корнелия:

Как будто бы тошнит там? – это точно, но не еда причиной – не живот – иначе: “тошно”, как, когда сказали... о смерти короля (испуганно оглядывается)... в саду... под сливой – ну, во время сна: был... и не стало...

Марцелла:

Садовник сказывал, что непонятно: *сроду* не помирали так легко мужчины в расцвете сил, как наш король, что случай больно странный, что...

Корнелия

Ну-ну, довольно... разболталась, лишь бы без дела...

Я что сказать хотела: ты, Марцелла, иль “перепёлка” – впредь будь осторожней и избегай силка (*показывает на место под грудью*), а то вот здесь (*показывает на живот*) взбрыкнёт, тогда придётся думать этим (*показывает на голую*), что не всегда дано.

Беги от птицелова и займись делами: ты ведь знаешь, что свадьба в королевстве... (*в сторону*) мужа труп едва простыл, и блюда от поминок свежи ещё, хоть снова подавай к столу уже не к плачу – к смеху... вот перемена: блюд, и чувств, и тел...

Да, ладно, покажи накидку, ту, к королевской свадьбе: что, готова?

Марцелла:

(показывает)

Миледи, здесь я собрала, и вышло, совсем как роза, и в жемчугах, как в утренней росе...

Корнелия:

И вправду... очень мило – да, неплохо, и шёлк – белее не бывает: прелесть. Так, я Офелии сейчас скажу, готово, мол, к примерке предпоследней.

Она, бедняжка, ненавидит их, и тоже верно что за доля: стоять, как истукан, часами, снимать и надевать, вертеться так и эдак в объятиях железного корсета.

Марцелла:

Объятыя Гамлета, как говорит садовник, ей впору были бы...

Корнелия:

Садовник говорит? Так прикуси язык. Что за болтун Бернардо...

Хотя мужчина видный... это он – твой, перепёлка, страстный птицелов?

Уходит с накидкой...

(Входит Бернардо с корзиной роз):

Бернардо:

Ах перепёлочка моя, вот кстати мне повезло. (пытается обнять, она отбегает) Что так? Вот эти розы смирились перед *розой* этих уст.

(протягивает к Марцелле руку, и она делает к нему шаг, как во сне).

Вся свежесть сада утреннего в этих нежных губках...

(Марцелла подходит совсем близко, и Бернардо обнимает её)

Марцелла:

(вырывается, Бердардо хохочет)

Вот так всегда: язык твой – помело, а руки, как у папаши моего – разбойники с большой дороги – грабить и убивать

им в самый раз с благословения блаудливых глаз.

Бернардо:

(примирительно)

Так я приду к тебе послушать соловья.

Серёжки... я припас, привёз один приятель – из Англии: серебряные змейки, и глазки изумрудные блестят, как у тебя, мой ангел, когда ночью...

Марцелла.:

(закрывает руками уши) И слушать я не стану... очень, мне нужно “слушать соловья”: ищи дурёху – мне же зря, Бернардо, слов твоих не нужно...

(убегает)

Бернардо:

Вот так и все они – упёрлась: иль женись, иль вон поди, хоть удавись мне без неё... Сначала попробовать дала, а как вошёл во вкус, цену набавила, да мне не по карману, так что никак не выйдет без обмана.

Вот и Гертруда: королева – выше косы, уложенной гнездом для побрякушки с именем “корона”. А *та*, что имя доброго не знает – *та* что под юбкой – без венца... так правит Данией, что грех сгущается, как воздух перед бурей, что прошлой осенью все изломала сосны столетние на берегу залива и унесла, сгубив, весь датский флот... И вот, теперь, уже

войну несёт от Фортинбраса...

Сказывал Франциско, что призрак Короля покойного в доспехах видели, как будто Судный День грядёт... Ну и дела, а тут ещё Марцелла хвостом виляет так, что душу выймешь и дьяволу отдашь, того и жди... Ох, не сносить мне, видно, головы...

(уходит)

Картина вторая

(дом Полония)

Корнелия (входит с Офелией):

И вот, Марцелла, что с дурочки возьмёшь, его впустила, как нянька говорит, и он сомлел, конечно, но не так, чтобы жениться. Голову терять мужчины норовят совместно с мыслью задней: как избежать силка. Теряют на минуту, а потом находят вместе с хитростью своею – покрепче, чем была. И хитрость их растёт, как сом на дне пруда: из года в год скорей, чем ум и доблесть.

Офелия:

И что же, все мужчины таковы? И мой отец, и брат Лаэрт, чьё благородство всегда в пример возводят – идеал для мужа,

и... и Гамлет – принц? И он растит сома холодной скользкой мысли, что в глубине – на дне его души?

Корнелия:

Ах, душенька, дитя, а в чём отличие? Что *принц*? Так спрос другой с него как с *мужа на престоле*, а так – как все, кого Господь создал из праха или глины что было там случайно под рукой...

Суди сама, ему уж скоро тридцать – не мальчик скажешь он не знал любви? Так где его избранница, чьё имя, он поменял, скорей всего, на “киску” иль “птичку”, или (хихикает) “перепёлку”, как названа садовником Марцелла, когда и сам он перепел, не боле, зовущий самочку, а не Марцеллу...

Марцелла: (входит)

Меня вы звали? Я к услугам...

Корнелия:

Звали – примерки время. Это платье – прелесть, и подошло б к венчанию иному, а так, для свадьбы нынешней, пожалуй, оно немного... бело... здесь, Марцелла, розу смени на что-нибудь поярче... и попестрей: на маргаритки; шарф уместен темнее тоном, словно дымка на небесах – не так уж ясно, как кажется на первый взгляд; и ожерелье: кораллы лучше жемчуга на случай, что нынче...

(Офелия пошатнулась)

Что, милое дитя? Бледна... – устала?

Офелия:

Да, мне нехорошо... Вот здесь (прижимает руки к груди), вдруг, *тошно* – не знаю, как сказать...

(Корнелия и Марцелла переглядываются)

ну, словно дымка затмила душу... вдруг, на миг, как будто... сгустился воздух в тёмный плащ, и голос, звучащий глухо – так, что слов не слышно, но смысл их горький, как полынь, что у пруда растёт в тени обрыва – помнишь, Марцелла, ...гуляли там?

Марцелла:

Да, помню... Омут там глубокий, на дне его, как говорят, спит сом – огромный, старый: он – король пруда; хитёр и правит царством, а в супруги берёт утопленниц...

Корнелия:

Ну, будет, сплетни бабские, их слушать, в высоком нашем положении глупо.

Мы *избраны* со слухом нашим и мыслями *совместно*, и отпускать их за пределы не велено. Следить должны, как пастухи за стадом, за мыслями своими и словами, что норуют на волю убежать...

Офелия:

Мы гоним стадо глупых слов и мыслей, что разбредись готовы и отбиться от положения высокого?..

В том смысл? – в высоком положении удержать всего себя – совместно с телом...мысли?

И чувства? и слова?.. слова... слова... слова...

Но в чём же *высота*: неужто трон – вершина?

Корнелия:

Офелия, миледи, Вы напрасно гулять уходите так далеко: пределы, нам, женщинам, живущим во дворце, даны поуже, чем простолюдинкам, зато свободы больше от забот о хлебе и... защита от невзгод.

Марцелла:

Уж это правда! Лучше в клетке из золота, чем быть на ветке в лесу дремучем, страшном, где невзгоды – обычные обличия природы.

Офелия:

Прошу помочь мне платье снять – довольно.

Подчас мне кажется, что *высота*, что тронном обозначена, – *не та*... и что мои *пределы сжимают* обручи на нижней юбке: тело – в плену... и мысли... и слова – всё не моё... и я – *не та*, что с именем Офелия живёт...

(Остаётся одна...)

Картина третья

(дом Полония)

(Входит Лаэрт)

Лаэрт:

Офелия, пора проститься – уже подняты паруса, и тороплюсь сказать тебе, сестра, слова, важнее тех, что прежде говорил...

Я знаю, Гамлет, принц наш и наследник трона, внимание тебе дарит... и, надеюсь, почтителен...

Офелия:

О, бесконечно... будто, на троне – я – не он...

Лаэрт:

На троне вправду – ты... не Дании, конечно, а чистоты своей, сестра, и благородства, невинности и прелести, которым земные мерки малы... Ты, дитя, себе цены не знаешь, так послушай, что я скажу: О, будь благоразумна – не опустишь ты с высоты своей...

Офелия

(в сторону):

Опять о «высоте и положении» – уже иных: не трона *чистоты*, которую пасти должна совместно с *благородством* и *прелестью*...

Вот сложность: не смешать бы стада мои, вершины бы не спутать, чтобы саму себя не потерять...

Лаэрт:

Ты говоришь с собой? Меня послушай, что должен я сказать, как брат сестре: будь осторожней – знай, любовь мужчины, имеющего власть, бывает зла...

Себя он слышит и свои желанья, не держит чувств и волю им даёт, глух ко всему, что против его страсти, и верит он, что мерою страданья и счастья владеет сам, что в нём заключены права и судьбы других людей...

Офелия:

Права? Хотела бы отдать ему судьбу...

Лаэрт:

Ошибка: *верит* он, но то не значит, что *истинно* готов судьбу принять хозяином: – достойно и надёжно. Он *верит так*, а значит, будто... не лжёт, и нет вины в его началах, чьи концы сокроются в реке с названьем Лета... Пойми, он любит, словно волк – ягнёнка: желает плоть – источник сил

и жизни – его, но не твоей... Он *верит*, ну, а ты не *доверяйся* – и *знай*, что честь твоя... тебе дана на миг – на сохраненье древним родом нашим, хранящим честь не годы, а века.

Ты – *ты* не вся, вернее, не совсем... ты – только часть, а остальное: моя сестра, и дочь отца, и мать того, кто род продолжит...

Офелия:

Как странно: я – не я... Порой... и мне так чудится, как будто, и нет меня – во мне... а я... брожу среди чужих *офелий* в их одеждах, поклонах и словах. И хочется бежать к себе – туда, где травы дики, и цветы не лгут – не манят красотой пустой...

Лаэрт:

Поверь мне, пустота, что так страшит тебя – вся в *пустяке* с названьем *нервы* – вниманье не на них...

(Входит Полоний)

Полоний:

Я слушал не дыша, ловя отцовским ухом слова своих детей – здесь, в уголке. Что делать, иногда приходится сидеть в засаде, чтобы поймать хоть отблеск яви, которая таится от людей. Наш род терпеньем славен и умом, и ловкостью, цена которым более, случается, чем доблесть на войне с её убыт-

ками досадными казне.

Лаэрт, тобой доволен я. Слова твои к сестре о многом говорят не только ей, но и тебе – язык нам дан для слов, слова – для мыслей, что в тишине беззвучия пропасть обречены. Вот выбор наш – дать мысли жизнь иль нет, усиляя плоти, дыхания собрать в аккорд, отдавшись, словно флейта, в мелодию, чтобы вернуть природе, что взято, и не прахом – гармонией живой, что сочетает мысли с делом... Увы, совсем немного есть людей, умеющих играть на флейте...

А чтобы смочь... себя... самих настроить так, чтоб фальшью не оскорбить небес – таких не знаю, а ведь я – старик...

И, вот, приходится фальшивить самому, чтоб в такт пропасть – искусно лгать, чтоб вышло достоверно...

Не удержусь, скажу вам тайну: как-то подумал я, что, верно, наш Господь, разрушив башню, ту, что в Вавилоне, не разорвал язык, а *уничтожил* – совсем.

И то, что нам досталось в этот век – не более, чем щебет неразумный, как у пичуг лесных.

И вот, живём, подобно кукушатам: толкаясь, видя смысл весь в червяке...

Но, точно, я – старик, раз разболтался,...

А *был мне сон*, что вырвался из тайников души, как будто мы прощаемся надолго, и должен я успеть сказать, что прежде не сумел... иль не посмел...

Прощай, Лаэрт, и будь благоразумен, как я – до сей минуты, и как буду – с минуты сей. (прежним уверенным голо-

сом) *Честь рода сохраним...*

(Лаэрт уходит.)

Полоний:

(помолчав, к Офелии):

Ты, дочь, и счастье моё, и горе, и гордость, и укор... Я пред тобой немею, словно взлёт высокой мысли страхом сбит, и в точке их пересечения... язык мой замер: и для лжи, и для того, что кажется мне правдой... Ну как сказать – живи, но не живи, люби, но осторожно, дыши, но в полдыханья, биение умерь в груди? Ну, что ещё?

Настрой свой голос в такт со всеми теми, в ком слуха нет совсем, иль от рожденья глухи?

Офелия:

Отец...

Полоний:

Постой, молчи, не нужно слов: силок – пустяк, пока в нём не забьется живая мысль, чтоб испустив свой дух, пред памятью предстать... Себе противоречу, но грех тот – мой – не твой, а ты чиста и чистоту храни – вот весь урок.

Офелия:

Отец, мне...

Полоний:

Знаю, принц вниманье дарит – на вид приятное, но ты не верь, в нём суть совсем иная. И, к тому ж... он болен, кажется... и странен тот недуг: то говорит невнятно, горячо, а то молчит, но так красноречиво и холодно, что лучше бы кричал, ногами топал... Он, как музыкант, что ноты потерял и держит паузу невольно...

Забудь, Офелия, что прежде говорил, и слушай заново, как будто чистый лист открыв.

Вот что сказать хочу тебе я, дочь, *зачем* явился я от важных дел, которые несу с достоинством вот тридцать лет уже.

Веди себя согласно положенью: и своему, и моему, и брата, и предков всех. Будь не грустна, но и весельем не докучай другим – не терпят лиц счастливых...

Читай, но не усердно, а скорей, чтоб скоротать часок – не любят умных... Почтительна будь, но не чрезмерно – лесть ценится не к чину, а к лицу...

Внимание с рассеяньем храни в одном сосуде...

Что ещё? Да, Гамлет... не отвергай его, но поощрять страшись – не ясен смысл его недуга и аккорда, что паузе вослед придёт...

Бегу к делам, притронусь лишь ко лбу моей голубки, словно напьюсь из родника целебного (целует её в лоб) – с тобою Бог: Ему доверю то, в чём сам бессилен...

(Уходит).

Офелия:

Мне страшно – белый лист открыть, все прежние закрыв, чтоб записать там: «чистоту храни»?

Но как писать, не измарав листа и белое не вымазав черни-лом...

Мой лоб – родник, и мысль... лишь замутит его...

Я – сторож мига краткого, что дан для утоленья чьей-то жажды...

Устала *белое* я мерить – цвет, который сам не виден по себе, а только... в сочетании с иными: быть ли... нет – от случая зависит, даже боле: чёт-нечет выпадают так, что есть надежда на счастливый случай, а я должна всегда лишь уступить, чтоб видимость движенья создавать... всем тем, кто жить спешит...

Акт второй

Картина первая

(Комната Гертруды)

Клавдий:

Ну вот мы и одни (сжимает королеву в объятиях, она осво-

бождается)...

Гертруда:

Постой, я не готова, тут кто-то есть (всматривается – показывает) вот здесь, казалось,... воздух сгустился в тёмный плащ и голос, звучащий глухо, так что слов не слышно, но тошно мне от них, как будто звук, минуя уши, сердце ранит... больно...

Клавдий:

Довольно, устала ты – нелёгкий выпал день, но ждёт нас ночь в супружеской постели: что бывает слаже, Гертруда – королева и жена... Так жизнь устроена, что случай горький со сладким выпадает в черед, так, словно бы природа-мать шлепок увесистый воздать спешит...

Гертруда:

Бьёт в сердце... тошно... (порывисто обнимает Клавдия): так ждала, мой Клавдий, услышать от тебя – *моя*...

Клавдий:

Моя: моя ты и жена, и королева, а я король и твой законный муж!

(в сильном волнении)

И ничего меня не остановит – я душу отдал с тем, чтобы сказать: “Моя – моя, о Королева!”

Испытать восторг и полноту всех сил, испытать предел – познать вершину жизни и судьбу хлестнуть, чтобы в галоп пошла та, что плелась безродной клячей, впряжённая в повозку с горькой желчью.

Гертруда:

О чём ты? Душу отдал?..

Клавдий:

Да, (упавшим голосом) – тебе, Гертруда... жена моя... до гробовой доски...

Гертруда:

Не нужно поминать...

Клавдий:

Вот это верно! Будет хныкать! Всё: концы сплелись и канут в Лету, живым же – жизнь!

(подхватывает Королеву на руки, хохочет, кружит её, целует, она смеётся)...

Картина вторая

(Те же, входит Полоний)

Полоний:

Прошу низжайше вашего вниманья...

Клавдий:

Входи, Полоний, здесь – ты более, чем преданный советник – друг, которому доверие дарим, не менее, чем, брат мой, и услуги мы ценим Дании, а не персонам. Что нового?

Полоний:

Готово всё к торжественному пиру, и Дания ликует, Короля приветствуя на троне с Королевой.

Клавдий:

Сказать не мог ты лучше. Дружбу скрепят слова твои, и в память их упрячу, а ключ – тебе, Полоний. Что ещё?

Гертруда:

Что Гамлет?

Полоний:

Чудно, только...

Гертруда:

Сердит? Смятен он был в последнее свидание со мной – на галерее, что у сада... Как туча шёл и что-то говорил себе...

Меня увидев, помрачнел, как будто, противен вид ему мой, голос... вздрогнул, когда спросила я, *о чём печаль*... В глаза смотрел, как будто опуститься желал на дно их – в душу мне нырнул и вынырнул... с улыбкой, что более похожа на судорогу... Сказал: "Печаль о чём? Не знаешь? Весела? – Вот в том моя печаль..." С тех пор слова перебираю те, как чётки турок, что торгует чаем; как призрак мне являются, когда и весела я и грустна...

Клавдий:

Так что, Полоний, скажешь – так, чтоб мать утешить в королеве нашей и дать опору радости её, а не печали, что сама найдёт себе опору...

Полоний:

Лучше и не скажешь. Печаль, похоже, ткань самой души – материя её – основа, которую покрыть узором веселья, радости – вершина всех искусств.

Кто мастер в том, тот сам собой владеет...

Принц Гамлет, нет, сказать... язык немеет...

В Офелию влюблѣн ваш венценосный сын...

Клянусь расположеньем королевским, что дочь моя...

Гертруда:

(с облегчением):

О, знаю, знаю, знаю...

(смеѣтся в радостном возбуждении).

Слава Богу: не недуг – хмель любовный, что похож на бред, особенно, когда долг борется со страстью – напасть ту пережить не каждому дано, не оступившись... но... (замерла) прошу продолжить... что Офелия?..

Полоний:

Она... не должен дочь хвалить, но...

Клавдий

Рождена цветком прекрасным Дании!

Не странно, что принц влюблѣн.

Ваш сын – здоров, Гертруда, и более, чем прежде, когда предпочитал всему коня и шпагу, отвагу теряя среди женщин на пиру.

Полоний:

Офелия кротка – из тех, чей дух не в мятеже свободен, а скорее, в уступке боле прытким: потесниться всегда согласна с тем, чтоб не задели, и не сломали *то*, что чувствует...

она... хранить должна. Походка выдаёт её – легко ступает так лишь тот, кто расплескать страшится сосуд святой... Решиться судьба её должна получше, чем моя – она для счастья рождена...

Гертруда:

Родительское сердце мне понятно, своё открыть хотела б, но оно – смятением теснимо и должно... там прежде проясниться...

Клавдий

(Полонию):

Устрой их встречу так, чтоб подсмотреть, в предположении увериться иль, сбросив амуры со счётов, искать иных причин.

Полоний:

Приказ спешу исполнить... (уходит)

Клавдий:

Его чин с характером в согласье идеальном...

Картина третья

(Дом Полония.)

Корнелия (Марцелле) Смех, право, как Розенкранц тут пыжился...

Пришёл к Офелии с каким-то анекдотом и не был ею принят – просила передать, что отдыхает... Он вместе с Гильденстерном – приятелем своим – уж третий раз является и докучает ей пустою болтовнёй. Самодовольны и глупы без меры – ни то, ни сё – уж лучше офицеры, чем эти фаты...

Марцелла:

Иль солдаты – и те получше тех господ, которые, как эти двое: щипают в тёмных уголках.

Молчат, а рожи – идиотов, и если, вдруг, услышат что-то, ну, вроде скрипа иль шагов, пугаются и был таков... Так я, сударыня, с собой всегда ношу в кармане *это* (звякает колокольчиком), чтобы отваживать господ... Не велено нам драться с ними, нельзя отталкивать, кричать, лишь плакать, да дрожать, молиться, а если что с нами случится, то сами виноваты... Я же, придумала, как защититься – как звякну, так любая страсть в один момент грозит упасть...

(Уходят, смеясь...)

Картина четвёртая (Дом Полония)

Офелия: Смеются... я забыла, право, рождается как смех – в душе, иль в горле? – звучал... во мне – я помню – так: (пытается смеяться) ха-ха, нет, хи-хи-хи, не так (стонет) а-а – я не помню...

Средь всех начал природы чувств, должно быть, смех увядает первым: стихнет звук, потом и свет – в губах, глазах... – свеча затушена... Нет, сгоряча сказал он мне, чтоб в монастырь ушла я: “чтоб не плодить греха...”

Так посмотрел, как будто взглядом мой тронул лоб, “не омрачённый мыслью – чистый, как ключ лесной”... Отец и принц испить ко мне приходят... *чистоты*, которую храню для всех, кто жаждет...

Я – отраженье жажды...(смеётся и плачет) – вот и смех: теперь я точно знаю, что источник – там, в горле, а у плача – здесь, под сердцем: в сосуде с солью – для крови и слёз... стихий сокрытых... тайных от небес... (старается смеяться)

Ну, не ленись, старайся, моё горло, оно, увы, уже не так проворно, как прежде, когда Гамлет говорил, что любит... и цветы дарил... записки:

(достаёт из лифа)

«Офелия, мой ангел, луч солнца ясный,

Как летняя гроза любовь моя прекрасна».

Полоний

(входит)

Рифма недурна, но лучше звучало бы “опасна” – лучше для смысла и стиха...

Офелия:

Отец, здесь Гамлет был, верней...его страданья...

Полоний:

И что?

Офелия:

Велел мне в монастырь уйти, чтоб колдовством напрасных обещаний не соблазнять мужчин, велел забыть, что он любил меня... забыть, что... я... забыла уж... – привыкла исполнять веленья тех, кто мне, любя, прикажет... не помню... Вот, вспомнила, отец: смеются – горлом, а душою плачут... подземные озёра солонь все оттого, что слёзы в них текут... стихии – свойства одного: там – в недрах, где подземелья тайные... души.

Полоний:

Офелия!

Офелия:

Отец, что мне велишь?

Готова я исполнить...

Полоний:

(в сторону)

Велю? Счастливой быть, готова ли исполнить?

(Офелии):

Сейчас пройдем с тобой в ту галерею, что возле сада. В это время принц гуляет там обычно... Укроюсь я, а ты его встречай. Не бойся – я с тобой... Заговорит – ответь, и будь спокойна: я рядом...

Может быть, сумею уловить я смысл, но не в словах, а тот, что бродит, таясь меж ними...

Ступай, я жду... (уходит)

Офелия:

Да-да, конечно, я иду...

Вперёд, *офелия* – приманка, а ты, монашенка, постой, твой черед выпадет... Не пой, *офелия* – твой выход за той, что делает поклон и менуэт танцует – он был моден в тот сезон... в Париже...

Акт третий

Картина первая

(Бродячие актёры репетируют пьесу Шекспира “Гамлет”)

Режиссёр – Призрак “Ужас, ужас, ужас” ...побольше дыма (Гамлету)

Ты же – Гамлет!!! – принц, а не пёс, и не пристало рычать и прыгать: ты – вельможа!

Ну, рожа! *Вот* ужас где: что ли, в аду папашу встретил?

На беду тебя я принцем сделал – брысь отсюда, верней, сюда: (хлопает в ладоши) ещё разок, а ты, Горацио, чуток на цыпочки привстань – ему б ходули впору (все смеются).

Довольно рифмовать – можно сойти с ума: ночью я пытался приласкать жену – в рифму – и не попал... (смех) Всё!

На репетиции обойдёмся без излишней красоты...
Продолжим...

Актёр – Гамлет:

Говори, я слушаю!

Режиссёр-Призрак И должен отомстить, когда услышишь.

Режиссёр:

Здесь слишком длинно и красноречиво, я пропущу – мне велено собрать пять актов сочинения маэстро в один, но так, чтоб слов поменьше – больше шпаг...

Вот рифма проклятая привязалась, будто дёргает кто-то, да не в такт...

Режиссёр – Призрак:

...Я дух, я твой отец, приговорённый по ночам скитаться...

Но вечное должно быть недоступно ушам из плоти.

Слушай, слушай, слушай! Коль ты отца когда-нибудь любил...

Актёр – Гамлет:

О боже!

Режиссёр-Призрак

Отмсти за гнусное его убийство.

Актёр-Гамлет:

Убийство?

Режиссёр-Призрак

Убийство гнусно по себе, но это гнуснее всех и всех бесчеловечней...

Режиссёр

Здесь – всё моя роль, это вы сами прочтёте у господина Шекспира. Гениально, то есть, божественно... так, так... вот:

Режиссёр-Призрак

Слушай, Гамлет, идёт молва, что я, уснув в саду, ужален был змеёй – так ухо Дании поддельной басней о моей кончине обмануто. Но знай, мой сын достойный: змей, поразивший твоего отца, надел его венец.

Актёр-Гамлет:

О, вещая душа! Мой дядя?

Режиссёр-Призрак:

Блудный змей, кровосмеситель волшбой ума, коварства чёрным даром мою, казалось, чистую жену склонил к постыдным ласкам...

О, Гамлет, это ль не было паденьем!

О ужас!..

Режиссёр

Дальше идут леденящие кровь подробности дела... Но, вот, важно, что король не снимает маску благородства и на *том* свете. Это означает, что роль принадлежит ему по-праву, и бедняга Клавдий зря лез из кожи: он – второе лицо, то есть, природный подлец... Герой и злодей: не очень оригинально для сюжета, но работает безотказно.

Режиссёр-Призрак

Не дай постели датских королей стать ложем блуда и кровосмешенья, но как бы дело ни повёл ты, не запятнай себя, не умышляй на мать свою – с неё довольно неба и терний, что в груди у ней живут...

Режиссёр

Твоя реплика, Гамлет...

Актёр-Гамлет:

О, рать небес! Земля! И что ещё прибавить? Ад? Тьфу, нет! Стой, сердце, стой...

Режиссёр

(хлопает в ладоши)

Стой, ты слышишь что говоришь: “стой” – (!) – вот – ключ твоего дальнейшего поведения. Теперь поменьше внешних проявлений: Гамлет берёт себя в руки, вернее, ему так кажется. Теперь он сам и все вокруг – актёры в *его* спектакле:

не в чужом, как прежде, когда он был не более, чем марионетка, а в своём, где он – сам – и создатель и творение! Понимаешь? Взять себя в руки значит перейти в центр интриги под названием “моя судьба”. Это всё равно, что родиться заново и начать жить самому, а не по сценарию тех, в чьих руках оказался по воле рока.

Актёр

Ну, и чего он добился? Смерти? Жил бы себе – катался, как сыр в масле...

Режиссёр

Жил, да не *был*... *Быть и жить – не одно и то же* – вот смысл сочинения Шекспира: *кататься сыром в масле* кажется заманчивым пока голоден, но потом урчит уже не в брюхе, а повыше – в душе – *тошно* бывает и от сытой жизни, когда недостаёт *добра*...

Актёр:

Мало ему в королевстве добра? Всё добро – его! Чего ещё? Ему – аплодисменты, как бы ни сыграл, а нам – свист, хоть вывернись наизнанку.

Режиссёр.

Свист – от сквозняка в душе, а лесть – от лицемерия, то есть, лжи. Читал закон Божий? Ложь – зло. Чем выше караб-

кались, тем ниже падали, пока не докатились до преисподней.

Актёр-Гамлет:

Можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом, по крайней мере в Дании...

Режиссёр:

Браво! Ты начал понимать, продолжи...

Актёр-Гамлет:

О, что за дрянь я, что за жалкий раб!

Режиссёр:

Нет, не это... Это и так выходит лучше всего – кликуше-ствовать на публику... Ты прочти его монолог “Быть или не быть”, где он пытается понять свою суть – вот истинное покаяние. Ну, соберись и настройся на “ля” всей этой партитуры.

Актёр – Гамлет:

Быть или не быть – вот вопрос...

Что для души достойней? Покориться превратностям судьбы, или восстав, сразиться в поединке с роком?

Иль отрешиться – умереть, уснуть, сменив тоску и муку на забвенье...

и видеть сны, быть может? Вот ловушка: какие сны готовит мертвецу его природа, и каков удел за гранью бытия...

Кто стал бы на колени перед веком, в отчаянье униженность влача, кабы не страх пред наказаньем вечным?

Один удар кинжала – и свобода от рабского усердия в груди возникнет тишиной, но... пустоты природа не позволит – что взамен? Вдруг, мука с бесконечностью в согласье... Кто предпочёл бы суету – покою, кабы не страх пред суетой червей, чей пир, возможно, разделить придётся в могиле с именем своим...

Так трусом нас разум делает – смиряет жеребца, обуздывая норв, превращая в трусящего по жизни иноходца... Но тише, кажется Офелии шаги..." (Труппа аплодирует)

Режиссёр:

Молодец, сынок! Услышал "ля" – теперь не фальшивь и будешь гением.

Так, прогоним быстренько Гертруду и Офелию – удача, что в пьесе нет ни одной женской роли, которой бы не смог сыграть и мужчина – достаточно парика с юбкой. Правда, в сценах безумия они более человечны, то есть, женственны...

(Выходят два парня в женских костюмах: жеманны, писклявые голоса...)

Офелия, старайся не басить в последнем монологе и побольше белил. Не перепутайте: Офелия – белая, а Гертруде – побольше румян, особенно после того, как Гамлет доказал

ей, что и душа может быть срамным местом.

Прорепетируйте сами: ваши роли просты настолько, что в них не нужно даже входить – там ничего нет внутри – ни одной мысли, а чувства – поверхностны, вроде украшений. А пока есть сцена поважней: Розенкранц и Гильденстерн. (выходят актёры)

Актёр-Розенкранц: Мой досточтимый принц!

Актёр-Гильденстерн:
Мой драгоценный принц!

Режиссёр:

Ведите себя не ровно: вино вольности ещё бродит, но положение поджигает.

В этой колоде вы – два валета. Шулер проиграл: козырнул вами, и вы были биты. Ему казалось, что вы *близки* Гамлету, то есть, сумеете *войти в его положение* – ошибка: как валет может войти в положение принца? – только через плутовство. Вы – плохие плуты, ребята. Рады бы продать душу, да нечего. Вы – простачки по своей сути: не герои и не злодеи. Вот, трагедия посредственности: *быть* – не дано, а *не быть*, но выжить, сыграв роль, не достаёт лицемерия, ведь ложь – сродни искусству. Флейта есть?

Актёры Розенкранц и Гильденстерн:

(препираются, у кого была флейта в последний раз) Я тебе давал – нет, не давал...

Режиссёр: (находит флейту и подаёт актёрам) Вот так и играйте – сами себя. Пронзительный инструмент – печален до содрогания души, когда играют умело, и визжит от плохого обращения. Тут сложная игра из слов и ассоциаций, но как иначе проникнуть в замысел творца? Вступай, Гильденстерн, с конца второй картины, где запутался в собственной пошлости – играй *чистую фальшивку*: “О, мой принц...”

Актёр-Гильденстерн:

О, мой принц, если моя преданность слишком смела, то это моя любовь слишком неучтивая.

Актёр-Гамлет:

Я не совсем понимаю. Не сыграете ли вы на этой дудке?

Актёр Гильденстерн:

Мой принц, я не умею.

Актёр-Гамлет:

Я вас прошу.

Актёр Гильденстерн:

Поверьте, не умею.

Актёр-Гамлет:

Я вас умоляю.

Актёр-Гильденстерн:

Я и держать её не умею, мой принц.

Актёр-Гамлет:

Это так же легко, как лгать: управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в неё ртом, и она заговорит красноречивейшей музыкой. Видите – вот это лады.

Актёр Гильденстерн:

Но я не могу извлечь из них никакой гармонии, я не владею этим искусством.

Актёр-Гамлет:

Вот, видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы играть; вам кажется, что мои лады вы знаете; вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны; вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука; а вот в этом маленьком снаряде – много музыки, отличный голос; однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Чёрт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке. Назовите меня каким угодно инструментом, – вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не

можете.

Режиссёр:

Вот, истина явилась в сочетании слов, подобранных так гармонично, что лучше и не скажешь: чтобы уметь плутовать, нужно знать правду, иначе соврёшь себе в убыток и *сваляешь дурака...*

Актёр:

Ты хочешь сказать, что... чтобы лгать, нужно знать правду?

Режиссёр:

Вот именно: как можно отказаться от того чего нет? Чтобы солгать, нужно знать истину, а её знает только Господь Бог, да ещё, может быть, гений, а уж он ни за что не променяет гармонию на фальшь...

Актёр:

(рассуждает) Солгать может только тот, кто знает истину, но... познавший истину, уже не станет лгать... значит истинная ложь – это... Так можно сойти с ума... Но, чтобы *сойти с ума*, нужно его иметь... то есть *быть умным*... (кривляется): “быть – не быть” (все смеются, кривляются: “быть – не быть”)

Режиссёр:

(хлопает в ладоши)

Истинная ложь – зло, а ложная истина – глупость... Злодеи и герои нынче только в театре, а в жизни “злодей” – это простак, что мнит себя героем. Хватит болтать!

Работаем! Осталось самое простое: восемь убийств, и это у нас так хорошо поставлено, что обойдёмся без репетиций. Напомню порядок финала: первым – для разминки – бит Полоний. Офелия не стала дожидаться, когда её испачкают рюмьями, как Гертруду, ушла, как принц велел – в монастырь – да из самых надёжных. Валеты биты за кулисами. Сцена дуэли Гамлета и Лаэрта – половина успеха: лучше перевернуть слова, чем удары шпагой.

Гертруда, последнюю реплику...

Актёр-Гертруда:

Питьё, о Гамлет, я – отравлена... (Умирает)

Актёр-Гамлет:

Злодеи! Эй, двери на запор! Предательство! Сыскать!

Лаэрт

(падает)

И ты убит – нет в мире ничего, что бы спасло от зелья, которое сейчас в твоей крови – король всему виной...

Актёр-Гамлет:

Вся Дания отравлена, ну так за дело, яд!

(Поражает короля)

Я умираю, Горацио, я гибну;

Ты – жив... поведай правду обо мне, всем... истине открытым...

(похоронный марш, пушечный залп, занавес...)

Актёры устали, вялы...)

Режиссёр:

(хлопает в ладоши с преувеличенной бодростью)

Отдыхать до вечера, и чтобы на представлении блистали!

Потом обещан ужин с королевского стола: здесь отличное вино...

Акт четвёртый

Картина первая

(комната Гертруды)

Королева:

Сменила платье я, Рейнальда, на светлое, а дух упорству-

ет и тёмной тенью бродит... Мне тошно... Так ждала я время, что наступило бы вослед прощанью – прощением... чтобы дышалось легче... Так ощутить ждала освобождение – не знаю от чего. Казалось мне, от прошлого... Неволю невольно видела... вот слово, что, невольно, – ах, что за чертовщина – вот, пристало...

Рейнальда:

Всегда казались вы счастливой парой, примером венценосного союза: душ, помыслов, сердец...

Гертруда:

И были парой; в ней тенью довелось стелиться мне... И более, чем тенью: при луне ли, солнце, тень – свободнее, чем я при муже – и она бежит от колебаний света, а я всегда на месте... – в обличии *пристойно величавом* – начало... всех бед во лжи самим себе...

Рейнальда:

Ну что плохого? Матушку я Вашу так помню, будто образ её не в золотом сердечке, что на груди ношу, а, право, в сердце, что бьётся в такт её словам: “замужество – один счастливый номер, что выпадает нам, самой природой мужчинам отданным. Так лучше одному отдаться и *вполне*, чем разорваться меж многими...”

(Рейнальда выходит)

Гертруда:

Природа отдаёт, да кто принять умеет, дары её не уни-
чтожив...

Зреют плоды божественных идей не в небе – на земле, где замысел от воплощенья так отдалён, что к мщенью взывает грешная душа... Король – не тот, и я – не та, кто с именами нашими был создан, Бог знает для чего, и роздан, как карты, в руки игрокам; а те – мошенники или глупы без меры, к тому ж азартны, словно офицеры, что всё продули – вплоть до чести, которая дана им вместе с их званием...

(входит Полоний)

Полоний:

Простите, что вошёл без приглашенья, но Гамлет...

Гертруда:

Гамлет?

Полоний

Идёт сюда по Вашему веленью, но вид его так дерзок, будто он не к матери спешит, а на войну, вооружённый гневом, тишину взрывает поступью тяжёлой: не сын послушный – демон заключён в обличье принца... вот и он...

(прячется за шторой)

Картина вторая

(та же комната, но в беспорядке: всё разбросано, сорваны шторы, Гертруда растрёпана, смято платье – видна немолодая измученная женщина)

Гертруда:

Случилось то, чего невольно достигла я... Как сердцу больно, больно, больно... Вот жалость, что родную мать не принято так убивать легко, как крысу... иль Полония – один удар и он – не в Дании: *Она* – с ним навсегда разлучена... Его, смеясь, тащил мой сын... и что-то напевал: похоже на колыбельную. О Боже, зачем я здесь? И что со мной? Сказал он, что моей судьбой зло правит – так сказал мне сын: *твоя любовь – разврат, кровосмешение с убийцей, преисподняя в твоей постели, ты же – сводня, что тащишь Данию на блуд...* Как много боли для минут свиданья редкого у матери и сына.

Годами я ждала, что он откроет сердце, и в нём увижу я себя... Не зря мне снился сон: его отец явился грозной тенью и Гамлету велел меня казнить, но так, чтоб тернии язвили душу, а не чело... И вот – назло – мой сын безумным притворился... Но я страшусь, что эта *роль его уму*, привыкшему блуждать бездельно, в иронии доспехах... *близка его натуре* – ощутит успех, власть над толпой... и грех замкнёт

порочный круг: “в безумии – свобода, ложь – спасенье, судья он всем, а мщенье – его удел и цель одна”... Так, всё переступив, достигнет дна, в падении увлекши за собою других, отяготит вину и сгубит душу... Нарушу супружеский обет злодею, чья низость мне дана в обмен на высоту, за вспышку поздней страсти... На беду открылась мне любовь – вот жалость: терпеть мне жизнь осталось малость... был близок срок, жесток урок... (плачет)

(Входит Клавдий)

Клавдий:

Гертруда!

Гертруда:

Кажется... Похожа на королеву я?

О боже, длиннее жизни полчаса – вот, поседела вся коса, и терний мощные побегии впились мне в душу... там – для неги и радости уж места нет...

Затмил глаза мне чёрный цвет... Темно: ты, Клавдий, – чёрной масти король, должно быть, и напасти пролились кровью. О, прости, измучилась я

(Клавдий пытается обнять её)

Нет, пусти...

Клавдий:

Что было здесь, Гертруда? Слабость нам не по сану: наш венец не для сомнений дан – для дела.

Границы нашего удела очерчены не нами, нам – лишь подчиняться небесам...

Гертруда:

Как небо отличить от ада? Я подчиниться небу рада, но...

Клавдий:

Прочь “но” и “если”, “будто”, “или” – слова, которые затмили твой ясный ум – полуслова: ни то, ни сё, и ты – не та, кого люблю... Моей царицей опять вернись и небылицы оставь, а лучше улыбнись и, если случай есть, гневись! А случай есть: наш сын, и боле – наследник трона, он – в неволе недуга страшного души...

Гертруда:

(Себе)

Но все ли средства хороши для утоленья своей страсти...

Клавдий:

Вернись, Гертруда, и несчастья не созывай к себе на пир. Довольно Дании безумья от сына, но царица-мать должна усилием собрать всю волю, быть хозяйкой в доме, особенно, когда беда... (слышится шум) Что там такое, господа?

(уходит)

Гертруда:

Тень правит Данией: король – в ночи, а королева – днём...
в мольбах о том, чтоб ночь пришла скорей...

(Входит Рейнальда)

Рейнальда:

Там у дверей Офелия... Бедняжка, похоже, не в себе: бродяжка бездомная и та не так жалка...

И странно припеваает: “мой муженёк – на дне пруда, где и таится высота...” и что-то про траву... любовь и ложь – всё не поймёшь... Смеётся... лукаво так, и, вдруг, грозит всем пальчиком, а то бежит куда-то, как дитя, резвясь, иль плачет горько, сторонясь людей – её нашли уж за стеной и привели сюда...

Корсет сняла и где-то спрятала – в рубашке, босая... смятые ромашки запутались в её косе...

Гертруда:

И что же, все жалеют?

Рейнальда:

Все... но есть и злые языки, и сплетни вслед – теперь, когда Полония уж нет, а принц уехал в Англию, она – совсем одна...

Гертруда:

И, может быть, впервые счастлива – свободна от судьбы. Завидую... испить до дна мне чашу выпало: должна – как он сказал – “усилье сделать”?.. глоток последний пригубить?.. Ну, значит, так тому и быть...

Рейнальда, не могу жалеть её – себя мне жаль – что может быть бесплодней?

Любить, но не любить, дышать, но в полдыханья, жить, но не жить, жалеть, но не жалеть...

Отрава дьявольская – ложь, но полу-ложь – ещё страшней: яд медленный, что душу убивает, а тело – нет – *оно* – ест, дышит, любит, пьёт вино, добро от зла не отличая, дичая в бездушии и множа грех...

Рейнальда:

Так всех людей в том обвинить возможно...

Не должно казнить себя – не зря господь нас сотворил, а дня восьмого нет поныне...

(Помогает Гертруде одеться, причёсывает её)

Ну, будет, ангел мой, глаза утри – ты зла не делала, ну посмотри, как мир хорош и ясен. Напрасен твой страх – спокойней, право, будь и не забудь надеть рубины...

Акт пятый

Состоит из четырёх кратких картин, которые сменяют друг друга, поворотами сцены на глазах зрителей.

Картина первая

(дом Полония)

Марцелла (плачет):

Садовник сказывал – она была как лилия бела... и безмятежна как ребёнок; во сне раскинулась, не смяв постель пруда... – там без труда её нашли...

Корнелия:

Я не пойму: ну почему так много бед обрушилось Лаэрту вслед на этот дом...

Когда кругом так много горя, нищеты, удар безжалостной судьбы благополучия плоды враз уничтожил, а была, казалось, счастлива семья...

Марцелла:

Хозяин был... уж лучше нет – хоть обойди весь белый

свет, не сыщешь благородней (в сторону) дождётся преисподней губитель... (шёпотом): как сказывал приятель садовника – моряк, что прибыл утром вместе с сыном хозяина покойного – наш Гамлет нынче в Англии и, будто бы, кутит: пьёт, буйствует с Горацио – дружком... Видали в кабаке дешёвом их датские матросы.

С носом, верней, без головы остались Розенкранц и Гильденстерн – да, казнены любители щипать по уголкам. И поделом, хотя и жалко, особенно второго – был пригож, на короля покойного похож...

Корнелия:

Марцелла, готово платье? Под венец нам не пришлось Офелию одеть (плачет), так в гроб положим...

Марцелла:

О Боже, готово всё к примерке...

Корнелия:

Что... примеривать... теперь, когда уж срезан колос... Ей в волосы вплети те жемчуга, (плачет) носить что не успела...

Ты помнишь ли, Марцелла?

Марцелла:

Да, помню, хоть и вечность прошла с тех пор...

Корнелия:

Укор во всём я слышу... (уходит)

Марцелла:

Тише! Лаэрта голос – как он в гневе страшен...

(растерянно)

Хозяином будет – забудет что обещал приданое, а на бедной садовник не женится – будет любовник, а значит вор, и пустой разговор о чести – не быть нам по-божески вместе...

В Дании мужчины – все доблестны до половины, да той, что ближе к земле, оттого у них и растут рога, – для другого голова не годна...

(убирает, припевая) Говорит она ему: ты ведь обещал в жёны взять меня, когда на постели смял...

А в ответ: была б женой, да легла ты спать со мной...

Картина вторая. (Комната Гертруды)

Рейнальда:

Что будет с Данией? Со мной...

Рок правит жизнью и судьбой – смеётся?

Или... это суд? – возмездие, но в чём вина?

Гертруда выпила до дна свою покорность, затем страсть, ужас прозрения и... яд... – вот жизнь её... Не помогло смирение, протест – вино отравлено давно...

Злодей ли Клавдий... иль рука бездумная – палач...

Так плачь, о Дания, бедняжка – бродяжка и та не так жалка: комок земли, камней прибрежных, воды и холода, ветров, жилищ убогих, зыбких снов...

(машинально убирает, напевает)

“Саван бел, как горный снег, цветик над могилой...

Он в неё ушёл навек Не оплакан милой...”

Вот песенка привязалась... Откуда только?

Надеюсь, что всё будет хорошо – надо только быть терпеливой.

Картина третья

(Бродячие актёры, с ними Марцелла – она вешает бельё... Мимо проходит Актёр и хлопает её по заду...)

Первый Актёр:

Какой чудовищный финал у этой истории – нам так никто и не заплатил!

(картинно): ”Ужас, ужас, ужас!”

Второй Актёр:

Ну, кое-что ты, приятель, всё же, прихватил с собой...

(смеётся)

Первый Актёр Ты о чём?

Второй Актёр:

О Марцелле: славная девушка – работающая.

Первый Актёр:

Славная, да не девушка... пусть работает...

Режиссёр:

Чёрт побери! Они нас обставили, но это была отличная игра в поддавки: в центре – Герой и Злодей, вокруг – Простаки. Ах, какой простор для режиссуры! Особенно в будущем: Гамлета может играть женщина, голая – в корсете из колючей проволоки – ах! Полоний исповедует Буддизм, Розенкранц и Гильденстерн – голубые – ах!!! Офелия – в сцене безумия – прыгает на батуте... теряет юбку и все видят, что у неё...

Первый Актёр:

(второму)

Ну всё, поехал, теперь и ужина не будет... Нет, так жить невозможно...

Эй, Марцелла, пойдёшь со мной?

Марцелла

Пойду...

Картина четвёртая

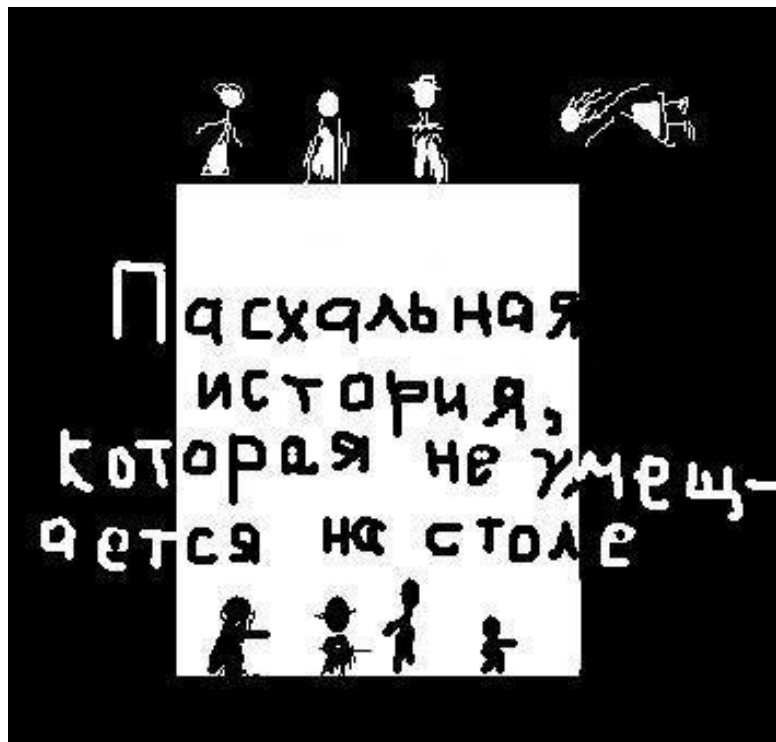
Сцена крутится, открывая “кулисы”: лестницы, верёвки, шпаги свалены в кучу, как дрова, корона висит на гвозде, гроб, трон и какие-то другие части декораций, через которые, пробираясь, идут Актёр и Марцелла...

Занавес

2000 г.

Пасхальная история, не умещающаяся на столе

(об исходе в третье тысячелетие)



Действующие лица:

Режиссёр и драматург (они же – Адам и Ева;

Молодой человек – их сын (он же – парашютист, подводник, снайпер);

Сукис – старожил;

Шухер Марик – президент фирмы;

Чёрный баба-человек;

Блондинка – иностранная рабочая;

Дама местная;

Дама приезжая (она же – поломойка)

Муж своей жены

Музыка: регтаймы, блюзы Армстронга, в финальной сцене – «Let my people go»

Действие первое

На чёрном фоне сцены – в центре – большой белый прямоугольник. С противоположных сторон к нему сходятся две тёмные фигуры – они рельефны на белом фоне. Герои озираются, поглядывают на часы, и, хотя больше никого вокруг нет, похоже, не желают признавать, что ждут именно друг друга. Наконец, неохотно сближаются, здороваются.

Режиссёр:

Вы – драматург?

Драматург:

Ну, не то чтобы... а Вы – режиссёр?

Режиссёр:

Что поделать... (шумно сморкается) Пишете?

Драматург:

Вроде того...

Режиссёр:

О-хо-хо... пишут, пишут... пушкины...

Драматург (обижается):

А вы-то... сами, ставите?

Режиссёр:

А что? Допустим, да... (вызывающе) в театре...

Доаматург:

Каком?

Режиссёр:

Каком-каком... – большом! Что там, у Вас? Никак, про ге-

роический исход? *(хмыкает язвительно)* **Драматург:** *(потухшим голосом)* Как Вы догадались?

Режиссёр:

У Вас на лбу написано. Ну, да ладно, всё равно день испорчен – валяйте свою нетленную. Что там, трагедия древнегреческая?

Драматург:

Нет... то есть... да – древнееврейская...

Режиссёр:

Очень современно. Вы кто будете – по жизни, так сказать? Чем занимаетесь?

Драматург:

Домохозяйством.

Режиссёр:

А, «кушать подано»... оно и видно: главный герой пьесы – Стол...

Читает: «Почти вся сцена превращена в стол – по-мост, покрытый белой скатертью, сервированный столовыми приборами пропорциональных размеров, которые используются в действии как мебель. Герои пьесы, сидящие вокруг стола, кажутся маленькими и с трудом достают до

его поверхности. Они поднимаются на стол по ходу пьесы. Одни – легко и непринуждённо, другие – неуклюже взбираются, третьи – просят их посадить или сами, цепляясь, карабкаются по головам».

Стол превращён в сцену... сцена на сцене... театр в театре... (размышляет) ...тут нужна центральная вращающаяся сцена, а... А знаете ли Вы, что в здешних театрах нет вращающихся сцен, и это ещё не всё! (Возбуждается, жестикулирует перед носом собеседницы. Она уворачивается.) Вы, должно быть, уверены, что здесь покрытие сцены – из каучука? Как бы не так – невозможно танцевать на пуантах! (отчаянно) Нет вешалки!!!

Драматург: (поражена) Нет вешалки?

Режиссёр: (сокрушенно) Нет... театр не может начаться...

Драматург:

Ужас! Впрочем, если слегка подкрасить... там приоткрыть, здесь прикрыть... (увлекается) немного музыки, зажечь свечи, капельку вина, то выйдет совсем неплохо. (Звучит блюз...) Ведь всё **это** (пытается изобразить «это», и её рука очерчивает невнятный иероглиф в воздухе) – только игра: древняя еврейская игра в исход из рабства. Представьте... пасхальная ночь, таинство обряда из Священного Писания: особый порядок слов, церемоний, блюд, стол под бе-

лой скатертью... Сыграем?

Режиссёр (*недоверчиво слушает*):

В свободу? Кто ж позволит? И почему Армстронг?! На что вы намекаете? А?! Вам не нравятся песни наших композиторов?

Да и публика не придёт – кому охота на себя смотреть...

Драматург:

Публику можно собрать

Режиссёр (*оживляется*):

Как?

Драматург:

Ну, например, сколотить виселицу на центральной площади. Народ сбегится поглазеть, а мы, мол, господа, продолжение в театре – билетики, пожалуйста...

Режиссёр:

В каком-таким театре?

Драматург:

В Большом... Вы же сказали...

Немая сцена... возвращаются с небес на землю...

Режиссёр:

Героев у Вас многовато – актёрам-то платить надо... Считает: Адам и Ева, центральные исходящие, так сказать, беженцы с ребёнком; дама местная – коренная – с сигаретой, чашкой и телефоном...

Драматург:

С мобильным телефоном – и всё это у неё так укоренилось на месте, что не снимается – как части тела.

Режиссёр:

Сукис – проходимец неопределённых лет, старожил, так сказать, – бывалый...

Драматург:

Да, – битый малый, заматерел в борьбе за статус, мол, «мы кровь проливали, а Вы – за колбасой»...

Режиссёр:

Марик Шухер...

Драматург:

Нет – Шухер Марик. Шухер – имя, а Марик – фамилия. Президент по похуданию и потенции, (*заискивающе*) может играть тот же актёр, что и Сукиса.

Режиссёр

Ага, одна зарплата на две роли... а Вы – ничего: способная. Но здесь слишком много характерных мужских ролей, а мужчины теперь норовят в герои...

Драматург:

Пожалуйста!.. пожалуйста!.. женщины даже лучше – на всё согласны: Шухер Марик – женщина! Знаете, такая деловая дама с железной хваткой. И «чёрный человек», ну, сами понимаете, что за фигура – тоже женщина – да? Вернее, (увлекается) такая знаете ли... **баба** из еврейского народа... – чёрный баба-человек – коня остановит! И все-все остальные – тоже – натуральные бабы... Можно и название переделать: «баб...»

Режиссёр:

Ну, Вы уж совсем, знаете ли, беспринципная какая-то, прямо как... Шекспир...

«Чёрный баба-человек»... ц-ц-ц... скользкое место... впрочем... Вы деньги клянчить умеете?

Драматург:

Не пробовала...

Режиссёр:

Придётся – вид у Вас подходящий! Кто там ещё у Вас:… блондинка – иностранная рабочая: грудь, бёдра, глазки; дама приезжая: светлые кудельки, оборочки; муж своей жены (в берете): прирождённая шестёрка…

Драматург (перебивает) Этот, «в берете» – такая баба… ужас… (не может остановиться) все – бабы, особенно, мужики…

Режиссёр (молча отмахивается и продолжает читать):
…новенькие – восходящие – только припёрлись, а уже, мол, здрасте, а вот и мы – любите нас… (отвлекается от текста и говорит всё более возбуждённо) актёры погорелого театра: без-году-неделя, ни-бэ-ни-мэ, ни бум-бум, а права качают…

Драматург А старенькие? – сунули голову в песок и думают, что их не найдут… Как бы не так… (делает магические пассы): раз, два, три, четыре, пять, я иду искать…

Режиссёр и драматург сбрасывают балахоны, оказываясь в тёмных трико, на женщине символическая юбка). Теперь они – Адам и Ева. Из боковых кулис к белому прямоугольнику сходятся все персонажи пьесы и ставят его горизонтально – на невысокий помост: сцена на сцене. Итак, в центре – стол под белой скатертью, вокруг которого дей-

ствующие лица усаживаются, «восходя» на него, согласно своим ролям в сценарии... Тёмные костюмы скрывают героев за пределами «стола», и проявляют их, когда персонажи поднимаются на него. Чёрные костюмы становятся цветными по ходу пьесы: герои «проявляются» вместе со своими характерами.

Действие второе

Сцена первая

Блюз... На белую сцену выходят Адам и Ева. Садятся спинами друг к другу и отчуждённо замирают. Музыка обрывается.

Ева:

Адам, мы уезжаем

Адам молчит

Ева:

Ты пока оставайся, а... потом... приедешь...

Адам сидит неподвижно, опершись локтями на колени и

сжав голову руками:

Ты всё разрушаешь – всё, что было нашей жизнью...

Ева:

Это не я... Бедный, у тебя майка совсем выцвела и порвалась... Не я разрушаю: просто... наш мирок обветшал... распадается... – сам по себе – по *порядку вещей*...

Адам:

Ева!

Ева:

Ради Бога, Адам, это не я развела огонь на Везувии, и, пожалуйста, нет больше сил для древних трагедий... прошу тебя... Кто-то сказал, что с прошлым нужно расставаться, смеясь.

Адам:

Хорошо, моя жена и дети бегут куда-то, а я остаюсь в дражной майке – со смеху можно... помереть.

Ева:

Потом ты приедешь...

Адам:

После жизни?

Ева:

Как ты не видишь, что мы прячемся в бутафорном мире, а настоящая жизнь – там – за его пределами. Помнишь, есть такие игрушки: стеклянный шар с домиком внутри, падает снежок – прелесть: так уютно... И хочется верить, что шарик вечен, но я уже не верю...

Адам:

Значит всё, что есть у нас – иллюзия, а там, где у нас ничего нет, даже стола – там истина?..

Ева:

Не знаю... В нашей стекляшке все – душевнобольные, даже вещи... они какие-то не настоящие, словно их тоже покинули смыслы – *у неё становится хитроватый вид, свойственный сумасшедшим*: “Вот розмарин, это для воспоминания; прошу Вас, милый, помните; а вот троицын цвет, это для дум.” – *берёт случайные вещи, протягивая их мужу...*

Адам испуганный:

Ева!

Ева приняла нормальный вид:

У вещей есть свой порядок – порядок вещей, а у людей – другой порядок: и он нарушен... Представь, что стеклянный

шарик разбивается, и можно, конечно, взять в руки вещь – из тех, что были в нём... столик, например, – он невредим, но... лежит на ладони бессмысленным сооружением – со скатёркой и вазочкой: исчезло очарование похожести на правду – умер игрушечный порядок... Чего ты ждёшь, чтобы убедиться в истине? Хочешь сам лечь на чью-то чужую ладонь?

Адам:

С тобой – да!

Ева:

И я согласна: “не быть, уснуть, и видеть сны, быть может...” – откидывается на спину, а затем, перекатившись к мужу, сворачивается вокруг него, замирая на мгновение, но тут же, опомнившись, говорит тревожно – А дети? Наплодили грешников. Как теперь... не быть?

Адам:

О, Господи! – стол дрогнул, герои пытаются удержать равновесие: Порядок вещей, порядок людей...

Ева:

Должен быть ещё какой-то порядок – над вещами, людьми – божий... или мой...

Адам:

Порядок Евы?

Ева:

Да.

Адам:

Ты не хочешь быть вещью?

Ева:

Хочу. Хочу лежать на чьей-то доброй ладони – с тобой (*прижимается к нему*) Так хорошо (*ласкается*)... Хозяин – умный, сильный... (*отстраняется*)... Да где такого взять – с тех пор как, помнишь, **Он** выгнал нас...

Адам:

Ева, тогда ты тоже говорила мне, что наш мирок – не настоящий, что истина, кажется, – в яблоке... Я уже однажды поверил тебе.

Ева:

Тебе всегда хочется верить кому-нибудь – ты слишком доверчив. Твой порядок – простодушие? Когда мужчина – просто душка, то женщине приходится быть фурией – *начинает энергично двигать вещи на столе, букет валится, увлекая бокал, стол сотрясается. Ева, удерживая равновесие, обни-*

мает Адама, и они замирают среди разбросанных вещей.

Адам:

Мне страшно...

Ева:

Страшно? Страх...

Сцена вторая

На стол энергично взбирается Сукис – мужчина неопределённых лет с лицом и животиком, похожими на кукиш.

Сукис:

Нет, это никуда не годится. Что за текст? О чём эти двое? Что за дурацкие диалоги? Стекланный шарик? Ну хорошо, я – умный – догадался: да, есть такая игрушка, если её тряхнуть... тряхнуть... то начинают плавать рыбки и водоросли колышутся – очень красиво. Допустим, что я – умный – понял, но публика не поймёт! И потом, где действие? Сидят на постели и не действуют – публика не поймёт!!! Все ждут, когда кончится ля-ля и начнётся действие (*показывает вульгарно*) А?

Адам:

Вы кто?

Сукис:

Я – Бен Сукис. Можно просто Сукис. Я внимательнейшим образом прослушал ваши диалоги и крайне разочарован. Мне сказали, что это пасхальная история об исходе тысячелетия – к юбилею, так сказать, к началу Новой Эры. Но я ещё ни одного слова не слышал о героическом народе и тому подобное! Я был готов к критике недостатков – отчасти справедливой, замечу, но персонажи говорят только о себе – своих страхах и прочей ерунде, не имеющей отношения к теме. И потом, простите, мне сказали, что название пьесы: “Пасхальная история, не умещающаяся на столе”. Где тут стол? Я не вижу стола! Должен быть стол, а его нет! Я – умный – не вижу, а публика – дура...? А?

*На сцену карабкается – её подсаживают – мужеподобная женщина, одетая в чёрное, в парике и кроссовках – **чёрный баба-человек.***

Чёрный баба-человек (обращается к Адаму и Еве):

Семейство Страх? – очень хорошо: моя двоюродная тётя была замужем за портным по фамилии Страх, и у них было двадцать пять детей. А Вы, Бен Сукис, – Сукис по маме?

Сукис (заискивающе):

И по папе, и по маме. У меня с этим – (делает вульгарный

жест) – всё в порядке.

Чёрный баба-человек усаживается в центре, достаёт из сумки парики, шляпки, чулки, кроссовки и начинает активно торговать, приставая к героям. Ева пытается улизнуть...

Адам вяло сопротивляясь, обращается к Сукису:

Понимаете, тут важно понять, что “исход” – явление глубоко личное... Видите ли, “исход” – это не просто “бег” – не физическое перемещение в толпе, в пространстве и времени: из одной страны – в другую, из десятого века – в двадцатый, из русских – в евреи или наоборот... Исход – это движение души Человека – из страхов... из чужого порядка – вещей или, людей – в свой – Евин, например...

Ева:

Только не в мой, пожалуйста...

Адам:

Это для примера, конечно, Сукису – Сукисово...

Сукис:

Прошу не выражаться при дамах. Я-то всё понимаю... но публика... Представьте, что билет купил, скажем, Рабинович, который за эту страну кровь, так сказать, проливал, и

теперь ему, сами понимаете, обидно, что он платит налоги, а эта ваша Ева спать, то есть, знать героического Рабиновича не хочет: занята чёрт знает чем – исходом каким-то личным... евиным (*кривляется*)... видите ли...

Ева сосредоточена на себе:

Цветы и бабочки... зелёные лужайки... львы, томные от неги куропатки – всё в утопическом экстазе небытия, шарманки механической фигурки, заведенные мастерской рукой...

Сукис показывает на неё с досадой:

Вот-вот – какой цинизм: “зелёные лужайки”... Где патриотизм? Кто будет Рабиновичу давать?... должное... Ну, думаете, ему не обидно? Он проливал, он – то-сё, а она, видите ли, “Цветы и бабочки, львы, куропатки” – Рабиновича даже в списке нет! Какой эгоизм! Кого приходится греть на груди, и сколько это стоит? Ну, как это отражено в вашей пьесе? Где правда жизни?

Ева собирает вещи – берёт бутафорские бокалы, вкладывает в них салфетки, постепенно входя в состояние хитроватого безумия:

Говорит она ему:

“Ты ведь обещал

в жёны взять меня,
когда на постели смял”...

Сукис:

И это, по-вашему, драматургия? До сих пор ни одного убийства! Стыд и срам! Ведь могут увидеть дети... кого мы воспитаем на свою голову? Ладно, дарю шедевр, молодой человек – просто из любви к молодёжи – *подходит, обнимает, хочет поцеловать*, Адам *опасливо отодвигается* – Потом рассчитаемся: проценты плюс индекс. Слушайте и учитесь: нетленка! – *вещает* – Сын моего знакомого – блестящий молодой человек, парашютист, Аполлон, Давид... гениев – по колено...

На стол на парашюте спускается супермен – армейские знаки подчёркнуто огромные. По мере рассказа Сукиса парашютист и блондинка разыгрывают пантомиму по сценарию Сукиса.

Сукис:

Представьте, боевой парень – чистая душа – хрусталь – идёт в свой законный отпуск прогуляться по набережной. Садится за столик выпить кофе, закуривает – знаете... такие (*парень вытаскивает сигарету, размером со шланг*): самые дорогие – ну, понимаете, парашютист... И тут, смотрит – богиня – лён и васильки: грудь, бёдра, талия, ноги, руки, шейка

(загибает пальцы – пересчитывает – остался лишний палец – вспоминает) глазки... Ну, ясно, брильянтовая душа – святое дело – всё... воспарило (*жест*), а девка эта – цок-цок-верть-верть – подходит и просит закурить. Парашютист – ха! – даёт ей всю пачку, а она ему: “Я стою две пачки”... Ай! – какой жестокий удар по чистой душе, по хрустальным помыслам!!!!”

Парашютист дёргается как от пули, бьётся, запутывается в парашюте, падает со стола, скатывается под него, блондинка вульгарно торжествует, развратно усаживаясь на краю стола... Сукис “снимает её”, и они спускаются вниз.

Сцена третья

Ева с интересом:

Господи, какой кошмар... Неужели... всего две пачки сигарет?..

Адам удивлённо поворачивается к ней, внимательно наблюдает:

Ева, что ты укладываешь? Брось, зачем тебе эти туфли? Там – почти Африка – никто не ходит на каблуках. Лучше возьми мой пробковый шлем, что подарил Лёва.

Ева: продолжает собираться, ворчит

Как же... две пачки сигарет...

Адам:

Интересно, почём там пачка сигарет... в конвертируемой... (*тоскливо*)... Знаешь, там ничего нет... там, куда ты зовёшь меня. Помнится, там – пустыня: я почти уверен, словно уже был там... когда-то... – до этих тысячелетий... и ты была – помнишь? Мы погибли в ней, но не сразу – годы мучений... Остался страх: я боюсь... чего-то, что больше смерти... боюсь тебя...

Ева:

Меня?

Адам:

Ну да... всё что угодно – ничего не боюсь: я ведь могу спать на земле, поверь, голодать, драться, терпеть боль... но ты: так было страшно – тогда – помнишь? – когда ты легла прямо на раскалённые камни и сказала, что больше не можешь идти, и просила прикончить тебя. Сказала, что я должен это сделать – раз я твой муж... Помнишь?

Ева:

Да, помню... – ты заплакал тогда... Я придумала тогда тебя – для себя... Ты был в центре моей вселенной – муж мой – как... Бог... – мне нужна была вера, и я поверила в тебя...

Но... тебе нравилось: ты согласился?.. Помнишь, ты сказал: «Не бойся – ничего не бойся со мной – верь мне». Помнишь?

Адам:

Да, прости... Но ты хотела услышать эти слова – требовала их от меня, и я произнёс их – я был готов сделать всё, что ты хочешь... Я не знал, что нельзя... быть Богом... – даже для женщины, которую любишь: не по силам... И не справился: не сумел быть для тебя *всем*... А потом испугался, что ты почувствуешь – поймёшь мою слабость... ограниченность... и не простишь – подумаешь, что я обманул тебя...

Ева:

И ты стал бояться меня... Я перенесла свой страх – перед жизнью – на тебя, но... он вернулся ко мне – твоим страхом...

Адам:

Круг замкнулся

Ева:

И мы оказались в стекляшке...

Как любимого узнать среди всех в толпе...
по улыбке, кошельку, посоху в руке...

Адам:

Мне не нравятся твои песенки... – зачем ты приплетаешь чужое безумие?

Ева:

Разве безумие бывает своим? Своим бывает ум, а безумие – всегда чужое – захватывает душу и губит... Адам, я ухожу.

Адам:

Куда?

Ева:

Туда (*неопределённый жест*) – к себе.

Адам:

В одиночество? Оно – пустыня – раскалённые камни... Ты уже не сумела однажды...

Ева:

Пустыня... пустота... ноль, но ноль, тяготеющий к плюсу, если... Знаешь, нужно, на всякий случай, взять всё необходимое, как на необитаемый остров: спички, соль, (*суетливо собирает*) кофе побольше или... чай, сухари, аспирин, одеяла, стаканы, чайник...

Адам:

Электрический?

Ева:

Ну да...

Адам тоскливо:

И электричество?

Ева:

Туфли, твой пробковый шлем, что подарил Лёва...

Адам:

И сигареты... не забудь... пару пачек...

Ева бесцельно перебирает вещи, отходит к краю стола, руки бессильно опущены:

Сцена четвёртая

На стол взбираются люди – суета: носятся с вещами, спрыгивают, забираются, выстраиваются в очереди, толкаются, спорят – шум ...Бег! (энергичный темп, джаз)

Диалог первый: Дама и Муж своей жены

Дама приезжая возбуждена:

Там говяжья печень стоит копейки – просто даром...

Муж своей жены:

Главное язык! Нужно брать язык!

Дама приезжая:

Говяжий?

Муж своей жены:

Иврит.

Дама приезжая:

Нет, иврит там дадут – там погружают в среду... (*неопределённо*) такую... специальную, и всё происходит само собой – как во сне. У них там дефицит льна, собак и чугуна – ве-зу два десятка скатертей, щенка розового пуделя, чугунную сковороду. Зубной пасты и вилок там тоже нет, ну, и книги, конечно – пятнадцать ящиков. Достоевский, ах! Достоевский – *это что-то!* Джек Лондона получила по талону за макулатуру – две недели в очереди пересчитывались – ах, не спрашивайте... И картины – у них совсем нет картин: беру медведей, ну, знаете – на дереве с шишками...

Муж своей жены:

У вас Джек Лондон – серый или голубой?

Дама приезжая:

Голубой. Я месяц пересчитывалась в очереди, пока не стали давать голубого. У меня обои в такой цветочек, что серый не подходит.

Муж своей жены:

Жаль, и у меня голубой, а нужен, наоборот, серый: можно было бы поменяться... А! Забыл, моя жена уже сменяла... квартиру – на турецкую куртку, магнитофон... красенький такой... и чёрную “Саламандру” – туфли немецкие... в Одессе купила... на толчке...

Дама приезжая:

Там везде кафель, и люди везут с собой дубовые полы.

Муж своей жены:

Как «полы»?

Дама приезжая:

Люди снимают паркет и везут с собой, так сказать, горстку родной земли – *прижимает платочек к глазам* – весь вокзал в цветах: рыдали и плакали – сколько добра сделали эти

люди – людям: запчасти, билеты, лекарства... Мне – лично: баночку красной икры; век помнить буду! Такие мозги уезжают...

Диалог второй: Сукис и Блондинка Сукис ведёт под ручку Блондинку, которая смотрит ему в рот:

А КГБэшник этот мне и говорит, мол, получишь вышку...

Блондинка ойкает:

За Сион?

Сукис обнимает её, спуская руку ниже спины:

Конечно, детка, а как же? Гениальное решение – никому в голову не приходило: на подъёмном кране – вжик – вознестись прямо в Иерусалим! Ну, конечно, тюрьмы, ссылки – этапы, так сказать, большой дороги... – на Лубянке, детка, не мальчики... – *теснит её к краю стола* – ох не мальчики... – *исчезают за краем...*

Диалог третий: Дама местная и Дама приезжая

Дама местная – майка с надписями, панталоны с кружевом, золотые цепи и кольца, ленивая поза, хриплый голос – курит и смотрит, как “русская” моет полы. *Дама приезжая* – тесное платье с оборочками, суетливые движения, робкий голосок, одёргивает юбку, светлые кудельки на голо-

Дама местная:

Ну, хорошо в Израиле?

Дама приезжая с готовностью:

Так хорошо, так хорошо!

Дама местная:

Еда хорошая в Израиле?

Дама приезжая:

Такая хорошая, такая хорошая – молитвенно воздела руки и, чуть не уронив швабру, ускорила движения...

Дама местная:

Там – показывает – помой...

Дама поднимает огромные муляжные предметы, и остервенело дёргает под ними – туда-сюда – шваброй, лицо от старательности становится идиотским.

Дама местная пьёт кофе из огромной чашки, курит, наблюдает:

А в России – плохо?

Дама приезжая

Очень плохо, так плохо...

Дама местная ещё более лениво:

А еда в России есть?

Дама приезжая даже руками замахала от такого предположения:

Нет! Нет в России еды – никакой еды

Дама местная очень довольна, пьёт, дымит, звонит по телефону:

Рути, в России нет еды – поворачивается к Даме: А секс в России есть?

Дама приезжая:

Нет секса – куда там – нетууууу...

Дама местная в телефонную трубку торжественно:

Рути, в России нет секса.

Сцена пятая

Адам и Ева:

Адам:

Ты хотела видеть во мне опору... даже требовала – ты сказала, что ищешь в жизни опору, и я согласился... быть для тебя – всем, чего тебе не хватало – всем: слонами и китами, хозяином и рабом – любой вещью...

Ева:

Вещью – для меня? Да это я – я стала твоей вещью! Иногда мне казалось, что я некий цвет за пределами твоей возможности видеть, и ты пытаешься подмешать меня в свою палитру по мере надобности – недостает тебе зелёного, и ты меня подмешиваешь с зелёным, красного – с красным... Ты требуешь от меня то нежности, то свирепости, расчётливости вместе с безрассудством – тончайших оттенков, которых недостаёт тебе, как... волку – лечебной травы...

Адам (перебивает):

Ты требовала от меня нежности и свирепости, расчётливости и безрассудства... – ты... я... – мы запутались...

Ева:

Запутались... Придумали свой мирок, поверили в него – игрались в жизнь.

Адам:

Но в том мире – настоящем, что достался нам – по-судьбе – можно ли было жить иначе? Мы любили... Нельзя было

любить? – уйти в монастырь – не плодить грешников...

Ева:

Любили? Что мы знаем о себе? О жизни и о любви? Кто я? От кого мой ребёнок? От хозяина? Раба? Кто он – наш сын? Грешник, изгнанный из стеклянного рая?

Сцена шестая

Сукис:

Опять эти двое всё портят, особенно теперь, когда становится понятно, что эта пьеса – сатира, и нужно только правильно направить перо... против, скажем, так... так... так... Сим – в шатрах Яфета... то есть «под крышей»... арабы – родня... антисемиты – в корне вопроса... Кто виноват???? – А? А! – шлюхи!

обращается к Адаму:

Дружище, кажется твоя жена не знает **кто** папаша её ребёнка... Советую обратить внимание.

Чёрный баба-человек

Господин Страх, всё ещё хуже – твоя жена не знает, кто **мамаша** её ребёнка...

Сукис:

Ха-ха: комедия! Как говорится, муж приезжает из ко-

мандиловки, а... хе-хе... Оригинальнейшая драматургия – нетленка! Дарю, как родному, под небольшие проценты плюс индекс. Блестящий сюжет! Значит так, сын моего знакомого – подводник – Аполлон, Давид – всплывает из-под стола Подводник... в маске, ластах, с баллонами и т. п.

Повторяется клоунада между блондинкой и подводником, как в сюжете с парашютистом.

Сукис

идёт снять девочку, но, вдруг, останавливается, растерян, тревожно осматривается:

Как любимую узнать среди всех в толпе —
по улыбке, гребешку, цветику в руке...

Действие третье

На сцене стол под белой скатертью нормальных размеров. Вокруг расположились прежние герои В их костюмах появились цветные детали (чёрным остался только Чёрный баба-человек) Стол накрыт, как для пасхальной трапезы.

Сцена первая

Чёрный баба-человек (закрывает глаза, вытягивает

вперёд руки, как в игре в жмурки, произносит считалочку очень многозначительно)

Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать, кто не спрятался – я не виноват, кто за мной стоит, тот в огне горит... я иду...

Дама местная:

Мой дед жил в колониальном Алжире, и у него была куча детей. Все они унесли ноги вместе с французами, кроме дяди-авантюриста, который пропал где-то в Южной Америке, и моего папаша, который – тоже (*крутит пальцем у виска*) – был поэтом, поэтому завёл нас с мамой в пустыню. И тут папа стал писать автобиографическую поэму “Моисей”, поэтому маме пришлось работать в курятнике.

Сукис:

В нашем НИИ, в Воронеже, где я был инженером, служила чертёжницей хорошенькая девочка – голосок такой, что мёртвый встанет. Говорит, мол, Вы, Сукис – сын оттепели... предвестник свободы... А начальник отдела – хам – подходит и специально при ней размазывает меня по кульману...

Дама местная:

Мама говорила, что живёт для детей, а, на самом деле, жила для кур... С тех пор я ненавижу поэтов и все книги...

Сукис:

Сейчас в этом НИИ склад моей фирмы – продукт для похудения, улучшения памяти и потенции. Теперь я – начальник отдела фирмы по улучшению потенции в Воронеже, а тот антисемит, что при девочке меня по кульману размазал – работает там сторожем. Я зла не помню, и когда бываю там... знаете... научные симпозиумы, презентации... всегда даю ему доллар – для них это целое состояние.

Ева:

Однажды соседи сверху – пьяницы – буйствовали всю ночь, а меня ждал тяжёлый день – восемь уроков по расписанию... Я набросила халат, поднялась к их дверям, позвонила – сизый свет, грязный, вонючий подъезд... химера в открывающихся створках двери – рот шевелился беззвучно, но я ясно слышала: "Ты у меня будешь белугой реветь..."

Дама местная:

От мамы пахло курятником, и мы стыдились её. Нужно было стать бездушным, чтобы не свихнуться, видя её страдания... – и мы... сумели... Она разрушала своим рабством себя и нас – наши души. Зачем позволила так унижить себя? Лучше бы она умерла, чем учить нас низости выживания. (*Нервно курит*) Я видела её фото в юности... она была похожа на... Русалочку...

Ева:

А утром я надела всё самое лучшее, что было у меня – чёрное кружевное бельё, туфли – шпильки, и минут пять мы с отражением в зеркале молчали, пытаюсь совместиться – понимаешь, сынок, я пыталась собрать себя: изгоняла из своей жизни ревущую белугу, в которую превращали меня той ночью. Понимаешь, лестница грязного подъезда, я бегу-бегу, задыхаясь, – куда-то – и это не сон, потому что меня вырвали из сна – бегу, превращаясь в ревущую белугу, обрастая чёрной чешуёй... холодная тяжелая рыбина – чужая жизнь – я не могла так больше, понимаешь – это слишком...

Сын (парашютист, подводник):

Да, мама, у тебя была трудная жизнь... я знаю... Поверь, я хочу пожалеть тебя, но не могу – я пробовал, мама, – не могу – не знаю, почему, но не могу – наверное, я бесчувственный – бесчувственная скотина, мама, я – злодей, и у меня каменное сердце, мама...

Ева:

А однажды, когда я работала на заводе... вдруг, испугалась, что меня уже нет... понимаешь – нет совсем: что я – давно уже не я... И тогда я пошла в единственное место, где можно было закрыть за собой дверь – в туалет – метровый грязный кубик... Расстегнула платье и стала трогать – водить пальцем по плечам, груди, удивляясь их гладкости и теплу... в этом железобетонном аду...

Сын:

Не плачь, мама...

Ева:

Хорошо, но я... не могла прекратить этот бег... вот, надела чёрное кружево, чтобы обозначить себя – проверить... есть ли я ещё, могу ли... зайти к тебе – маленькому, не испугав... ты не помнишь меня?

Сын:

Нет... я не помню... только фото и твои рассказы... мне кажется иногда, что и меня нет, мама. Иногда мне кажется, что я живу не в своей жизни, а в чужой: твоей, случайных встречных... У меня не хватает сил для себя самого. Отпусти меня, мама... Наверное, вы – трагическое поколение, мама, но нет сил сочувствовать – переживать вашу жизнь... вместо своей... Вы видите в нас свой эпилог – это жестоко, мама! Нужно было жить свою жизнь – быть счастливым в своей жизни – самому, а не “для детей” – не плодить грешников... чтобы было кому лгать...

Ева:

Что было бы с Русалочкой, если бы создатель не был милосерден, превратив её в морскую пену. Ради любви к человеку она отказалась от своего дара и свободы. Что, если

бы принц женился на ней? ... Она родила бы ребёнка и молча ковыляла бы за ним, страдая, до самой смерти? Должно быть, сын был бы в досаде и раздражении от её убожества, нажил бы язву желудка или стал хамом... Или нет, она писала бы ему письма, мол, у меня был такой чудный голос, горы жемчуга, тонны бирюзовой воды... – я отдала их тебе... “Где они?” – спрашивал бы он в обиде...

Сцена вторая

Те же...

Сукис:

Господа, раз уж мы так хорошо сидим, так сказать, на презентации исхода из рабства, предлагаю вашему вниманию продукт всех времён и народов (*кричит как шоумен*): “Манна небесная!!!!”

Действие за столом превращается в свирепую клоунаду “Презентация продукта”.

Сукис:

Наш президент – Шухерrrrr Марррик!!!! (*Все экзальтированно аплодируют*).

Шухер Марик (*гиперактивная дама*):

Друзья, для вас я просто – Шухер! Каждый из вас может прийти ко мне в три часа ночи и выпить стаканчик – ха-ха – “манны небесной”, но боюсь, что – ха-ха – после пары чашек вы не станете приходить ко мне ночью, потому что, вас не отпустят ваши – ха-ха – жёёёёны!!!

Все аплодируют, хохочут...

Шухер Марик:

Так я могу – ха-ха – остаться без работы, но (*торжественно*) клянусь: ваше счастье мне дороже своего! Почему? Да потому, что Шухеррррр вас... (*ликующе*) ЛЮБИТ!

Шквал энтузиазма.

Шухер Марик:

У Шухера за вас болит сердце! Вы мне – как дети, а я вам – как мама, мы – одна семья. (*Утирает слёзы умиления.*) Идише-мамочка всем принесёт в клювике... Да здоровствует Манна Небесная!!!

(Выстреливает из хлопушки, и все кидаются на колени и ползают, собирая конфетти)

Сукис: (вопит)

Шухер!!!

Шухер Марик:

Наша фирма гarrррантирует благополучный исход из всего – для всех... Сорок лет сытости... сто процентов выживания... Шухер вас любит.

Сцена третья

Луч освещает сегмент стола с тремя стульями. Адам и Ева. Входит сын – в солдатской форме, с автоматом и огромной сумкой. Садится устало...

Ева:

Адам, идём разберём вещи, надо стирать, сегодня плохо сохнет...

Родители склоняются над сумкой, перебирают вещи. Адам вытаскивает из карманов солдатских брюк измятый и грязный конверт – протягивает его Еве:

Адам:

Ева, твоё письмо – оно не распечатано...

Ева:

Сынок, ты не прочёл моё письмо.

Сын:

Я не мог, мама – было очень тяжело.

Ева:

Я понимаю, но ты должен... Там были стихи: «Не на равных играют с волками егеря – но не дрогнет рука, – оградив нам свободу флажками, бьют уверенно – наверняка. Волк не может нарушить традиций, – видно в детстве – слепые щенки – мы волчата, сосали волчицу и всосали – нельзя за флажки!»

Сын:

Было очень трудно, мама, мы бежали десятки километров ночью, без дороги, и те, которые падали, уже не могли встать. Там нельзя думать, мама, только довериться... чутью зверя, что рвётся к жизни... я не знал, что сумею так...

Ева:

Не знал... понимаю, только, нельзя... без слова... пойми – волк бежит вдоль круга из красных флажков, и не может выбраться на свободу... – и так вечно... он не слышит слово: гордый, сильный зверь не может вырваться за пределы чужого круга, и любой подонок владеет им... Это ужасно, что я говорю... прости... жестоко... Но это не моя жестокость, сын – это *жесткость* правил игры, под названием «жизнь»... Я должна... ты должен... быть... понимаешь?

Сын:

Я не могу, мама, я устал. Если я буду думать теперь, то не выживу.

Ева:

Но если ты не думаешь, то не живёшь... человеком. Это нормально, знаешь, даже красиво... (*Музыка*) – слышишь?: “Никто не разорвёт круг противоречия выживания и осознания – никто не сделает зверя человеком, если у него самого не хватит сил...» Ну? Разве не хорошо звучит? Разве это плохая игра, и ты – не азартный игрок? Что может сравниться с красотой игры по закону, который был в начале?..

Сын:

Да, мама, действительно красиво... мне нравится... я подумаю...

Адам с неловкостью берёт в руки автомат:

Лучше бы я – я бы смог...

Ева:

Да, лучше бы ты, но это уже случилось с нашим сыном. Ты должен покаяться.

Адам:

В чём?

Ева:

Ты ел кислый виноград.

Адам:

Я не знал...

Ева:

Ты не хотел знать. Помнишь, тогда, когда мы слушали музыку, и, казалось, что – вот-вот – можно понять... – ты отвернулся...

Адам:

Не помню...

Ева:

Должен вспомнить, посмотри, у сына уже автомат в руках... должен вспомнить – покаяться...

Адам:

Ева, это безумие...

Ева:

Нет, это тогда мы были безумны... Каюсь, я думала, что всё это происходит не со мной – что это... чужая – не моя –

жизнь, а я – настоящая – Русалочка... Офелия... пусть, даже, Ревущая Белуга... – трагическая рыба, несущаяся в сияющем свете – только не то, что было на самом деле – рабыня, бездарно выживающая в кривых зеркалах... – я развращала души детей...

Адам (мучительно вспоминает):

Родители и все вокруг... жили нехотя – с трудом, жалуясь и охая, волочили свои судьбы по невзгодам. Невзгодами было всё, что требовало жизненных сил – работа и еда, рождение и смерть, и, даже, само дыхание и биение сердца: “Только бы не было хуже”... Но, знаешь, иногда мне казалось, что такой образ жизни был... камуфляжем – вроде окраски армейской формы, а сами они – по-снайперски – расстреливали всех, кто мешал им выживать. Даже своих детей – мы были беззащитней всех.

Ева:

Зачем ты не ушёл в монастырь?

Адам:

Ушел... – в “Храм науки”... Долгие годы жил только в “физике”...

Ева:

Приятное местечко, уж, получше, чем кухня и пелёнки...

Адам:

Зачем ты не ушла в монастырь? Ты соблазнила меня!

Ева:

Мои родители *выживали агрессивно*, то ли цепляясь, то ли выталкивая друг друга из общей жизни – как кукушата – с жестокостью инстинкта, и называли эту суету – “умением жить”. Что происходит с душой, когда тело выживает – в замкнутом круге?.. Превращается в... цепляющуюся за штанину ли, собачью шерсть... колючку... И, вот, у сына в руках... автомат, и нужно мыслить точно... или случится непоправимое – убийство... (*мечется*) Адам, у нас мало времени. Сорок лет?.. У нас нет сорока лет – нужно сейчас...

Сцена четвёртая

То же застолье. Темнота скрывает сидящих. Круг света по-очереди останавливается на каждом из героев, который поднимает бокал и произносит свой монолог, как тост. В костюмах персонажей, кроме «чёрной бабы-человека», много цветных деталей, Адам и Ева – в светлой, почти белой одежде (остаются в ней до конца пьесы).

Чёрный баба-человек:

На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, коро-

левич, сапожник, портной... ты кто такой? (*подозрительно*) Говори поскорей, не задерживай добрых людей (*грозит пальцем*)

Дама приезжая:

Меня предупреждали, что нужно брать язык, и я его взяла – могу вам показать – очень красивый (*показывает язык*), но... оказывается... здесь это не дефицит – язык есть у всех, приблизительно с двух лет, а дальше – никто не предупреждал – надо что-то ещё и **думать**? (*разводит руками*). Я мыла пол у одного профессора, так у него есть двадцать языков. Шутка ли – двадцать языков на одну голову, так он уже может в неё больше ничего не брать!!! Его и так показывают за деньги на учёных симпозиумах – хватает и на хлеб, и на масло... А мне лучше заткнуться, что я и делаю – *пьёт лихо бокал*.

Муж своей жены:

Моя жена – «там» – продала трёхкомнатную квартиру и купила туфли, но они разлезлись от первого дождя. А теперь жена – «здесь» – купила трёхкомнатную квартиру и получила в подарок посудомоечную машину. Деньги взяла (*разводит руками в изумлении*)... **в банке** – говорят, полмиллиона – век буду помнить... Так что, мы, слава богу, хорошо устроились.

Шухер Марик:

За Манну Небесную! (*пьёт, заигрывает с Сукисом*) За подъёмный кран! Вж-жик – и в Иерусалим! (*пьёт, шатается*) “Шухеррр!.. (*валится под стол*)

Дама местная (*вместо бокала, лихо поднимает свой телефон*):

Как поживаешь, Рути? Кто бы мог подумать? Все русские пьяницы!.

Снайпер:

Я – снайпер, и больше всего на свете люблю свою работу. Обожаю стрелять! – *пьёт... обнимает Блондинку.*

Блондинка (*кокетливо поднимая бокал*):

За жизнь!

Сукис (*поглядывая на неё с возжелением*):

Моя мама мне рассказывала, что ещё её бабушка говорила: “Шерше ля-фам”, что на нашем означает: «Во всём виноваты шлюхи» – *пьёт.*

Ева: (*выпивает бокал*)

Я ухожу...

Адам:

Куда?

Ева: (равнодушно):

Как куда? Сам знаешь – как всегда... нууу, туда... (*машет рукой, идёт пошатываясь, как пьяная*) ...из рабства... Ну, вас...

Адам: (*удерживает её за локоть, взволнованно*)

Из рабства уходит не раб, а свободный человек... А ты... ты ещё не освободилась от... этой истории... Ты не дописала...

Ева: (*скандальная интонация*)

Я? С какой стати? У меня нет сил додумывать всё это! Я – женщина! Я просто хочу...

Голоса присутствующих: (*хорошо бы, чтобы в этой сцене персонажи постепенно обесцвечивались, приобретая тёмные тона, сливаясь с чёрным фоном*)

Просто женщина – иш какая! Хочет она... А ну, допиши, как положено – должен быть счастливый конец – сладкий: про молоко с мёдом – нам обещали! (*перебивают друг друга*)

Хеппи-энд!

Чтоб как в Санта-Барбаре!

Они что, лучше всех? Избранные? Так каждый дурак может... Мы тоже...

Напиши им, чтоб не было войны!

Миру – мир!

Желаем счастья!!!

Здоровья, успехов в работе и личной жизни! Ура вечной весне!

Даёшь любовь! Секс – он у нас!

Напиши, мол, мы кровь проливали, а они – за колбасой!

Начинается спор, перерастает в потасовку, Адам и Ева присоединяются к общему волнению, размахивают руками, выкрикивают раздражённо:

«Вместе нельзя... пусто... пустыня... стекляшка поломалась... физика... пелёнки... ты меня соблазнила... сам приставал...»

*Голоса сливаются в общий шум, перерастают в гул – **ропот толпы:***

Напиши, чтобы всем нам было хорошо, а самое лучшее – детям!

Не... детям – счастливое будущее! Не... самое луч...

Чтоб уважали! (отдельные потасовки: "ты меня уважаешь?")

Скандируют: Мы – не рабы! Рабы – не мы!!!

Даёшь третий Храм! И четвёртый! Миру – мир!! Бей!!!

Ропот толпы усиливается музыкой). Парень стреляет из автомата вверх (световые эффекты: гром с молнией) Руки людей взывают, как в мольбе... Внезапно всё стихает, музыка обрывается. Тёмные фигуры замерших людей едва вид-

ны на чёрном фоне кулис. Адам и Ева опять одни.

Ева:

Адам... я плохо понимаю, что происходит... что всё это значит?

Адам:

Я не уверен, но, похоже, что всё это – жизнь... Может быть, даже, твоя и моя жизнь... Вот именно, всё это твоя и моя жизнь... настоящая, как ты хотела...

Ева:

Да ну?...Я хотела? Ты хочешь сказать... Ты уверен?

Адам:

Нет, не уверен, но лучшей версии у меня нет... Методом исключения...

Ева:

Исключения чего?

Адам:

Ну, что мы уже умерли и всё, что происходит с нами – ад или даже рай, в который мы так стремились... или чистилище...

Ева:

Жизнь... моя жизнь...

А!!! Так вот что это всё значит! Всё это – моя жизнь? Так бы и сказали! Мол, всё, что происходит с тобой, – твоя жизнь, и живи себе, милая, пока не померла.

Адам:

Кажется, я уже где-то слышал про жизнь... или читал... мне кто-то уже говорил... Кажется, Ева, это ты мне говорила, мол, выйдем из стекляшки, и там – настоящая жизнь... помнишь?..

Ева:

Нет, я не могла так сказать. Откуда мне было знать? Никогда бы сама не догадалась. Слушай, Адам, нужно всем сообщить! Такая новость! Так неожиданно! Кто мог подумать: оказывается, всё это – жизнь! Надо сказать людям, а то они не знают и поэтому ссорятся, дерутся... Ну, разве бы человек стал так плохо вести себя, если бы знал, что всё это – его Жизнь – единственная и неповторимая... самое важное, что может происходить в этом мире? Разве стал бы лгать, мелочиться, подличать...

Нужно срочно сказать сыну. Адам, мы с тобой – преступники! Не сказали сыну, что всё, происходящее с ним – ЕГО ЖИЗНЬ!

Должны были объяснить, как только он появился на Свет

и закричал в первый раз... Он спросил меня тогда: «Что происходит со мной»? И я обязана была ответить: «Малыш, с тобой происходит Жизнь – твоя жизнь», и мы бы смеялись и плакали вместе... и не стали бы чужими...

Адам:

Ева, наш сын уже, кажется, знает... что-то... Помнишь, он сказал: «Это моя жизнь!» и ушел куда-то...

Ева:

Да, ничего не объяснил... Может быть, все знают, кроме нас? Мы, что, Адам, – дураки? Жить не умеем...

Адам:

Похоже на то...

Ева:

Вот и покаялись...

Звучит Армстронг «Let my people go» Адам и Ева садятся спиной друг к другу, отчуждённо замирают. Музыка обрывается...

Ева (оживленно обращается к Адаму):

Эй, Адам, как ты там поживаешь, в своей жизни? Привет!

Адам (с радостным облегчением):

Привет, Ева! Слава Богу, не помер ещё... Как поживаешь, Ева?

Ева:

Слава Богу, живу, не померла...

(нерешительно) Эй, Адам, хочешь жить со мной?

Адам:

Да!!!

Ева:

Подумай.

(немного кокетливо) Ведь это твоя жизнь – единственная и неповторимая...

Адам:

Я не могу жить без тебя...

Ева (взволнованно):

Адам, мы уезжаем...

2003 г.

Стихотворения

*Избавиться от мыслей
я пытаюсь
сонетом...
Вернуться в сад...
без знания добра и зла —
об этом все мысли...
Замкнулся круг...
и вечной чередой
движенье лиц, рук...*

* * *

*Сегодня плыли облака,
сорвался ветер,
кружились мысли сквозняком —
на свете
приюта было не дано...*

* * *

*Как жаль, что люди не цветут весной.
Представьте, что от лба и щёк до самых плеч
роскошных грив разнообразье,
в тени которых можно лечь,
закрыть глаза и хоть на миг представить
цветущий луг, жужжащих пчёл,
почувствовать тепло травы и запах,
и ощутить покой, которого лишён.
Людей цветенье моде не подвластно
– оно питается из наших душ и сил,
и странность внутренних противоречий
в себе бы каждый человек открыл.
Наш тайный мир бы дерзко обнажился,
но, наспех обрывая странный цвет,
стремимся от других не отличаться,
от призрачных себя спасая бед.*

* * *

*Не знаю, одарён иль обречён на зазеркалье – так дано...
мерцаний, таинственных огней лишённый мир,
как в дни творения прозрачен, прост и ясен.*

*Свободен от двусмыслиц и притворств;
риторики, двуличья, поз искусных,
излишеств хохота, избытка шумных слёз,
любвий роковых, неискренних сочувствий...*

*Актёрство невозможно без зеркал —
без отражения бессильно лицедейство,
прекрасен ясный миг, безгрешна нагота
и нет злодейства...*

*Калейдоскоп не множит суеты —
толпа не знает зрелищ,
и плоды на яблонях свободно поспевают
и падают в росу земной травы.*

** * **

*Мальши, шедевр просил ты – получиай!
Так странно и легко парить, должно быть, в шедевре...
Оттолкнувшись от него, взлететь, вдруг, ввысь,
Разбрызгав миллион ярчайших брызг, упасть.
И вновь – туда – в шедевр, где радость и любовь.*

** * **

Какое благо в рифме утонуть,

довериться причудливым теченьям,
реальность потерять и с нею боль
– хотя б ненадолго забыться, отдохнуть,
в своё творение от Мира убежать.
Блуждаем в поисках дурманов, забытья,
иллюзий грубых и искусных ухищрений.
Из звуков, красок, запахов и ласк,
из дыма сигаретного, камней, песка,
огней в дрожащем танце, вод,
из души, случайно встреченных
– живых – ещё свой круг вершащих...
Из себя – из тела своего, из голоса и рук,
из мыслей и душевного недуга
– всё на костёр всегоуничтоженья, забавы злой
– Последнего Суда.

* * *

Напрасен спор – кто прав, кто виноват
– закон мы постигаем до рожденья.
Затем забыть его дано и в муках осознавать,
как будто, вопреки.
Как в страшном сне, отчаянно спасаясь,
стучим в ворота памяти
и криком взрываем вечность: "Быть или не быть?"
Не быть... вернуться... Лету переплыть...

забыться в созерцании законов бессильных...

** * **

*Чужих касаний о чужие камни,
почти неслышимый звон – тому назад – капелей,
произнесённых слов забытое значенье
– всё возвращу, не пролистав.
В избытке – всегда заранее
– иных дворцов, фонтанов, фигур из мрамора,
пейзажей, без и в рамке,
бегущих мимо толп,
на лоскутки крошащих площадь города чужого,
отвергнутого мной...*

** * **

*Из горестей двух счастья не собрать.
Две бедности в достатке не пребудут.
И одиночество лишь полное наступит
из половинок одиноких.
Вдруг – толпы доверчивые веры не обряцут
– их смертны идолы.
И простодушие – знак, скорее, не души – ума простого...*

*О, не взъищи за тон мой поучительный,
скорее, сама перед незнанием робея,
у рифмы я ответ ищу.
Из слов, в стихах запутанных,
прочесть пытаюсь смысл...
Как на кофейной гуще угадать
тень скрытого от прочих диалога.
Зачем? – Да так, игра:
как будто слышу что-то и отвечаю – будто...
и не одна я вовсе – во всей вселенной...*

** * **

*Вновь настигла тревога, и чаша простыла
с ещё не допитой судьбой.
Дорога вела вдоль солёного Мёртвого моря,
где лучше назад не смотреть,
но я не смогла,
и подёрнулась пеплом белесым больная душа.
Настала луны половина,
Млечный Путь над Содомом застыл,
словно грешников вечных толпа,
и усталость всех тысяч веков настагает,
теснит грудь, виски...
Пальцы, веки сковало кристаллом
из библейского моря упавшей зачем-то звезды.*

* * *

*Опять в небрежности твоей сквозит усталость.
Я о смирении просила – не досталось...
Вползает на небо пустыня холмами,
а прежней жизни миража нет с нами...*

* * *

*Не бойся —
муки больше нет, чем страх внушать...
Опять тонуть, опять бежать...
Как страшно видеть позади твои глаза
– и в них себя не узнавать...*

* * *

*Любимый мой, смотри —
озябли руки от холода бездушной пустоты.
Давай подышим вместе,*

*и отступит, дыханием согретое, безумье,
и хоть ненадолго растает,
и прольётся его слеза...*

** * **

*Горбатый мостик утонул в листве —
один прыжок досок истёртых над канавкой.
В разводах синих тонкие перила,
от проливных дождей иззябшие,
как жилки на старческих протянутых руках —
туда, где у камина в тёплом доме,
у кресла тихо замерли щипцы
тяжёлого узорного чугуна,
что вечности сродни...*

** * **

*Шатры в пустыне.
Негев рыж,
как древний истоптанный ковёр —
извечного жиды наследный замок,
облагороженный фамильной тайной
и призраками праотцев.*

*Палим огнём соперника восточного —
Владыки – тирана Солнца.
Сам упрям и дик...
парадоксальный Иудейский Храм.
Покоится на зыбкости —
пучине горько-солёных вод...
Невидимого бога рыжий отблеск.
Нагромождение камней,
как вызов
суетному барокко, рококо
и готике надменной.
Мой Неgev за калиткой,
где стоят два старых эвкалипта —
дар чудесный...
их тень и аромат.*

** * **

*В пустыне дождь.
Не дождик – дождь серьёзный:
стеной, потоком, страстный, обложной —
дождь-победитель – вал девятый, шторм,
небесных вод ликующая щедрость!
По капле всем песчинкам,
по глотку иссохшей глине
– водопад на камни стихии первобытной,*

*что хранит Потопа тайну —
древнюю мечту о чистоте грядущей.*

** * **

*Холмы дождей не принимали.
Ручьёв испуганных стада
несли истерзанные воды в лазурный влажный рот.
Природы здесь чудо смерти — море слёз.
И в каждой капле здесьней горечь души неутолённой
— травы здесь не растут...*

** * **

*Синеет мутный снег,
и первые приметы весны неверны:
ветер тучи февральские не гонит — низко стелет.
Всё чаще грезится горячая тропинка,
бегущая в звенящем летнем зное
и серых валунов тела живые,
пропитанные чистым сильным жаром.
Кузнечики, как брызги из-под ног,
на миг, притихнув, в воздухе исчезнут,
чтобы опять наполнить небо звоном.*

*Дорожкой той, бегущей по дну балки,
я летом прошлым шла,
и сыновья, коричневыми спинками мелькая,
в траве возились:
толстый чёрный жук был ими в плен захвачен...
И тогда, мне вдруг пригрезилось,
как холодно и пусто в февральских лужах небо
отразится
в далёкий зимний день.*

** * **

*Черное тело ночи сырой втиснуться хочет в окно.
Доверчиво сонный кораблик скользит, наше храня тепло.
Проснулся мужчина, распутав все сны
в предчувствии близком утра.
В лице отрешенно спутались тени
– неслышная спит жена.
Он скажет: "Бедняжка, проснись, ничего,
скоро придёт весна, камни нагреются,
и под ногами будет твоими трава..."*

** * **

Не суетны деревья.
В их объятых земля и небеса.
Под тенью их хранима, я
в ладонь ветвей боль прячу.
Дарована им жизнь
без перерыва уродливого тленья.
Даже пни и мёртвые иссохшие коряги
несут в себе таинственную прелесть
и новизну грядущего рожденья.
Я лягу на живот
и окунусь лицом, душой
в цветущее забвеньё
блуждающих огней из мира грёз.
Подножие чуть тёплого гиганта,
несущегося ввысь, я обниму.
Руками расцарапаю там ямку
– в укромнейшем из мест во всей вселенной
– и прошепчу туда свою я тайну,
которую доверить не могу молитве даже.

* * *

Светлая заводь, тени стрекоз,
замок песочный, башни в зубах,
мост нависает над рвом, и вода
лётся из детских ладошек туда...

*Стены в ракушках, вал крепостной,
наездник со шпагой мчится лихой.
Струйка песка от тяжёлых копыт,
мост осыпается, лошадь храпит.
Пёстр и наряден речной перламутр,
створки распахнуты – милого ждут...
В замке волшебном принцесса живёт.
Всадник приблизился, громко зовёт.
Солнце в зените и тень коротка.
Мальчик уснул. Тихо дышит река...*

** * **

*Кровь новая, вульгарная, струится по старым жилам.
Черных лун, страстей пора —
метаний толп, себя не видящих, глаз жадных,
несытых ртов прискорбного конца
тысячелетия последнего.
В смятении душа и мысль, в разрухе плоть,
и вер неясный лепет слаб, почти не слышен.
Вновь, утеряна в мой старый сад калитка,
где среди лип столетних утонула в листве осенней
мокрая скамья.*

* * *

*Молчу, болтаю, путаю, играю
словами, выраженьями лица...
я виртуозно в речь вплетаю сложность
в компании скучающих невежд...
тарасчусь простодушно с недалёким,
поддакиваю важно всем, кто ждёт...
Я отражаю лица – верно, криво —
случайно пришлых и во мне живущих...
плутая в отраженьях,
пугаясь увидеть, вдруг, опять...
незащищённым
своё лицо...*

* * *

*Цветы и бабочки, зелёные лужайки,
львы, томные от неги куропатки —
всё в утопическом экстазе небытья...
шарманки механической фигурки,
заведенные мастерской рукой.
Всё: щебет, крик диковинный и запахи,
блеск звёзд морских, сиянье лун —*

*в движении застыло
и плывёт корабликом в потоке...
фонарём застывшим,
где замерли прекрасные мгновенья
в предчувствии всех будущих грехов...*

** * **

*Банальности пугающие тени в моих стихах.
Всё сказано в начале,
но выносит неведомым прибоем мысль
и бьёт в бессилии о берег незнакомый,
иль отрешённо лижет обжитой.
Банальности желанно постоянство в конце дорог моих.
Степи однообразия, и в небесах, как и вчера, луна...
И ключ в замке, и синий язычок под туркой с кофе,
и лёгкость в невезенье, и утра, как прежде, благодать
— до откровения, как прежде...*

** * **

*Я сижу на колене Дана...
Нет, это звучит игриво —
ни одно колено в мире не выдержит моей пустоты.*

*Я сижу на земле Дана – были такие люди.
Говорят, всё им было мало, наверное, я не из них.
Мне – всего много: излишние сини,
обнажённые пестики маков, готовых к любой весне,
десять сортов кефира...
Я бежала, чтоб быть свободной.
Я, должно быть, своё получила.
Я свободна от всех надежд.*

** * **

*Что прежде занимала суета,
там место пусто – свято не бывает.
Там властвует и давит пустота.
Ни слова Божьего, ни искры...
В пустоте зияют выбитые чувства, грёзы, мысли...
В безмолвии надежды, в забвенье воспоминанья добрые,
не чисты там помыслы,
и редкой страсти всплеск – не солнечный... – подлунный:
миром здесь луна владеет
– скорбным миром всех бесплодных лет.
Теней минувших бед, угасшей суеты,
подлунной пустоты бездарные цветы.*

* * *

Сынок, я подожду тебя ещё три года.
Виноват в моей ты жизни...
Я не смею уйти – тебя молитв своих лишить.
Но как тревожно мне.
Леплю обманы: божсков лукаво-миловидных
– их на заре леплю, чтоб в полдень разбить
и в острых черепках блуждать до первых снов...
И снова день,
и утро тороплюсь скрипичной переполнить суетою,
аккордами далёкого рояля – сильнее, шире,
чтобы хоть на миг задеть во мне за то, еще живое,
что для тебя любовь хранит...

* * *

С сосны и крыши
полнолуныя свет стекал в мой дворик.
Лунные капли
в безмолвии струились и белели
у моего окна.
В янтарной глубине волшебных фонарей,
в немислимой дали протянутой руки

– вновь Каин.

Немилосердие приходит в срок

– двенадцать раз в году платок – и мне, и Фриде...

Чем совершенней, Господи, твоя Луна,

тем безнадежнее моя вина

– один ты – один ущерб у всех...

* * *

...Понимать обречена, как вечен краткий миг

и бесконечно движение каждое...

Предвидеть ад в истоках, казалось бы, невинных,

взяв за данность сомнительную горстку аксиом,

как будто бы, принесенных из громов

с утерянной горы толпе рабов.

И это всё. И этого довольно

для – с пытками и жёстким приговором себе – суда...

увы, за искушение доверять чужим богам

– за то, что убивать могу и быть убитой,

стою перед собой с повинной... невинной.

* * *

Пророчество невыносимо —

*может каждый из правды вырвать клочок
и, как палач, толпе представить
тусклые глаза гармонии умершей.
Но незримо, уже иная,
словно бы из пепла,
в обличи ином воссоздаётся
и правит миром, несколько иным,
свободная от всех пророков суть.
Свободная в подъёме и в паденье,
готовая исчезнуть без борьбы,
из ничего возникнуть,
просочиться по капле в бисер,
годный, чтоб метать его ловцам извечных истин...*

** * **

*Нарушена гармония, смят Хаос
– в который раз рождён Никто,
и крик испуганного темнотой ребёнка ещё звучит,
и День Шестой всё длится...
В усильях тщетных ищем слово в крике,
всё очертить стремимся, обозначить,
основ основу в уходящем нечто постичь,
случайный миг поймать...
Растаял свод придуманных законов.
Ужас, ужас – от тени исходящий – Миром правит...*

*Но всё же миром: чашка молока,
окошко в спальне с жёлтой занавеской,
твоё письмо, молитва...*

*Мною круг очерчен, и закон определён давно,
и день уж прожит – почти —
мой День Шестой, создания себя.*

** * **

*Ну, кто-нибудь, пожалуйста, молю,
скажите мне, молю, в чём виновата?*

*Я карандаш взяла и лист пустой – судите:
сил нет не знать, что для меня – не жить...*

Скажите, в чём виновата?

Может быть, горда, и скромность – паче гордости?

*Судила? Да, но я не убивала – понять хотела,
уходила – в том вина?*

*В недоубийстве? Слишком я любила? Не точно
мыслила?*

*Стихи писала? Предала... с детьми своими, с речкой и
стихами?*

*Я верила: мы заодно с русалкою и с клёном в огненной
короне,*

свечой, и музыкой...

Никто, никто не скажет... не жду...

Никто и никогда, ни прежде, ни теперь не прикоснётся,

*ничего не скажет, ни в утешенье, и ни в осужденье.
Не жду, не верю, нет надежд – живу.
Должно быть, приговор суровой, чем просто смерть,
чем просто небытье...*

*** * ***

*Сынок, не нужно меня жалеть:
я – это не я.
Должно быть, я – погонщик волн.
Поверь, бывает и так.
Я дразню штиль, покалываю его красными каблучками,
щекочу подолом царского платья,
которое, помнишь, ты так любил...
которое и теперь на мне... на дне.*

*** * ***

*Принять за данность хаос – выше сил.
Стремление к нежизни в этом мире,
как главное движение приму.
Шар – в лузу, горы – в море,
краски – в ком тускнеющей палитры,
где живут последней мыслью серые глаза.*

* * *

*Опять не знаю,
возвращаюсь в точку,
сжимаюсь в мысль
и крошечной звездой
затеряно свечу себе самой
в незнание безграничном...*